

РЕДКАЯ КНИГА
КНИГА • РЕДКАЯ
РЕДКАЯ КНИГА



РЕДКАЯ К
КНИГА • РЕ
РЕДКАЯ К

В. В. Крестовский

Очерки
кавалерийской
жизни



Всеволод Владимирович Крестовский

Очерки кавалерийской ЖИЗНИ

В. В. Крестовский (1840-1895) – автор одного из популярнейших романов XIX в. – «Петербургские труппы». Менее известно, что из-под пера Крестовского вышло много книг на военные темы, в том числе «Очерки кавалерийской жизни», раскрывающие «физиологию» армейской службы в мирное время в отдаленных гарнизонах. Книга написана богатым, сочным, персонифицированным и не лишенным юмора языком. Автор затрагивает многие проблемы армейской жизни, обострившиеся в наше «смутное» время.

Содержание

I. От штаба до зимних квартир	0006
1. Сборы и проводы	0006
2. На первом переходе	0053
3. На ночлеге	0107
4. Приход в Свислочь	0128
II. Базарный день в Свислочи	0162
Часть 1	0162
Часть 2	0215
III. На траве	0250
1. Веселый поход	0250
2. Ильяновский фольварк	0255
3. Авантюрист-магнат прошлого века	0265
4. Ильяновский призрак	0285
5. Ильяновская легенда	0292
6. Жизнь на траве	0304
7. На сенокосе	0324
8. Велля Гершуна	0331
9. Нечистая сила мутит	0350
10. Ночь на Ивана Купалу	0365
11. Разгадка	0377
12. Последняя встреча	0390
IV. Облава на уток	0397
V. Что делает ворона	0434
VI. Полковые приживалки	0466
1. Бессловесные	0466

2. Дон Сезар де Базан	0493
3. Башибузук	0520
4. Гасшпидин Элькес	0562
5. Мадам Хайка	0593
VII. Буянов – мой сосед	0616
VIII. Кто лучше?	0659

**Всеволод Владимирович
КРЕСТОВСКИЙ
ОЧЕРКИ КАВАЛЕРИЙСКОЙ
ЖИЗНИ**

I. От штаба до зимних квартир

1. Сборы и проводы

Ваше благородие, вахмистр пришел.
– Зови его сюда.

Входит эскадронный вахмистр – солидная, солдатски представительная фигура – и останавливается у двери.

– Здравствуй, Андрей Васильевич! Что скажешь?

– Здравия желаю, ваше благородие! Так как теперича, ваше благородие, завтра выступать, так майор просят вас, чтобы вы изволили эскадрон отвести, по той, собственно, причине, как они сами изволят еще в городе оставаться – потому не здоровы-с, – так просили, чтоб вы уж за них.

– Хорошо. Передай майору, что будет исполнено.

– Слушаю-с. Больше ничего приказать не изволите?

– Больше ничего... Разве вот что: Степан,

поднеси вахмистру стаканчик водки!

– Покорнейше благодарим, ваше благородие!

Водка подана и охотно принята с вежливой-церемонной деликатностью.

– За ваше здравие-с! – И стаканчик разом опрокидывается в широкую вахмистерскую глотку.

– Счастливо оставаться, ваше благородие!

– Прощай, Андрей Васильич!

Солидная фигура степенно скрывается и осторожно притворяет за собою дверь.

Итак, завтра на зимние квартиры. Выступить в восемь часов утра, стало быть – надо проснуться в шесть, а теперь первый час Дня: времени, для того чтобы изготовиться, очень достаточно, тем более что офицерские сборы не велики: походная складная кровать с кожаной подушкой, чемодан с бельем и платьем, ковер как неизменное и даже необходимое украшение офицерского бродячего быта да еще походный погребец; ну, да пожалуй, ружье да собака – вот и все хозяйство! Но в этом хозяйстве, знаете ли вы, что достопримечательней всего? Это именно погребец, ха-

раактерные образцы которого, кажись, только и можно встретить в быту армейского офицера, потому что кому же он надобен, кроме человека, обреченного на вечно бродячую жизнь? Таким образом, из «русской» лавки любого ярмарочного балагана этот неизменный, традиционный погребец переходит непосредственно в офицерские руки. Представьте вы себе маленький сундучок, менее аршина в длину, около трех четвертей в ширину, обитый оленьей шкурой, окованный жестью, с непременно звонким внутренним замком, – а между тем в этом скромном вместилище чего-чего только не заключается! Тут и кругленький походный самоварчик на четыре стакана, миниатюрные экземпляры которых помещаются рядом, тут и медная кастрюлька, крышка которой, в случае надобности, может заменить собою и сковороду, для чего при ней имеется и железная ручка. Тут и мисочка для похлебки, и четыре тарелки: две мелкие и две глубокие; тут и чайник, и чайница, и сахарница, и солонка, и перечница, и чернильница с песочницей, и два больших штофа со щегольскими пробками – «аплике»,

и все это накрывается подносом, прилаженным к крышке, в которую вправлено еще и небольшое зеркальце. Но все это богатство составляет только верхний этаж офицерского погребца: приподнимите за ушки вкладное вместилище всей этой роскоши – под ним окажется этаж нижний, где имеются отлично прилаженные помещения для пары ножей и вилок, двух столовых и четырех чайных ложек, для салфетки и полотенца, для карандаша с пером и ножом перочинным, для гребешка и бритвы и даже... для сапожных щеток. Так вот что за штука этот походный погребец – незаменимый и неизменный друг и товарищ армейской жизни! Как разложишь все его богатства, так просто изумляешься: где и каким образом может вместиться столько разнообразных вещей в таком маленьком сундучке, с таким тесным объемом, а между тем все это вмещается, все это так искусно, так ловко пригнано и прилажено, что просто не хочется верить, будто погребец не есть изобретение какого-нибудь аккуратного немца, а чисто наше «рассейское».

Итак, почти все наше хозяйство заключа-

ется в этом мудреном погребце, а для остальных вещей – небольшой чемодан или вьюк – и готово! Сборы в поход никоим образом не займут более получаса времени. Но все-таки надо кой о чем подумать: во-первых, нанять пароконную подводку под вещи, потому что поход хотя и не велик, но все-таки продолжается трое суток; во-вторых, надо заказывать в трактире жареную курицу, да жареного поросенка с фаршем, да штук тридцать пирожков с капустой на придачу, потому что без этих необходимых запасов рискуешь на пространстве всех трех переходов не найти ровнехонько ничего из удобосъедомого.

Но курица с поросенком – это пустяки: заказать их недолго, а главное дело, чтобы подводку повыгоднее нанять. Отправляемся на почтовую станцию, где встречает нас приказчик содержателя конной почты. Приказчик «из наших», со всеми характерными отличиями физиономии, запаха и костюма. Объявляем ему нашу надобность.

– Сшkolки коней ви гаворитю? – вежливо и любезно прищуривает он глаз.

– Пару.

– Па-ару?.. Ну, й зачэм вам пару! Берить тройка! Увсше гхаросши гаспида заусшигда на тройка ехают и з калаколчик. Ми вам будзим одпусшкаць сшами лучши курьер-шки тройка!

– Мне нужно не под себя, а под вещи мои.

– Под виещу?.. Ну, то мозже какой гхаросший виещу, гхурсштал, чи то фаянцы?.. А под гхаросши виещу нада гхаросши кони.

На этот аргумент ему категорически объявляется, что если спрашивают пару, то, стало быть, только и нужна пара, а не тройка.

– Н-ну, як пара, то хай и пара!.. Мозжно й пару! Зачэм ниет?..

А докуда васше благородю ехать будете?

– В Свислочь.

– До Сшвисшlochь?.. до сшями Сшвисшlochь!.. А зачэм так далеко? зачэм до Сшвисшlochь?

– Затем, что там эскадрон стоять будет.

– Сшквadro-он?.. Вуляньски сшквadroн?

– Ну, конечно, уланский.

– А!., гхэта доволна гхарасшьо!.. Там ест мадам Янкелёва, сшвой ляфка дэржит з рижской вина и з увсшеким припасом; ей будзи-

ць гхаросший гхандел... Но толки зжвините: ви гаворитю, сшто сшквадрон исцо не сштаиць, а толки будзиць сштаяць?

– Да, будет.

– Ну, як исцо толки будзиць, то лепш бэриць кони до Сшкидел, бо у Сшкидел вже стаиць.

– Куда ж, любезный друг, в Скидель?! Скидель вон где, а Свисloch эва куда! Совсем в другую сторону!

– Зжвините, але зж и на Сшкидел тозже вуляны сштаяць, и тозже цалы сшквадрон.

– Да, только там четвертый, а наш – первый.

– Н-ну, и сшто таково, сшто читворты, сшто пэрви, кахгда зж то ни увсшë равно?!. Увсшë равно такой зже гхаросши сшквадрон и такой зже вулянский!.. Але зж до Сшкидел толки двадцяцьвосшюм вэрстов, а до Сшвисloch восшимдесшют, а може й цалы сшто, а може й болш як за сшто, бо вэрсту там не миеренной... И сшто вам за агхота ехаць так очин далеко?!

– Ну, уж это не твое дело рассуждать! Я тебя спрашиваю, сколько возьмешь за парокон-

ную бричку в Свислочь?

– Ой-вай! Сшто зж из вас увзяць?.. Ми не задорого – ми по сшовестю: дваццацьпяць щилкових.

– Что такое? Двадцать пять целковых?! Да ты ошалел?!

– Ниет, то мозже исцо мой папэньку сшалел, а ми взже здаровий!.. Менш – дали-Бугх! – не можна!.. А ни яким сшпасобем не можна!

Начинается торг продолжительный и упорный. Еврей спускает понемножку и все убеждает брать коней до Скиделя – «бо каб до Сшкидел, то можна й за дванадцять, а то и за дзесенць рубли», но после переговоров, длящихся по крайней мере полчаса, в течение которых жид пробует поддеть вас и так и эдак: то льстя самолюбю, то даже устыжая: «Фэ! Такой гхаросший, такой бегатый, але зж такой сшкупий гасшпидин!» – дело наконец слаживается на двенадцати рублях с кормом коней и довольствием ямщика от нанимателя.

Итак, поросенок заказан, кони поряжены, вещи уложены – стало быть, все уже готово!

Слава тебе, Господи! Можно, значит, съездить к кой-кому из хороших знакомых и проститься.

У солдата сборы гораздо короче, а если и замедляются они несколько, то разве тем, что иной из них отпросится у вахмистра в город на базар, купит себе что-нибудь необходимое в его личном хозяйстве: какие-нибудь шерстяные вязаные перчатки или носки, каких-нибудь ниток, иголок, воску да костяшек, если он портной, какой-нибудь дратвы да вату, если сапожник, да разве еще какой-нибудь ярко-пестрый ситцевый платок в подарок старой знакомке – будущей своей «зимовой хозяйшке», которая была уже его хозяйкой и в прошлую, и в позапрошлую зиму. А уходя с осеннего поста, он все свое незатейливое имущество упакует около седла, под попонку, на что времени потребуется ему не более десяти-пятнадцати минут, и потому солдатская укладка начинается уже в самое утро выступления, перед седловкой. С кумом каким-нибудь он простился еще с вечера, причем кум угостил его крючком водки, а добрая кума – буде есть такая – еще накануне

выстирала ему сорочку, заштопала порты и приготовила кусок свиного копченого сала как прощальный гостинец на дорогу, чтобы солдат не забывал ее до следующей осенней стоянки.

Некоторые затруднения случаются только для старшего вахмистра, и происходят они вот отчего: стоит эскадрон, положим, хоть на осенних квартирах, во время осеннего полкового сбора, недель шесть или около двух месяцев в какой-нибудь деревушке, поблизости полкового штаба. При выступлении эскадрону надо получить от старосты квитанцию, что обыватели к солдатам никакой претензии не имеют; но крестьяне, иногда справедливо, а иногда и облыжно, непременно заявляют кляузные претензии: у Ясюка, мол, огород потоптали, а у Мацея шлея да два куля соломы из сарая пропали, а у Криштофа из-под хмелю тычины не весть куда повыдерганы – все это суть претензии, которые следует удовлетворить, потому что не наряжать же формального следствия из-за Мацеевых кулей да из-за Криштофовых тычин, когда завтра на рассвете эскадрону выступать из деревни.

Значит, вахмистру надо помириться, чтобы получить квитанцию. А как помириться – дело известное. И староста с сотским, и Мацей с Ясюком очень хорошо уже, из долгого житейского опыта, знают способ этого мира. Они знают, что вахмистр любезно и дружелюбно зазовет их в корчму, поставит им две или три кварты водки; Мацей с Ясюками напьются, покалякают, посчитаются кто чем, прослезятся и скажут: «А бувайце здоровеньки, брацки! Вертайтесь до нас, да каб паскарейш!.. Дай вам Боже вяселы пуць! Працавайце!» – и эскадрон расстается приятелем со всеми Ясюками и Криштофами, все претензии которых, настоящие или мнимые, в сущности заключаются лишь в получении дарового угощения двумя-тремя квартами водки.

В ночь перед выступлением солдат просыпается очень рано. Еще небо темно и играет яркими звездами или подернуто мгlistым, холодным сумраком; еще вторые петухи только что начинают голосисто перекликаться между собою с разных концов погруженной в глубокий сон деревни, а уже солдатик, зевая и бормоча про себя: «Ох тих-тих-ти-их...

Господи Иисусе Христе!» – протирает кулаком глаза, натягивает сапожища, набрасывает на плечи шинель и по хрусткой, заморозковой почве пробирается через двор к конюшне, где, мерно хрустя зубами и изредка пофыркивая, стоит его конь в ожидании утренней уборки. В ночь перед выступлением солдату обыкновенно плохо спится: все кажется, даже и во сне, что не успеешь убраться, что проспешь тот час, когда, идучи вдоль сонной деревни, эскадронный трубач на старой, дребезжащей трубе зычно и отчасти фальшиво протрубит в ночной тишине знакомые звуки генерал-марша:

Всадники-друзи, в поход собирайтесь!

Радостный звук нас ко славе зовет:

С бодрым духом храбро сражайтесь! –

*За царя, родину сладко нам
смерть принять!*

Седлай!

Но долго еще до того времени, когда вслед за высоким финальным звуком трубы повто-

рится громко и долгозвучно на всю деревню команда взводных вахмистров: «Седла-а-ай!»

А между тем солдатик уже встал, осмотрел лошадь, зачистил ее, задал гарнец утренней дачи, заложил сена и покрыл попоной в ожидании этого зычного вахмистерского окрика. Потом тут же на дворе умыл руки и лицо посредством самого простого, незатейливого способа: набирая себе в рот воды из глиняного хозяйского кувшина. Вода холодна и дерет ему кожу, но это ничего: дело здоровое! А умывшись, солдатик становится еще бодрее; стал степенно, лицом на восток, где еще и не думает сереть белесоватая полоса восхода, и, осеняя себя широким крестным знаменем, шепчет свою тихую молитву. Пока он справился с лошадью, пока сам умылся, Богу помолился да приоделся, – глядь: прошло часа полтора времени. Третьи петухи поют; на востоке чуть-чуть засерело, хотя звезды блещут и мигают все также сильно и светло в темной глубине неба, а кое-где по избам у иных добрых хозяев уже яркий огонь в печи затрещал; по деревне дымком потянуло; замычал теленок в каком-то хлеву; заскрипел «журавель»

над колодцем – и пустая бадья звучно удари-
лась в глубине криницы об сонную и вдруг
забулькавшую влагу... Голоса слышны кое-
где; по конюшням фыркают кавалерийские
кони и гулко бьют копытами промерзлую
землю. Эскадронная собачонка Шарик с зако-
роченным хвостиком весело затыкала и, об-
нюхиваясь, резво побежала вдоль по деревне
вприпрыжку, подрыгивая слегка где-то при-
шибленную заднюю ногу. Там и сям около
хат и сараев чаще замелькали солдатские
темные фигуры, в полутьме похожие на ка-
кие-то бродячие тени. В низеньких, крошеч-
ных оконцах засветились огни – деревня ма-
ло-помалу проснулась. И дымком тянет по
низу сильнее и гуще.

Прошло еще около часу – и вот трубач по-
шел вдоль по деревне, с одного конца до дру-
гого. Раздались резкие, дребезжащие звуки –
генерал-марш будто бы будит солдатиков, а
они все и без него уж давным-давно просну-
лись. И не успел еще затеряться за ближним
пригорком в холодном предрассветном возду-
хе издалека слышный высокий звук трубы,
как уже с четырех концов деревни почти ра-

зом раздаётся эта знакомая и давно ожидаемая команда: «Седлай!» – и солдатики вмиг засуетились.

В конюшнях – слышно – то там, то здесь фыркают, храпят и бьются седлаемые кони, раздаются обращаемые к ним возгласы:

– Но-о, ты!.. Куда-а?!.. Смирно!.. Ы! леший!.. Сто-ой!..

– Шклянник! Подержитка-сь, братец, свою Баранесу! Мешает, подлая: зубам балуется...

– Бочаров! Куды-те, дьявол, щетки мае задевал? Отдай щетки-то!

– Трохименко! Прячьте, пожалуйста, ваш недоуздок – валяется!

А в это время взводные вахмистра похажи-вают по конюшням да подбадривают:

– Но-но, ребятки!.. Встрепохнись, ворошишь!.. Живо, живо, братцы! Живея! И то, вишь, сколько запоздали!.. Ну-ну, не копайси! Чтобы в секунт!

Но «ребятки» не копаются: они и без поощрений, уж сами по себе «в секунт» готовы, – и вот, то с того двора, то с этого, полязгивая тяжёлыми саблями, сходятся к сборному пункту, то есть к вахмистерской квартире, одиноч-

ные всадники, ведя коня в поводу и вольно положив на плечо пику.

Андрей Васильевич в это время давно уже «встамши» и наскоро чайком заниматься изволят.

Вот зашли к нему взводные доложить, что люди, почитай, готовы, а он их чайком:

– Карп Макарыч! Илья Степаныч! Кушайте, пожалуйста!.. Без сумления!.. Наливайте-тка! Да только, значит, поскорее!

Взводные наскоро втягивают в себя горячий, дымящийся чай, кто из стакана, кто из чашки, кто из кружки, – обжигают себе при этом глотки, морщатся, пучат глаза, но это ничего, потому вахмистерский чай, известно, дело горячее.

Но вот вахмистр выходит ко фронту.

– Все ли в сборе, ребята?

– Все как есть, Андрей Васильич!

– Никто ничего не забыл?.. Осмотритесь-ко!

– Все как есть, при себе... будьте без сумления!

– Ну, ладно!.. Садись!!

И фронт заколебался: солдатики ловким

взмахом взбираются на тяжело завьюченных лошадях, из ноздрей которых пар валит клубами. Слегка прозябшие кони нетерпеливо фыркают и бьют копытами заскорузлую землю. Вот наконец все сели и разобрали поводья. Вахмистр снял шапку и крестится – весь эскадрон тоже креститься начинает.

Около кучки баб и мужиков староста с сотским, опершись на свои дубинки, да несколько мальчишек, запрятав прозябшие ручки в спущенные рукава холщовых сорочек, любопытно посматривают на всю эту процедуру.

– Ну, братцы, с Богом! – раздается голос вахмистра. – Смирно! Справа по три, шагом... ма-а-рш!

И эскадрон тихо двинулся, слегка колебля над своею темною массой легкие флюгера, в сероватой мгле рассвета.

Мальчишки вприпрыжку, звонко перекликаясь между собою, провожают его и задирают эскадронного Шарика, который тоже вприпрыжку на трех своих ногах, с веселым, радостным лаем и визгом швыряется во все стороны, то кидается между рядами, то забегает вперед и, вертя своим закорюченным

хвостиком да скаля зубы, ласково засматривает лошадям и людям в глаза, словно бы говоря им этим взглядом: «Ну, вот, братцы мои любезные, и опять дождалися походу!.. Да взгляните же на меня, на Шарика-то! И я ведь вместе с вами! Никуда от вас! Привел Господь Бог, значит, опять прогуляться; только – аи, аи! – целый переход придется без кормежки в сухую отмахать!.. И-их ты! весело!..»

И люди, и кони словно бы понимают Шарика: первые улыбаются ему, а вторые ласково пофыркивают, мотая на него книзу головами, и вдруг осторожней начинают переступать, как бы нарочно для того, чтобы невзначай не задеть его копытом, когда Он вдруг затешется и заездит между рядами.

Староста с сотским, убагадушенные вчерашним вахмистерским угощением, отправились, опираясь на свои дубинки, провожать эскадрон далеко за околицу, а с другой стороны рядов увязалась за одним видным, красивым солдатиком какая-то молодая бабенка и, выпятив корпус вперед, поспешает босиком за лошадиным ходом, лишь бы не отстать от своего солдатика. Бабенка закрывает глаза ру-

кою и всхлипывает.

– Не плачь, дура, чево ты! – обернувшись на нее книзу, говорит ей красивый солдатик. – Ну, чего ж ты! Ведь сказано, назад вернемся!

– О-ой, саколику мой! – слышен в ответ на это сквозь всхлипыванья прерывистый, надорванный от слез женский голос.

– Эка бесстыжая!.. Полно-те, не срамись!.. При людях сама бежить, а сама плачить!.. Право, стыдно!.. Аль с утра ужхватила, что ли?.. Рабята смеяться будут.

– Ничего, пуцдай ее! – толерантно замечает сосед. – Известно дело: покутница, солдатка...

– Ой, салдатка, салдатка, голубонько мой! – сквозь слезы, ни на кого не глядя и все продолжая закрывать глаза рукою, навзрыд говорит бабенка. – Може й маво саколика гдысь-то проводзаехтось так само!.. Быу, та и узяли, у москалики пайшоу, и сама одна зосталасе!.. О-ой, саколику мой ясны!..

– А ось пачакай, пачакай, быдло ты! Я це кием! – грозитя на нее своею дубинкою солидный сотский.

Но покутница знай себе воет.

– Ну, дура, не плачь, говорю! – продолжает время от времени увещевать ее красивый солдатик. – Ведь ничего не поделаешь!..

Назад вернемся, так я те хустку червону подарю... Не плачь же! Срам ведь!

– Ничего! – опять-таки отвечает на это сосед. – Пущай ее!..

Потому, известно – любоф!

Но вот, и староста с сотским, откланявшись в последний раз «до забаченья», понуро повернули назад к деревне, и покутшца-бабенка отстала от конского шага, утомясь наконец от быстрой ходьбы босыми ступнями по холодной, жестко замороженной почве, – и эскадрон мало-помалу всею своею темною, колеблющеюся массой скрылся за горою, по направлению к городу, в легком морозном тумане занимающегося утра.

Рассчитывая, что завтра придется пораньше встать, я нарочно раньше лег в постель и, по обыкновению, на сон грядущий стал пробегать столбцы первой попавшейся под руку газеты. Было уже более двенадцати часов, когда в прихожей раздался авторитетный звонок, обыкновенно обозначающий свою си-

лой приход кого-нибудь из товарищей, – и точно: через минуту в спальню ввалились с топотом и веселым шумом адъютант с квартирмейстером.

– Как!., уже в постели? Что за безобразие! Эдакая рань еще, а он спать! – раздались их возгласы. – Мы, брат, к тебе прощаться пришли – «принимай гостей, покидай постель»!

– Вас бы нелегкая еще попоздней принесла: чем же я теперь кормить вас буду?

– Все, что есть в печи, – все на стол мечи!

– Было бы что метать-то! Трактиры наши, сами знаете, в эту пору уж заперты.

– Не в трактирах дело, а в хорошей беседе! Чай дома есть?

– Разумеется.

– И выпить найдется что-нибудь?

– По обыкновению.

– Ну, а хлеб да соль у денщиков отыщем, – значит, аминь тому делу!

Однако я распорядился, чтобы человек побежал поскорее в ресторан и попытался бы там достучаться да добыть чего ни на есть из съестного, хоть холодного ростбифу, что ли.

– Вот это правильно, – подхватил адъ-

ютант, – потому что не о едином хлебе сыт будет человек, но и о ростбифе.

Пока один денщик побежал в трактир, другой стал возиться около самовара, раздувая его по денщичьему обыкновению длинным голенищем походного сапога.

– А где Апроня? – осведомился адъютант о моем сожителе, которого добрые приятели попросту звали между собою этою интимною кличкой.

– А где ему быть? По обыкновению, в театре пропадает.

– И все поддыхает по Эльсинорской? С актрисками возится?

– Поддыхает...

– А лихо она, черт ее возьми, канкан танцует!.. И куплеты сказывает не без шику!

– Тем и берет. Впрочем, девочка добрая...

Завязался обыкновенный офицерский разговор: о лошадях, о манеже, о начальстве, о женщинах, о ростовщике-еврее и его процентах, да о романе «M-ll Giraud – ma femme».

В это время раздался новый звонок – и после некоторой возни в прихожей вошел мой сожитель Апроня.

– А я, брат, с актрисками, – проговорил он таинственным полусшепотом, на цыпочках шагая ко мне своими длинными ногами и подавая нам руки.

Мы все невольно рассмеялись.

– Где ж они и много ль их?

– Здесь вот! – И он кивнул по направлению к нашей офицерской гостиной и кабинету. – Целая тройка! И есть мы все хотим, как сорок тысяч братья хотеть не могут.

– Целая тройка?!. Что ж там больно тихо у них, никакого гвалту не слышать?

– Постойте: разойдутся еще... Вот городишкото мерзейший! – с досадой продолжал Алроня. – Только что спектакль кончился. Думал поужинать; толкнулся к Роммеру – залерто, к Шестаковской – заперто, к Вездненскому – тоже заперто!., Тфу ты!.. Вот и живи тут!.. А они есть хотят; Варвара Семеновна даже и не переодевалась: как играла, так дебардером и поехала; торопились, думали – авось не запрут, ан не тут-то было!.. Ну, уж город! В двенадцать часов хоть с голоду помирай!.. Я вижу это, что и есть-то им хочется, да и прозябли, катаючись со мною за пищей; ну, что ж

тут, думаю... «Поедемте, mesdames, говорю, к нам: авось что-нибудь и отыщем». Ну, вот и приехали! Найдется, что ли, у нас-то хоть что-нибудь?

– Да что вы там заперлися? – раздались веселые и нетерпеливые голоса за запертой дверью. – Прикажите хоть огня-то подать... Мы в потемках!

Я велел мигом зажечь лампы, затопить камин и давать поскорее чаю, а сам живо оделся и явился к нежданным гостям, которые уже весело тараторили с моими товарищами, вышедшими к ним по первому зову.

Я нашел в своем кабинете уже довольно оживленную картинку: большая лампа под розовым колпаком наполняла всю комнату мягким матовым светом; сухие дрова уже весело трещали в камине; две актрисы, Каскадова и Радецкая, обе очень миловидные и веселые женщины, – напялив фехтовальные перчатки и упрятав свои головы под сетчатые маски, стояли посередине комнаты в самых воинственных позах и затеяли между собою преуморительный бой на эспадронах, к немалому соблазну лягавого щенка, который,

весело тьявкая, гонялся то за одной, то за другой, игриво теребя их шлейфы; а страсть моего сожителя – девица Эльси-норская, одетая мальчишкой в шикарный костюм дебардера, в котором она только что играла в театре роль Леони в известном буфе «Все мы жаждем любви», – сидела за пианино и, как-то ухитряясь в одно и то же время перекидываться словцом-другим в общей болтовне и аккомпанировать себе бойкими аккордами, напевала шикарный куплетец:

*A Provins
On recolte des roses
Et du jasmin et lies tra ta-ta-ta,
Et beaucoup d'autres choses!*

Звуки свежего голоса, смех и возгласы двух бойцов в юбках, их оживленные личики с яркими щеками, с которых не успел еще сойти густой румянец, наведенный на них морозным холодком, потом этот лязг стальных эспадронов, веселое тьявканье щенка и треск ярко пылающих поленьев – все это казалось так ярко, весело, молодо, свежо, все дышало такой беззаботной и беззаветной жизнью и удовольствием, что я нимало не по-

жалел о том, как теперь, ввиду завтрашнего похода, пришлось подняться с постели в час ночи вместо шести утра, и был очень доволен этим внезапно импровизированным набегом на мое обиталище.

– Однако соловья баснями не кормят! – воскликнул мой сожитель. – Что же, в самом деле, есть у нас что-нибудь есть?

В эту минуту вошел денщик мой, которого посылал я в трактир на фуражировку.

– Вот тебе и живой ответ на твой голодный вопрос, – сказал я, указывая на него Апроне. – Ну, что, Степан, что скажешь?

– Заперто, ваше благородие.

– Тфу ты! – с досадой топнул сожитель. – Ты б разбудил их!

– Я разбудил-с; только повара у них все разошедшись и огонь погашен, а буфетчик пьян-с; иначе ж я, взявши его деликатно, значит, за шиворот, препроводил в кладовую и нашел четыре холодных каклетки-с.

– Только четыре?! – вскричали мы с ужасом.

– Только-с, – отвечивал невозмутимый Степан.

– Ну, господа, утешительного мало!

– Так точно, ваше благородие, я и сам думал, что мало, и для того толкнулся эта у нас внизу к евреям и добыл у них два куса жидовской щуки маринованной.

– Четыре котлетки и два куса жидовской щуки! Значит, положение наше еще не так отчаянно! Фонды поднимаются!.. Ну, а дома не найдется ли еще хоть чего-нибудь из перекусок?

– Амар-с есть! – доложил Степан. – Копченая корюшка есть... сыру небольшой кусок ошамшись... да еще с полбанки пикулей найдется.

– Так что же ты молчишь-то, голова!.. Живо тащи все это сюда... Живо!

– Каштаны тоже есть, ваше благородие! – вспомнил он, уходя уже за дверь. – И фрухта есть...

– Какая фрухта?

– Груши-с. Штук с десяток будет.

– Каштаны и груши! Пикули и омар! А ты говоришь, что ничего нет съедобного! Варвар ты эдакой!

– Так нетто, ваше благородие, все это съе-

добное? – недоверчиво ухмыльнулся мой Степан Григорьевич.

– А что ж, по-твоему?

– Так, малодушие одно... баловство, значит.

Однако наши жрицы Талии и Мельпомены настолько проголодались после длинного спектакля, что не сочли малодушием ни пропитанных каенским перцем английских пикулей, ни каштанов, которые они тотчас же стали печь в камине и преуморительно таскать их из полымя концами эспадронов.

Омар и копченая корюшка, котлеты и жидовская щука, пикули и ломти ржаного солдатского хлеба (за невозможностью достать лучшего) – все это исчезало с тарелок с быстротой вполне похвальной, как вдруг раздался звонок паки и паки, и вслед за тем вошли еще четверо товарищей.

– А мы на огонек! – объявили они. – Видим свет в окнах, слышим звук унылый фортепьяна – и зашли!

– Откуда Бог принес?

– От Колотовичей – там нынче вечер коротали на английском чае... Нет ли, господа,

хоть рюмки водки-то?

– Есть!.. Только вот насчет закуски уже скудно стало!

– А твой походный поросенок с курицей?

– Увы! Поросенка с курицей принесут от Роммера только завтра к семи часам!..

– Баше благородие! Картошка есть у нас! – возгласил вдруг Степан Григорьевич, как вестник спасения появляясь у двери.

– Что за картошка такая?

– Сырая-с. Только, значит, сейчас молено сварить, а потом на сковородке поджарить, потому как у меня еще остался кусок сала свиного и цибулька-с... давеча мы с Аникеем для себя брали... так, значит, этта, можно поджарить со шкварками и с лучком-с. В один секунд будет готово!

– Картошка!.. Bravo! Давай сюда картошку! – захлопали в ладоши наши дамы. – Душки, mesdames, давайте сами варить картошку! Это, душки, прелюбопытно будет!

Степан принес кастрюльку и лукошко картофеля. Девица Эль-синорская, засучив рукава своей бархатной курточки и фартуком подвязав вокруг талии столовую салфетку, при-

нялась за стряпню: отбирала лучшие картофелины, обмывала их в воде, прополаскивала и укладывала в кастрюльку. Девушка Радецкая резала на мелкие кусочки свиное сало, а Каскадовой выпала наигоршая доля: морщась от лучного запаха, летучий эфир которого до слез ел глаза, она крошила в тоненькие колечки головку цибульки, к затаенной потехе моего Степана, который с явным, хотя и безмолвным скептицизмом относился к мудреной стряпне «барышень-актерок». Но барышни-актерки – худо ли, хорошо ли – дело свое справляли довольно скоро. Наполненная доверху кастрюлька уже кипела на таганке, а Эльсинорская, присев на корточки перед камином, усердно подкладывала железным прутом каленые уголья и головешки под кастрюлю, – и картошка, при таковых стараниях, поспела довольно скоро. Живо ее облупили, еще живее искрошили с помощью вилок, пересыпали луком и салом, посолили, перемешали всю эту кутерьму, выложили на сковороду и отправили снова в камин на ту же самую таганку, но теперь уже не вариться, а жариться. Девушка Эльсинорская, вся раскрас-

невшаяся, как рак, от двойного жара огня и собственного усердия, вся озаренная с лица ярким, перебегающе багровым светом полымя, с папироской в зубах, все так же сидела на корточках и, пошевеливая сковороду, то и дело ворошила вилкой картофельное крошево, чтоб оно получше прожаривалось да побольше румянилось.

– «Красотки-гризетки совсем не кокетки!» – под аккомпанимент шипящего сала напевала она сквозь зубы, сжимавшие дымящуюся папироску.

– Аи, душки, страсти какие! – с ужасом вскричала дебелая Каскадова, с гримасой нюхая свои пальцы. – Аи, какие ужасты! Руки просто страх как луком воняют... Господа, нет ли одеколону у вас? Бога ради, выручите меня поскорей, а то юнкер Ножин и ручек мне больше целовать не будет!

Девушка Каскадова – кстати или некстати сказать – была идеально, бескорыстно неравнодушна к юнкеру Ножину, очень стройному и красивому мальчику.

Одеколон, и вода, и мыло, и полотенце явились к услугам ручек девушки Каскадовой,

которым угрожала столь серьезная опасность, а между тем и жарено Эльсинорской поспело. Хотя, вытаскивая его из камина, она и наредила на всю комнату, так что пришлось все форточки раскрывать, однако же стряпня ее, вопреки ожиданиям скептического Степана, оказалась превкусною. Эльсинорская была очень довольна и своим кулинарным искусством, и отданною ей данью справедливости и похвал и все уверяла, что картофель, зажаренный таким образом, называется картофелем а la Pouchkin. Девушка же Радецкая, горячо споря с нею, доказывала, что «все не а la Пушкин, а а la шустер-клуб, душка», потому что сама она сколько раз в летнем петербургском шустер-клубе едала картофель, приготовленный точно таким же образом.

– Ну, а отныне пускай же он будет а la Эльсинорская! – порешил их спор голодный Апроня, запихивая за щеки изрядное количество картофельных крошек и заедая их ржаным солдатским хлебом.

Херес да petite Bourgogne, честер да груши отличнейшим образом приправили наш вне-

запно импровизованный ужин. Апроня, пододзав человека, таинственно и многозначительно мигнул ему – и в ту же минуту раздался в комнате очень хорошо знакомый всем звук осторожно вскупоренной засмоленной бутылки. Шампанское зашипело и запенилось в стаканах, а вместе с ним улыбки и взоры, смех и разговор стали еще оживленнее.

– Господа, позвольте тост! – провозгласил, подымаясь, длинный Апроня. – За картофель а la Эльсинорская!

– И за картофель, и за самое Эльсинорскузо! За Варвару Семеновну! – подхватил кто-то из офицеров.

Компания перечокалась с виновницей тоста и выпила исправно как за картофель, так и за Эльсинорскую: да здравствуют и тот, и другая!

А там уже и пошло, и пошло...

– За ручки Каскадовой и за bouquet d'oignon, которыми они пахнут! – предложил один.

– За шкварки Радецкой! – изобрел другой.

– За Колумба, который открыл Америку! – подхватил третий. – Потому что, не открой он

ее, мы бы не ели сегодня картофеля!

– За Фердинанда Кастильского и Изабеллу Арагонскую, потому что не дай они кораблей Колумбу, так Колумб, пожалуй, и не открыл бы Америку!

– Ну, господа, если уж Фердинанд с Изабеллой пошли в ход, – заметил кто-то из товарищей, – то, значит, следующий тост будет за Колумбовы корабли, а затем, чтобы быть последовательными, придется пить за испанский флот, а от испанского флота за флот вообще, а там за финикиян, за аргонавтов, за Ноев ковчег и т. д., восходя до самых прародителей, так уж чтобы скорее к делу, лучше начнем сначала, то есть с праотца Адама и пра-матери Евы.

– Скачок, мой друг, слишком велик, – заметили ему на это предложение. – Последовательность в этом случае лучше и почтеннее.

– Да, но в таком случае едва ли мы нынче дойдем до Адама.

– Ну, не дойдем, так доползем, даст Бог.

– О, нет, сомневаюсь: скорее же костями тут ляжем – мертвые бо сраму не имеют! А за прародителей все-таки выпить надо! Кто, гос-

пода, поддержит мой тост?

– Я! – бойко подхватила Эльсинорская, ловко вспрыгивая с бокалом на стул. – Пью, господа, за праматерь Еву *par excellence*..

И за древо познания добра и зла! – промолвила она, лукаво сверкнув на всех глазами.

– Bravo! Это тост разумный! Потому что, не будь этого древа, мы не умели бы познавать ни добра, ни зла; и, следовательно, лишены были бы в принципе самой способности распознавать настоящий Редерер от тутейшей жидовской подделки! Итак, за древо познания добра и зла! Идет!..

– Ох, моя прелесть, уж коли так, то не выпить ли нам с вами, кстати, и за грехопадение! – шутливо вздохнул, обращаясь с бокалом к Эльсинорской, ее застольный сосед Апроня.

– Умные речи приятно и слушать! – рассмеялась она, чокнувшись с соседом так звонко и сильно, что даже несколько вина выплеснулось из их стаканов.

Оба они залпом осушили их. Эльсинорская сразу вскочила вдруг из-за стола, вприпрыжку подлетела к пианино, взяла несколько бой-

ких аккордов, бегло проиграла веселый ритурнель в темп «мазуречки» и лихо запела своим задорным голоском:

*Гой, вы улане – малеваны чапки!
Сёнде, поядонь до моей коханки!*

Но особенно хорошо, грациозно и в то же время уморительно-комично у нее выходил следующий куплетец, который она не пела, а почти говорила – сначала расслабленно-болезненным, как бы умирающим голосом, а потом комическим, лукаво-смирненным тоном польского ксендза:

*Панна умирала – ксендза сень пы-
тала:
«Чи на там-тем евеци сон' улане
пршеци?» –
Ксендз ей отповедзял, же и сам не
ведзял,
Чи там сон' уланы, чи ксендзы ко-
ханы...*

И все это вдруг, совсем неожиданно завершилось у нее лихим а эффектным мотивом начала:

Гей-гоп, улане! гол, мальваны чапки! Гоп!

сёнде, поядон' до моей коханки!

Огненное *allegro* всей этой песни было пропето действительно прекрасно. В самом мотиве, в котором сквозь его бойкую веселость порой прорываются минорные, чисто славянски занывающие нотки, было нечто искристое, вдохновенное, беззаветно удалое.

С последним своим сильно взятым финальным аккордом она живо вскочила с табурета при оглушительных «браво» и рукоплесканиях и комически присела всей публике, пародируя рутинную благодарность актрис сцены. Оставленное его место занял мой сожитель, который вообще большой артист в душе: отлично понимает цыганскую и в особенности русскую песню и очень недурно играет на цитре, так что мы, бывало, с ним иными вечерами все время проводим за музыкой: он с цитрой, а я тихо ему аккомпанирую на пианино, и выходило это у нас иногда-таки недурно. Увлеченный, как и все мы, хорошо и характерно спетою песней, он, как бы в ответ ей, своим все еще звучным, хоть и надтреснутым баритоном запел старый кавалерийский марш.

– «Вы замундштучили меня», – начал он с фанфардами в аккомпанименте, который все время идет марсиальным темпом кавалерийского марша:

*Вы замундштучили меня
И полным вьюком оседлали;
И как ремонтного коня
Меня к себе на корду взяли.*

– О, да! В этом отношении я – опытный и лихой берейтор! – воскликнула Эльсинорская и, как бы в подтверждение своей похвальбы, сняла со стены манежный бич и, отступя в глубину комнаты, действительно очень ловко взмахнула им и щелкнула.

Апроня продолжал свое «Признание кавалериста»:

*Повсюду слышу голос ваш,
В сигналах вас припоминаю
И часто вместо «рысью марш!»
Я ваше имя повторяю.*

– И на гауптвахту попада! – экспромтом добавила Эльсинорская.

*Несу вам исповедь мою.
Мой ангел, я вам рапортую,*

*Что я вас более люблю.
Чем пуши и лошадь верховую!*

– Мерсі за лестное сравнение с лошастью! – пренебрежительно выдвинув румяные губки, в шутку поклонилась певцу его пассия.

– Да это, может быть, очень лестно для женщины, но плохо для кавалериста, если он уже начинает любить что-нибудь более своей лошади! – не без легкой язвительности заметила Радецкая, которой, как кажется, в душе было немножко неприятно, что некоторые отдают предпочтение не ей, а ее сценической сопернице.

– А что, господа, хорошо бы теперь жженку уланскую да трубачей бы сюда? – расходился мой сожитель. – Одобряете аль нет? Уж прощаться так прощаться с товарищем, чтобы проводы были как следует! А то, поди-ка, жди, когда-то еще он приедет теперь в штаб из своей свислочской труппы!

Мысль была единодушно поддержана. Трубачи в этих случаях идут с величайшей охотой, в котором бы часу их ни подняли. Они знают, что во всех подобных случаях труды их оплачиваются с избытком.

Хоть и было уже около трех часов ночи, но адъютант тотчас же поехал в свою трубачскую команду за музыкой, а принадлежности для жженки нашлись и дома, тем более что эта «уланская» жженка готовится хотя и по особому, но нехитрому и несложному рецепту. Во всех холостых военных компаниях уж так испокон веку ведется, что варение жженки являет собой акт некоего отчасти торжественного свойства. Денщики принесли металлический уёмистый сосуд и без сознания важности предстоящего священнодействия поставили его на подносе посередине стола. Усатый майор, многоопытный жженковаритель, скрестил над сосудом два обнаженных сабельных клинка, на середине которых утвердил глыбу сахара и систематически стал обливать эту глыбу прозрачно-золотистым коньяком. Затем в сосуд было всыпано две крошенные тесемки ванили – и зажженный спирт вспыхнул слабым синеватым пламенем. Кроме ванили – никаких более специй. Огни потушены, спирт разгорается ярче – пламя его начинает забирать свою силу и трепетными языками обвивается вокруг

клинков и лижет бока сахарной глыбы; тающий сахар с шипением и легким треском огненными каплями падает в глубину пылающего сосуда. Усатый майор берет бутылку красного вина и осторожно, чтобы не погасить пламени, выливает его, в равном количестве с коньяком, уже не на глыбу, а прямо в сосуд и начинает мешать горящую жидкость большой суповой ложкой. Майор строго знает свое дело и не ошибется, а совершит его в такт и в меру, что называется, с чувством, с толком, с расстановкой и, наконец, со вкусом. Благовонный, горячий чад спиртных паров распространяется по темной комнате и слегка начинает туманить головы. Неровный свет слабого пламени, тускло-синеватыми бликами трепетно перебегая иногда по светлой стали оружия, развешанного по стенам красивыми группами, скользит по ближайшим к вазе предметам и придает мертвенно-бледный, фантастический колорит лицам, тогда как дальние планы комнаты остаются в густом и почти непроницаемом мраке. Стольники как-то притихли, изредка разве перекинется сосед с соседом каким-нибудь

словом, но и то лишь вполголоса – все с таким сосредоточенным вниманием следят за действием искусного майора, усатая фигура которого освещается несколько более прочих. Но вот один из нас садится за пианино – и хор подхватывает за ним товарищескую, военную песню про «черных гусар», песню, сложенную на тот угорско-славянский мотив, из которого Франц Лист некогда создал свой известный «Венгерский марш»:

*В бой с врагом смерть идет –
Черные гусары!*

Но не успели мы еще кончить эту песню, как уже в прихожей послышался топот многочисленных подошв, говор, сморкание, откашливание, продувание инструментов, возня какая-то – и вдруг целый хор наших трубачей дружно и энергично грянул оттуда лихую старопольскую мазурку Хлопицкого. Кто-то подал руку одной из дам – звякнули шпоры, щелкнул каблук – и в тот же миг несколько пар понеслись по темной комнате, вокруг большого стола, за которым усатый майор с невозмутимым и самосознательным спокой-

ствием и серьезностью специалиста продолжал, стоя над пылающей вазой, свершать свое священнодействие. Пары носились по комнате, сшибаясь и сталкиваясь между собой, едва озаряемые слабым синеватым огнем пылающего спирта и бледно-золотистым светом луны, заглядывавшей в окна с высоты ясного неба. При таком двойном и отчасти фантастическом освещении эти, как тени, носящиеся пары походили на каких-то беснующихся призраков из «Шабаша ведьм» или из «Вальпургиевской ночи». Расшитый блестками испанский дебардер Эльсинорской вакхически мелькал, как буря, то здесь, то там по всем концам темной комнаты.

Но вдруг трубачи неожиданно смолкли, разом оборвав мазурку на одной нотке. Кружащиеся пары остановились в полнейшем недоумении на одном из самых горячих моментов своей пляски. Наш адъютант сделал сюрприз, которого в данную минуту мы менее всего ожидали. Через самый краткий промежуток времени, после того как столь внезапно оборвалась лихая музыка, вдруг в тишине всеобщего недоумевающего молчания

раздались полные, густые, торжественно мрачные аккорды нашего похоронного марша. словно бы каким-то леденящим веянием могилы охватили всех эти звуки после горячей бури мазурки. Что-то жуткое и щемящее невольно ущипнуло за сердце каждого. Мы все инстинктивно как-то замолчали и слушали каждый в том положении и на том месте, где его нежданно-негаданно захватили похоронные аккорды. Один только майор над своей вазой оставался по-прежнему невозмутимо спокоен, сосредоточенно и плавно продолжая мешать ложкой пылающую жидкость.

Эффект погребальных звуков при этом прозрачном мраке, трепетно озаряемом двойным светом луны и жженки, был – надо отдать ему должную справедливость – очень хорош именно своею неожиданностью. Но – одна неожиданность вслед за другою, а эту другую сменила третья, и эффект этой последней был еще лучше. Едва замолкли последние, словно бы в глубь могилы уходящие аккорды похоронного марша, как наши трубачи вдруг грянули резко «адский галоп» Оффенбаха, с его бешеным, горячечным темпом, с его роко-

том будто бы кипящей адской смолы, с его перебегающими, летучими звуками, которые словно бы чертенята прыгают, скачут, искрятся и толпятся и сшибаются целыми вереницами, одни вслед за другими, в каком-то музыкально-поэтическом хаосе адского фейерверка, поджариваемые на шипящих сковородах всей угарно-веселой кухни Вельзевула.

– Пущено! – весело крикнул кто-то – и наши остановившиеся было пары вновь понеслись по комнате и закружились еще живее в чаду оффенбаховского галопа.

– Жженка готова! Зажигайте свечи! – громко провозгласил майор, бросая на пол горячие клинки.

Комнату осветили. Стаканы наполнились горячим ароматным напитком.

– Ну! Доброго пути! За предстоящий поход, хотя и пустячный, а все-таки выпить надо! – предложил тост мой сожитель.

Выпили и за добрый путь, и за поход, отдавая должную справедливость искусству майора, потому что сваренная им жженка была в своем роде превосходна. Пили потом за полк и полковое товарищество, причем трубачи

грянули полковой марш, всегда и неизменно, в силу старого обычая, сопровождающий эти тосты. Время летело весело и потому слишком быстро, так что мы и не заметили, как по соседству на соборной колокольне ударили благовест к заутрени.

– Эге! Да уже шесть часов, господа! Надо же дать человеку и отдохнуть перед походом! – домокнулся кто-то из товарищей.

– Нашел время для отдыха! – отвечали ему смехом. – Теперь ему разве только чаю выпить, умыться да одеваться в походную форму.

Решили, что спать не стоит ложиться, потому что только хуже размаешь себя. Да оно и точно: когда уж тут спать! Некоторые из товарищей решили проводить меня и эскадрон несколько верст за город, до первого привала. Тотчас же распорядились послать к рейткнехтам приказания, чтобы седлали таких-то и таких-то лошадей и вели их к перевозу. Между тем гости наши стали собираться домой. Их одели, укутали, обмотали башлыками и всею компанией пустились провожать на улицу. Заранее вышедшие трубачи, построившись,

ждали уже под воротами. Мы усадили наших барынь на извозчиков; иные из наших уселись на передки, другие кое-как примостились на подножках, остальные вокруг и пешком – и вот вся эта процессия с музыкой двинулась шагом до сонному городу, к необычайному изумлению жидков, только что просыпавшихся и продиравших глаза из-под своих бибехов в ожидании гандлов и гешефтов наступающего дня.

В небе только что начинало сереть по восточной окраине, но звезды все еще мерцали кое-где редкими точками. Свет склоняющейся луны однако же заметно слабел и белел, а в морозно-чутком воздухе пахло уже рассветом зарождающегося утра.

Мы добросовестным образом проводили наших театральных дам до их квартиры и простились.

*Трубят голубые уланы
И едут из города вон! –*

раздался веселый голосок девицы Эльсинорской – и с этой песенкой, быстро и легко подымаясь по ступенькам, она скрылась в

темноте лестницы, ведущей в ее театральную келью.

2. На первом переходе

Когда я вернулся домой, пароконная бричка с почты уже ждала во дворе и денщики укладывали в нее мои вещи. Налившись чаю, я оделся в походную форму, навесил ладанку, прицепил саблю, пригнал пистолетную кобурку да подстегнул чешую шапки и пешком отправился по едва пробуждающимся улицам вниз, под гору, под которой, огибая город, протекает Неман. Мне хотелось пройтись. Утро, борясь с предрассветной мглой, все более и более вступало в свои права. Вот и спуск к Неману. С реки подымается белый туман. У берегов плавают тонкослоистое, матовое «сало». Парома нет еще: он на той стороне и пока не виден за туманом, из которого самыми смутными очертками едва-едва выделяются крутизны и возвышенности противоположного берега с его крышами еврейских домишек и колокольней Францишканского кляштора. Холодно и тихо. Эскадрона нет еще, но у перевоза виден человек и темная фигура ко-

ня в поводу под попоной; гляжу – это мой рейткнехт дожидается с моим Ветераном. Поласкав коня, я в ожидании эскадрона присел на одно из бревен, наваленных у берега. В католических костелах зазвонили к ранней «мше». Вот грязные жидовки в лохмотьях плетутся по спуску и, звонко перебраниваясь, занимают обычные, насиженные места около перевоза со своими «котиками» и лотками, на которых продается всякая снедь вроде булок, вареного картофеля и гнилых яблок. Понемногу начинают набираться сюда же разные солдатiki, бабы, евреи, мещане, мужики с возами да фурманки в ожидании переправы на ту сторону. И моя бричка подъехала. Время от времени с реки доносятся протяжные пере-клики паромщиков с судовщиками, которые на своих «берлинках» спускаются вниз по течению. На перевозе между солдатиками и жидами крикливо поднялся уже какой-то «хандель» – что-то вроде старых штанов продается, Рассматривается и перекупается, – и евреи при этом перебивают друг у друга «ви-годны гешефт».

Но вот, приближаясь издали, доносятся все

слышнее, все ближе, с высоким фальцетом хоровых подголосков гуденье бубнов и звяк медных тарелок. Мой конь, заслыша знакомые звуки, поднял морду, насторожил уши и, понюхав воздух, вдруг заржал, подобрался и нетерпеливо стал бить копытом мерзлую землю – своих, значит, почуял. И точно: вон уже видны голубые с белым флюгера, а вот и наш эскадрон на вороных своих конях спускается с горы. Вахмистр остановился, повернул коня и пропускает мимо себя людей, предупреждая, чтобы те «подтянулись и шли в порядке».

– Смирно! – командует он, завидя офицера. – Эскадрон сто-ой! – И вслед за тем – руку под козырек и подъезжает с рапортом, что все, мол, обстоит благополучно.

– Здорово, люди!

– Здравия желаем, ваше благородие!! – как один человек, откликаются более сотни здоровых, громких голосов одним бойким, перекатным выкриком.

– Слеза-ай... вольно, оправиться!

Люди зашевелились, засморкались; с обычным лязгом сабель слезают с лошадей,

оправляются; иной подтягивает подпругу, иной оглаживает своего коня, ласково похлопывая его ладонью по шее; кто уже и трубочку запалил, а кто дымит наскоро сверченной папироской. Махорочным запахом потянуло. Иные покупают у торговок булки и весело гуртуют и торгуются с ними, а один молодой уланик в неловко сдвинувшейся на затылок шапке, с добродушно улыбающейся физиономией, уплетает за обе щеки горячий картофель – и лицо его выражает такое удовольствие, что так и кажется, будто в эту минуту он совершенно доволен и счастлив тем, что наслаждается сильно горячей картошкой. Двое солдатиков, отделяясь от эскадрона, осторожно осматриваются и переговариваются о чем-то меж собою: видно, что им очень бы желательно теперь незаметным образом юркнуть в гостеприимную дверь ближайшего кабака и хватить по крючку; они за массой лошадей делают уже разные маневры и лавируют для того, чтобы вышло это какнибудь «поделикатнее и попартикулярнее»; но глаз эскадронного вахмистра зорок: он знает натуру, и характер, и наклопности каждого чело-

века в своем эскадроне, и его не надуешь никакими маневрами и эволюциями; он чувствует, в чем тут суть дела, и потому издали, окликнув двух солдатиков по имени, строго грозит им пальцем – и те со смущенно улыбающимися физиономиями неспешно и разочарованно возвращаются ко фронту.

– Паро-ом!.. ге-ей! Да-вай жи-ве-я паро-ом! – рупором приставив руки к губам, зычно подаёт вахмистр голос на тот берег.

– И-де-ет! – протяжным откликом доносится к нам из тумана с середины реки – и вот минут через десять, выплывая из белесоватой мглы темной массой, паром неуклюже и медленно причаливает к берегу.

– Переправа повзводно. Первый взвод вперед, шагом – марш!

Люди спешно двинулись к парому.

– Не жмись! Не напирай! Куды вас, дьяволы, всех разом поперло! – распорядился и хлопотал вахмистр. – Вводи в порядке поочередно, на лошадь дистанции, по одному!.. Да осторожнее! Под ноги гляди! Ставь коней рядом, головами в поле, к воде, задом к середине!.. Да без суеты! Поспеешь! Не бойсь, никого

не забудем, всех возьмем!.. Ну? Готово, что ли?

– Готово!

– Ну, отчаливай с Богом! Господь с вами!.. Вороненко, доглядите, чтобы там все было в порядке!

– Не сумлевайтесь, Андрей Васильевич, – успокоительно откликается взводный, – не допустим.

И паром, как-то скрипя и кряхтя, грузно и тяжело отчаливает от берега и уплывает в редяющую мглу тумана. С реки слышно, как иногда тревожно топнут о настилку парома конские копыта и вслед за тем резко и коротко взвизгнут сердитые жеребцы.

– Но-о, ты! Дерись тут еще, кусайся! Я те покусуюсь! – доносится сердитый голос солдата, крикнувшего на повздоривших коней.

Паром придет обратно не ранее, как минут через двадцать, а то и через полчаса. Переправа – дело довольно скучное, потому что, пока последовательно перевезутся все четыре взвода, пройдет по крайней мере часа полтора времени, в течение которых сиди себе на берегу и, что называется, жди погоды. Скучно.

Смотришь рассеянно на скучающих и потому понуривших головы коней, и на топчущихся с холоду солдатиков, на возы и фурманки, которые скопляются все более и которым долго-долго придется теперь дожидаться своей очереди на пароме. Сидящие у лотков жи-довки все также перебраниваются между собой за булку, купленную солдатом у Меруи, а не у Рашки. Жиды купили и продали, перекупили и перепродали асе те же старые штаны и успели уже сделать несколько выгодных гешефтов. Мальчишки с праздным любопытством глазают на ожидающих улан. Вот с молитвенником в руках идет какая-то пани «докосциолу» и, проходя мимо «москалей», отвернулась и сплюнула в сторону. Жжешь одну папиросу за другой в ожидании, когда-то наконец переправишься сам с последним взводом; но вот – слава Богу – подъехали товарищи, обещавшие проводить; пришел полковой портной Мов-ша Элькес, который вменил себе как бы в некую священную обязанность являться самолично во всех случаях полковой жизни: на маневры, на плац, во время учений и смотров, на переправу, при уходе и

прибытии эскадронов, на пирушки в прихожую офицерских квартир, на именины, на похороны, – одним словом, всегда, везде и повсюду без присутствия Мовши Элькеса дело не обходится. На маневрах, смотрах и переправах он обыкновенно является с бутылкой водки в одном кармане, со связкой бубликов в другом и с грушами во всех остальных, причем считает первым долгом своим предложить «гашпидам офицерам» угощение всеми имеющимися у него в наличности запасами. Вслед за Мовшей Элькесом к парому пришла своей утиной походкой и мадам Хай-ка – точно так же, как и Мовша, неизбежная спутница полка во всех случаях его жизни. Оба они состоят при полку и в веселую минуту любят заявлять о себе, что «слгожат в вулянах». Мадам Хайка Пикова – пожилая женщина, которая взяла себе привилегию снабжать всех офицеров полка папиросами и сигарами; но и кроме этих двух специальных предметов она доставляет, в случае надобности, и чай, и сахар, и свечи, и вино, и платки носовые, и чулки, и вообще все, что бы ни понадобилось в офицерском хозяйстве.

– А ми до вас на переводы! – заговорили и Мовша, и Хайка, подходя к нам с поклонами. – Мозже одного румку на дорошку? – любезно предложил Элькес, вытаскивая бутылку.

– Нет, спасибо, не хочется...

– Ну, то гхля мне гхэто будет обидно. Я же у вас пил сшиводню...

– Когда сегодня? – удивились мы все, услышав это заявление.

– Сшиводню в ноц...

– Да ты разве был?!

– А как же ж ниет?.. Когда ж би я могх не бить. И ми бил, и Хайка бил, и музику сшлюшили... Увше время у ваша перехожая били з музыканты.

– Да как же вы узнали про это?

– Ага! Вже взжнали!.. Во у нас таки нюх, и таки дух, и таки сшлюх есть!.. Зжвините!

Приехал полковой командир с адъютантом проводить эскадрон и проститься с ним. Все мы,*не исключая эскадронного Шарика и Хайки с Элькесом, переправились наконец на ту сторону вместе с четвертым взводом и поднялись на крутой подъем, где на площадке,

почти уже за городом, в порядке ожидали три первых взвода. Полковник осмотрел строй и пожелал людям доброго пути.

– Песенники на правый фланг!

– Песельники на правый фланок! Живо! – передали по фронту приказание взводные вахмистра – и человек двадцать улан рысью выехали из рядов со всем своим песенным инструментом и разместились «по голосам».

– Ну, с Богом!.. Прощайте, ребята!

– Счастливо оставаться, ваше высокоблагородие! – весело и дружно рявкнул фронт в ответ командиру.

– От меня по чарке водки!

– Покорнейше благодарим! – еще веселее пробежало дробью по рядам.

– С Богом!

– Эскадрон, смирно!.. Справа по три! Равнение налево, шагом... ма-арш!

И в порядке – пики в руку, глаза налево – эскадрон стройными рядами, красиво подобрал коней, двинулся мимо полкового командира.

– И прищайте! и прищайте! и прищайте! – махая платками, кричали вдогонку и Хайка, и

Элькес.

Не белы снеги во поле забелели, –

разливисто, высоко и свежо зазвенел вибрирующий тенор запевалы, который с разу крашенной лентами и бубенцами махалкой ехал впереди своей команды.

– Аи, да забелели! – дружно подхватил хор, сопровождаемый звоном тарелок и парой гудящих бубнов – и эскадрон под эти родные, широко разливистые и душу захватывающие звуки, тихо, но бодро уходил в широко раскинувшуюся даль принеманских полей, только что за сутки пред сим успевших покрыться, как тонкой пеленой, пушистыми девственно-белыми снегами.

Туман поднялся и рассеялся. Солнце проглянуло из-за облаков и блеснуло тем именно светом, который обещает прекрасную, ясно-морозную погоду. В воздухе реяли тонко-иглистые, замороженные искорки, на которых играли солнечные лучи, так что они казались будто плавающей мельчайшей алмазной пылью. Те же лучи солнца, преломляясь на отдельных снежинках, превращали и

снежные поля в какие-то серебряные скатерти, по которым щедрой рукой рассыпаны искрящиеся точки самоцветных камней, — и острые лучи всех этих алмазов, рубинов и яхонтов даже колят глаз порой своим ярким, играющим блеском. По полям кое-где раскиданы одиноко растущие дикие груши; изредка попадаются они и около самой дороги и стоят, словно серебряной шапкой, покрытые снежным налетом, который запустил их шарообразно и обильно разросшиеся ветви и прутья. По сторонам дороги, на свежем снегу, который только самым тонким слоем покрыл землю, видны иногда заячьи следы; а вон по тоненьким черточкам, которые узкой ленточкой тянутся в сторону и пропадают за ближними кустами, видно, что здесь недавно стадо куропаток перебежало. Воробьи задорно и бойко чирикают по дороге над свежим навозом; а эскадронный Шарик решительно поражает своей неутомимостью: задрвав кренделем свой хвостик, он просто кубарем каким-то мечется по полям, кидается во все стороны и звонким, веселым лаем оглашает всю пустынную окрестность.

Эскадрон растянулся себе на вольном походе. Впереди идут песенники, в некотором расстоянии за ними – взводы, по порядку своих номеров; позади взводов гуськом тянутся всадники с заводными лошадьми в поводу, а в самом хвосте колонны, замыкая ее собой, едет дежурный по эскадрону унтер-офицер, наблюдая за порядком и за тем, чтобы люди не отставали, не отъезжали в стороны и не слишком бы растягивались. Несколько в стороне, отдельно от фронта, по краю дороги, едут вахмистр с двумя взводными и ведут между собой какую-то беседу. Отношения вахмистра к унтерам вообще и ко взводным в особенности основаны «на политике»: они все друг другу говорят «вы». Сколько бы ни были интимно-приятельственны эти их отношения к тому или другому унтеру, но уж «ты» ни один из них не скажет самому задушевному своему приятелю. В этом «вы» у них выражается как бы взаимное уважение и почет к званию унтер-офицера, и далее чуть произведут в унтера какого-нибудь рядового, которого вчера еще все «тыкали», сегодня все – и его товарищи рядовые, и новые товарищи унте-

ра – начинают уже говорить ему «вы». Вахмистра все называют по имени и отчеству, а в официальных случаях «господином вахмистром»; он же по имени и отчеству относится только ко взводным, к эскадронному квартирмейстеру, фуражмейстеру и писарю, а прочих всех унтеров, говоря им «вы», кличет по фамилиям. Никакое начальство этой «политики» никогда между ними не вводило, не настаивало и не наблюдало за образованием именно такого рода взаимных унтер-офицерских отношений. Эскадронные командиры из старых служак иногда даже бывают и недовольны своими вахмистрами за эти «миндальности»; но – такая уж «политика» установилась как-то сама собой и столь укоренилась между солдатами, даже столь нравится им, что их уж никаким образом от нее не отучишь. Да пожалуй, что и не следует отучать, ибо в этой форме взаимных отношений, в этом «вы», в этом «Андрей Васильич» и «Карп Макарыч» невольным образом выражается и их взаимное сознание чувства собственного достоинства, и уважение к чину унтер-офицера, да вместе с тем оно же служит

и добрым примером рядовым, а в особенности молодым солдатам. Чем меньше грубости в нравах и взаимных отношениях, тем лучше!

Вот впереди чернеется в воздухе придорожный крест, а неподалеку от него торчит соломенная кровля корчмы, которая стоит на перекрестке. От этой корчмы нам надо будет свернуть направо и идти на фольварк Капцовщизну, на местечко Индуру до деревни Прокоповичи, где назначен первый ночлег. Как подойдем к корчме, то это будет значить, что отошли мы от города около семи верст, — значит, уже время спешить людей, чтобы облегчить лошадей и самим поразмять ноги в небольшой прогулке около версты, до перекресточной корчмы, где можно сделать маленький привал.

Спешились и пошли. Крепкий снежок хрустит под ногами; от лязга сабель, колотящихся ножнами о промерзлую почву, стоит какой-то особенный металлический шум над идущим эскадроном; слыша этот шум и завидя колеблющиеся флюгера, испуганная птица с тревожным, коротким выкриком от-

летает с дороги, а за нею откуда ни возьмись срывается вдруг и целая стая, и с пронзительным криком в каком-то замешательстве тянется в сторону, низко над белыми полями, за дальнюю лощину и там, долго кружась над избранным вновь местом, наконец-то опускается и успокаивается понемногу.

Бричка моя с вестовым на облучке опередила эскадрон и рысью поехала к корчме, чтобы успеть там к нашему прибытию выгрузить погребец и дорожные запасы.

Вот и корчма перед нами – низенькая, маленькая, грязненькая, с черной соломенной кровлей, на которой разросся порыжелый мох и торчат засохшие стебельки бурьяна. Из низенькой закопченной трубы дым валит. Длинный журавель скрипит над криницей, из которой батрачка тянет бадью. Две лохматые собаки, тощие и злые, бросаются на лошадей и на Шарика, который, в виду столь грозного неприятеля, поджав хвостик, старается поскорее затесаться в середину между людьми и конями.

– Эскадрон, стой!.. Послать взводных вахмистров с котелками!

Люди весело в ожидании водки стали по-таптываться и махать зазябшими руками. Некоторые перекидывались снежками, некоторые боролись между собой, чтобы согреться. Иные до сине-багровых пятен натирали себе снегом ладони и пальцы, так как левой руке, держащей поводья, приходится терпеть муку немалую: на морозе, при небольшом даже ветре, левая рука начинает невыносимо щемить, ныть и скоро коченеет, так что тут единственное опасение – растирать себе пальцы сухим снегом для возбуждения в них теплоты и чувствительности.

В маленькой, низенькой корчемке топилась печь, и дым ел глаза: ветром выбивало из трубы. Замурзанные жиденята в одних рубашонках ерзали голым телом по холодному, сырому, грязному земляному полу; две еврейки, в каких-то смоклых лохмотьях, с ухватками возились у печки, готовя щуку и кутель к наступающему шабашу. Грязь, вонь и нечистота, но не бедность – отнюдь не бедность, ибо за перегородкой, куда провели нас, офицеров, висели очень порядочные лисьи шубы, пальто, мантильи и даже шелковые платья

тех самых евреек, которые в таких скверных лохмотьях возились теперь у печки.

Корчемка, несмотря на свое внешнее убожество, стояла на очень бойком месте и, судя по этим мантильям и платьям, приносила доход хороший. Сюда обыкновенно в базарные дни наезжают из города перекупщики-евреи и приобретают у крестьян все продукты, которые те везут в город; здесь же обыкновенно и крестьяне пропивают значительную долю своей выручки, и всякий возвращающийся из города останавливается – хоть на минутку – и выпивает «килих» на дороге.

Вахмистра упорно стали торговаться с еврейками о водке, которой на эскадрон обыкновенно требуется полтора ведра. Еврейки ломили за ведро пять рублей. Цена и точно что убийственная, но еврейки соображали себе то обстоятельство, что до следующей попутной корчмы не близко – верст восемь по крайней мере, а уж коль скоро солдаты остановились и покупают водку, то, стало быть, есть надобность распить ее не дальше, а именно здесь, в виду длинного перехода при холодной погоде.

В тесном пространстве за перегородкой, куда мы вошли, вестовой уже приготовил закуску: раскрыл погребец, развернул сахарную бумагу, в которой покоилась жареная курица, и распаковал корзинку с пирожками. После не особенно сытного ужина накануне, после бессонной ночи и наконец теперь, после маленького моциона, скромный завтрак показался всем нам очень вкусен и приятен. Мы с превеликим аппетитом истребляли пирожки и нахолодавшую на морозе курицу, запивая их хересом да красным вином, причем поневоле приходилось чередоваться стаканами за недостатком их. А между тем за перегородкой набралась полнехонькая горница солдат, приходили они – кто погреться, кто за угольком для трубочки, кто так себе просто поглазеть, что тут делается, а вахмистра все еще упорно торговались с еврейками, не уступавшими им «а ни grosша!».

Я кликнул эскадронного за перегородку.

– Бросьте вы, наконец, торговаться!.. Что ж мы людей-то из-за них даром на морозе держим.

– Да как же, ваше благородие, никак невоз-

можно!.. Подлые эдакие, вдруг пять рублей за ведро, коли мы никогда больше трех с полтиной не платили!

– Ну и черт с ними! Пять так пять!.. Надо же наконец дать людям водки!

– Да нет-с, никак невозможно-с!.. Потому опять же я докладываю вашему благородию, что они подлые...

– Да брось же ты, ей-богу!..

– Воля ваша-с, конечно... а только для того, что нам жалко ваших денег... за что же-с вы теперича задаром будете кидать им два рубля с четвертаком? Люди, конечно, на угощении очень благодарны, а все же никто не пожелает, чтобы господа офицеры для нас так вот, зря, кидали лишнее... Никак это невозможно-с!

– Ну да ладно! Кончайте скорее!

– Не извольте беспокоиться, ваше благородие!.. Мы уж их урезоним: сдадутся-с!

И точно, что урезонили: полтину на ведро еврейки спустили, но уж меньше никак! Вахмистр пришел доложить об этом обстоятельстве.

– Все ж таки семьдесят пять копеек выгада-

ли-с!.. По крайности, не так уж обидно! – заявил он с оттенком не совсем еще улегшейся досады в лице и в голосе. – Ваше благородие, а насчет полковницкой чарки как прикажете быть? – спросил он, несколько понизив голос.

– Не знаю уж, – пожал я плечами, – на походе, коли нет эскадронного командира, все чарки, по обыкновению, офицерские – стало быть, мои.

– Так точно-с. Нам бы, значит, полковницкую чарку выпить лучше, как уж совсем придем на место, на квартиры.

– И то правда. Стало быть, так и сделайте.

– Так точно-с, оно и людям вольготнее, а на походе две чарки будет много-с: неравно кого и разберет. А насчет непьющих как прикажете-с?

– Непьющим дать, по обыкновению, пива или меду по стакану.

– Слушаю-с!

Вахмистру при этом – тоже по обыкновению – налили мы стаканчик и поднесли и дали два пирога на закуску. Маленький знак такого внимания со стороны офицеров всегда бывает вахмистрам очень приятен.

Что касается до двух чарок на человека, то, по практическому замечанию вахмистров, это зараз будет действительно много: казенная чарка сама по себе равняется доброму стаканчику; солдат же вообще пьет мало и редко – конечно, оттого, что это редко ему удается, – и потому, чтобы захмелеть, для большей части из них двух чарок совершенно достаточно, а одна необходима на походе чисто уже в гигиенических условиях, особенно при осенней сырости или по зимнему холоду.

Расплатись с еврейками, мы вышли на двор. Там взводные уже кончили раздачу винной порции: каждый человек по порядку подходил к своему взводному и принимал от него свою чарку. Большая часть солдатиков принимали ее не иначе, как перекрестясь сначала, и, выпив, передавали следующему пустую посудину с поклоном.

– Ну, готовы, что ли?

– Готовы-с!.. Покорнейше благодарим ваше благородие! – весело откликнулись вдоль по всему фронту улыбающиеся лихие рожи в своих характерных, заломленных набекрень шапках.

– Теперь веселее пойдетя... И песни играть будет не в пример вольготнее! – заметил голосистый запевала, обтирая обшлагом шинели свои обледенелые и побелевшие от холода усы.

Погребец снова уложили со всеми съестными запасами в бричку, и я пустил ее вперед эскадрона, приказав ехать пошибче, рысью, чтобы вестовой успел на ночлеге приготовить мне к приходу эскадрона угол в избе, раскинуть походную кровать и поставить самоварчик. Вестовой Бочаров был человек надежный и потому, сразу дав тумака в спину мямле-ямщику, убедил его этим внушительным аргументом ехать как следует – и бричка моя покатила себе крупной рысью.

Я простился с провожавшими меня товарищами. Эскадрон двинулся по дороге вправо, а те вперегонку друг с другом пустились сначала в карьер, а потом пошли крупной рысью и скрылись за волнистой покатостью по направлению к городу.

Мороз усиливался. Высокие облака сплошь почти заволокли все небо, и солнце светило из-за них тускло-красноватым пятном с ка-

ким-то медным отсветом. Этот свет солнечно-го диска служил верным предвестником, что к вечеру мороз усилится еще более.

Мы шли густым сосновым лесом. Подымался ветер, и видно было, что он крепчает. Хотя мы сами еще и не ощущали на себе его резкого действия, будучи заслонены двумя зелеными стенами с обеих сторон дороги; но ветер тянул по вершинам, и порывы его иногда становились столь сильны, что высокие, старые сосны, качаясь и кренясь, издавали неприятный скрип, иногда похожий то на скрежет, то на жалобные стоны. Воронье целой стаей кружилось и каркало где-то над лесом. Спугнутый заяц выскочил из-под пня и, как ошалелый, в страхе и ужасе засигал прямехонько-таки вдоль по дороге, впереди эскадрона, преследуемый свистом и уханьем наших людей. Шарик, заливаясь лаем и подрыгивая задней лапкой, ретиво и резво пустился за ним вдогонку, но вскоре по лаю слышно стало, как ему и досадно, и обидно, что заяц совсем вот на виду и сигает прямо, а он меж тем никак его догнать не может и через это только прыть свою собачью пред це-

лым эскадроном посрамляет.

Старый вахмистр, досадливо цмокнув губами, опасливо покачал головой.

– А-ах, ты Господи!.. И нужно же было этому косоглазому лешему!.. – проворчал он вполголоса.

– Чего ты, Склярв? – обратился я к нему, не понимая причины его сетующего замечания.

– Да заяц, ваше благородие.

– Ну, так что ж, что заяц?

– Да оно ничего, а только примета нехорошая... Дай Бог, кабы переход благополучно сделать!.. У нас уж это исстари заметка такая положена, что как ежели заяц перебежит дорогу или вот как теперича, и того хуже, побежит вдоль по твоему пути, тут уж гляди, какая ни на есть шкода приключится... Ну, да никто, как Бог!.. Авось пронесет благополучно! – заключил он словами надежды, но эти слова были сказаны, кажись, более для утешения нескольких ближайших людей, слышавших наш разговор; сам же Склярв в душе своей, как мне показалось, мало верил в то, чтобы переход кончился благополучно.

Песенники между тем разливались во всю грудь, несмотря на мороз; остальные калякали сосед с соседом да покуривали свои носогрейки, по-видимому вовсе не разделяя вахмистерских опасений насчет случайно подвернувшегося и ни в чем не повинного зайца.

Между тем мы вышли из лесу. Широко и далеко раскинувшееся поле охватило нас со всех сторон, и здесь уже ветер, гуляя себе невозбранно на всем вольном просторе, стал сильно-таки резать в правую щеку своими студенными порывами.

Было уже более четырех часов пополудни, когда мы прошли фольварк Капцовщизну, где против старого помещичьего «сломяного палаца», принадлежащего родовитому пану, с некоторого времени, как бельмо в глазу, стоит новенькая православная церковь в чисто великорусском стиле, а подле нее расположен уютный домик, в котором помещается сельская школа. За Капцовщизной опять пошли волнообразные поля с раскиданными кое-где рощицами и перелесками да с полосой непрерывного темно-синего бора на горизонте вдоль берега Немана. Высокие кресты

там и сям раскиданы по этим пространствам, на межах и на перекрестках тропинок и проселочных дорог. Иногда они попадаются и по дороге, и на каждом непременно имеется врезанная надпись, гласящая, что «тен кржиж поставионы на памёитек» о том или другом обстоятельстве панско-костельной жизни. Кстати, об этих крестах: на втором переходе, близ нашего пути, стоит около одной речонки высокий и прочный крест с надписью весьма своеобразной. Есть даже и легенда. Некий пан – «родовиты шляхциц» – однажды в весеннее половодье тонул в разлившейся речонке вместе со своей нетычанкой и конями. В минуту опасности он дал обет, что ежели пан Бог избавит его от смерти, то он на сем месте поставит «кржиж на памёнтек». На панское счастье, проезжает какой-то хлоп, который, видя крайне критическое положение родовитого пана, пустился вскачь в ближайшую деревню, кликнул мужиков с жердями, волами и веревками – и те вытащили из воды пана вместе с нетычанкой и конями. «Родовиты шляхциц – як гоноровы и поржондны чловек» сдержал свой обет, данный Богу: поста-

вил крест и на нем увековечил себя следующей надписью: «тен кржиж пан пану поставил, за то, же пан пана од смерци выбавил».

Тускло-багровое пятно все более склонялось к западу, и вместе с его склонением даль на горизонте заметно начинала кутаться в какую-то свинцово-серую мглу с лиловатым оттенком. Мороз крепчал, а вместе с морозом крепчал и порывистый северо-восточный ветер, который быстро гнал по небу дымчатые, причудливо очерченные облака, и эти ближайшие к земле облака, окрашенные по краинам своим в молочно-фиолетовые и дымно-розоватые тоны, довольно явственно обрисовывались своими изменяющимися формами и очертаниями на общем фоне туманного неба. Ни клочка лазури уже не было видно. Снег не падал, но сильные порывы ветра, стлавшиеся по земле, вздымали его с полей и с дороги. И этот снег был такой мелкий, сухой, как песок, и колючий до жгучей боли, так что казалось, будто тысячи иголок колят уши, глаза, нос и щеки. Этот проклятый снежный песок мельчайшей пылью забивался за воротник и таял за шейей от прикоснове-

ния к телу; набивался он и за левый рукав под сорочку, которая сырела и увлажнялась. Рука невыносимо ныла под замшевой перчаткой – а каково нее было тем несчастным солдатам, у которых вовсе не имелось никаких перчаток!.. Пальцы ног начинали сильно Щемить на холодных стальных стременах; колени, плотно обхваченные натянутыми рейтузами, холодели под ветром. Я тщетно старался прикрыть и укутать их полами своего пальто: ветер то и дело распахивал эти полы и забирался холодной струйкой под рукава, к плечу и из-под шеи за спину и выщемливал из глаз соленую слезу, которая, катясь по лицу, ужасно неприятно щекотала щеки и, пропадая в усах, замерзала на них ледяными сосульками.

Разыгрывалась сухая морозная метель. Снег все более и более сметало с дороги и крутило в поле, накидывая его пластами и сугробинами в канавках, около камней да под можжевельным низеньким кустарником. Дорога совсем почти обнажилась и темнела под ногами и впереди глинисто-коричневой лентой. А надо заметить, что до последних суток,

в течение нескольких дней, шел непрерывный осенний дождь, размочивший глинистую почву до того, что по всему пути образовались страшные шероховатости, бугры, впадины и глубокие колеи. Потом в одну ночь все это месиво вдруг заколодило крепким морозцем и слегка прикрыло первым зимним снежком. Теперь же, когда этот снежок сносило ветром, вся дорога обнажилась и представила такую гололедицу, что лошади, пытливо ступая самым осторожным шагом, поминутно скользили и спотыкались. Мы никак не предвидели, чтобы в обычных условиях того климата могло вдруг заколодить так, как это неожиданно случилось теперь, и потому большую часть лошадей не успели перековать на зимние шипы. В прежние годы, обыкновенно, приходилось нам выступать на зимние квартиры в эту самую пору либо по прекрасной сухой дороге (ибо осень в том крае считается почти лучшим временем года), либо же по размягченному дождями глиняному месиву. Морозы в том крае наступают гораздо позднее, а в этот раз случился вдруг такой милый сюрпризец и, как нарочно, перед самым

выступлением!

Пока дорога сплошь была прикрыта снежком, кони шли себе бодро, легко, спокойно и уверенно, но теперь по открывшейся гололедице мы принуждены были вместо обычных шести верст в час делать только четыре и даже несколько менее. Студеный ветер, вздымая челки и гривы лошадям, свистел между пиками, шумел и плескал флюгерами и крепко донимал озябших людей. Но люди видимо бодрились, не унывали и подняли воротники плащей только тогда, когда я дважды отдал настойчивое приказание поднять их на уши и ссучить нарукавные обшлага, в прорезь которых в таких случаях у нас пропускаются мундштучные поводья. Это все ж таки хоть сколько-нибудь предохраняет левую руку от влияния стужи. Песенники, несмотря на резкий ветер, почти неумолчно горланили развеселые песни. Красивая махалка то и дело ходенем ходила и плясала в такт над их хором, споря со свистом и шумом ветра звоном и звяканьем своих бубенцов и колокольчиков.

– Полно, ребята, вам горланить! – крикнул

я им. – Глотки простудите!

– Никак нет-с, ваше благородие! – откликнулись мне из хора. – Нам но экому времени ежели петь, так не в пример лучше!

– Да чем же лучше-то?

– А как же-с!.. Вот как попоешь да трубочку еще горяченькую потянешь, так оно словно бы и теплее!.. Ведь песня греет!

Вдруг недалеко позади меня крякнул лед под конскими копытами, и затем что-то глухо рухнуло всей массой на землю и сухо, коротко хрустнуло. Раздался тяжелый, глухой, болезненный стон.

– Ваше благородие... ваше благородие! Остановите эскадрон! – раздался за мной тревожный голос вахмистра.

С командой «Стой» я повернул назад своего коня. Шагах в десяти от меня в придорожной канавке лежал на боку и барахтался конь, силясь подняться на ноги и сильно придавив своей массой солдата. Ужас невыносимой боли и страдания исказили черты лица упавшего. После первого стога он лежал теперь безмолвно и бессильно. Несколько соскочивших с седел людей подняли лошадь и высвободи-

ли из стремени ногу солдата. Он стгоряча быстро поднялся на ноги, заботливо отряхнул с полы снег, сделал шаг, друтой и вдруг, словно бы оступившись, с новым криком боли, как сноп, упал на землю.

– Что с тобой, Катин?

– Не могу знать, ваше... больно... нога... Ой, нога! – с трудом простонал он, заскрежетав зубами.

Вахмистр с одним из солдатиков бросились к нему, подняли с земли и поставили на ноги.

– Ничего! Пройдись немножко, – ободрил его Склярв. – Разомнися чуточку! Оно сейчас же и тово... полегчает!

– Не могу, Андрей Васильич! – через силу бормотал солдат. – Мочи моей нет на то... никак не могу-с я...

– Ну, а ты попробуй!.. Ничего!.. Мы тебя поддержим.

– Разве что поддержите...

Он сделал над собой еще одно усилие и упал на руки державших, которые несколько шагов протащили его на себе, держа под мышки. Придавленная нога бессильно воло-

чилась за ними, как мертвая.

– Ну, что ж ты, брат, – снова подбодрил его вахмистр.

– Мочи нет... Христа ради... положите меня... Смерть как больно!

И он, сдавливая в себе стоны, крепко стиснул, сцепил свои челюсти и опять заскрежетал, судорожно поводя скулами. Болезненная бледность видимо разливалась на его страдающем лице, которое вдруг как-то осунулось от жестокой, мучительной боли.

Его положили на землю. Ветер распахивал и взвевал полы его шинели.

Я соскочил с лошади и подбежал осмотреть его ногу.

– Надо бы снять ему салог да поглядеть, что там у него? – заметил вахмистр.

– Где тебе собственно больно? которое место? – наклонился я над ним, опускаясь на колени, затем чтоб осмотреть ушиб.

– Все больно... вся нога... по колено... и в суставе... и в ступне, и в голени... все больно...

Вахмистр сделал попытку стянуть с него сапог.

– Ой!.. – завопил несчастный благим ма-

том. – Не мучайте, Христа ради!.. Оставьте!..
Аж дотронуться мочи нет!

– На лошадь сесть можешь?

– Не знаю... Попробуйте... помогите...
авось-либо...

Его осторожно поднесли к коню и подсадили. Но, перенося через седло ногу, он вдруг закачался в воздухе и бессильно, почти без чувств, рухнулся на руки поддерживавших его товарищей.

Те снова отнесли его несколько в сторону и положили наземь.

Я с тоской оглянулся вокруг и пожал плечами: помощи никакой и ниоткуда!

– Что ж теперь делать?

– Н-да-с!.. Вот он, заяц-то, ваше благородие! – с видом укора к моему неверию заметил старый Скляр. – Это он! Все он, проклятый!.. Уж это поверьте!.. Наша примета солдатская не мимо идет!

– Да уж это никто, как заяц!.. Это так!., это верно! – качая головами, толковали между собой солдатики.

Заяц ли, не заяц, а делу все-таки было не легче от того. Куда мы теперь денемся с этим

несчастливым Катиным? Очевидно, нога его была переломлена. Споткнувшаяся и подскользнувшаяся лошадь грохнулась всей своей тяжестью наземь. Закоченелая рука всадника не могла быть чувствительна к поводу и потому не успела вовремя поддержать его, а затем нога его очутилась голенью над узкой канавкой, а носком в стремях, на краю ее, и от силы удара хрустнула и сломалась, не выдержав напора всей массы лошадиного тела; да, кроме того, в суставе, отделяющем ступню от голени, мог быть еще и вывих – что действительно и оказалось впоследствии. Продолжать путь на коне он уже не мог никоим образом.

«Господи, и дернуло же меня, словно бы нарочно, словно бы на зло, услатить вперед свою бривку! – с болью в душе думалось мне. – Хоть бы подъехал кто-нибудь на наше счастье!» Послать бы куда за подводой – но куда пошлешь? – по сторонам ни единой деревушки, ни единой хатки нигде не видать: во все концы, куда ни глянь, – одна голая равнина, одни поля и поля бесконечные... От Капцовщины отошли уже верст шесть, до

Индуры остается еще верст восемь по крайней мере. Да и пока доедет посланный – а по такой дороге много ли ускачешь! – пока приведет он подводу, сколько это времени пройдет?!. Как быть-то тут!..

Я глянул вдоль по дороге вперед, глянул назад – не видать ли где какого-нибудь воза? Никого и ничего не видно. А несчастный между тем сильно страдает. Молчит, крепится, не хочет выказать перед товарищами всей силы своей боли, но по лицу, по скуловым мускулам, по сведенным челюстям видно, какво ему в эту минуту!.. Лицо его совсем побледнело, и все тело, бессильно растянувшееся на земле, колотила нервная лихорадочная дрожь. Тут еще этот ветер проклятый, эти взмёты холодного, сыпучего снега!.. Чтобы хоть сколько-нибудь защитит его от ветра, я приказал плотней и гуще сдвинуть вокруг него лошадей: все же как будто меньше чуточку продувает. Эскадронный Шарик, словно бы тоже понимая в чем дело, вдруг примолк и присел над лежащим солдатом и как-то пытливо засматривал в глаза то Катину, то окружающим его людям. И сидит себе этот

Шарик такой грустный и озябший; хвостик поджал под себя, сам весь трясется, а ветер вздымает ему шерсть на загривке...

Прошло около получаса. Погода не унимается несколько – и эскадрон понуро стоит себе середь чистого поля. Люди начинают уже озябать весьма и весьма чувствительным образом. И махание руками, и потаптывание хоть и помогают, но уже очень мало. До которых же пор стоять-то! Я решился наконец на крайнюю меру, приказал привести одну из заводных лошадей и сблизить ее с конем Катина посредством связанных поводьев; затем велел достать три чумбура, чтобы из двух устроить род переплета между седлами сближенных коней, закрепив узлами у четырех лук, а третьим привязать больного к этим наскоро импровизованным носилкам, на которые придется положить его поперек обоих седел. Хоть и очень неудобно, да все же лучше, чем лежать ему беспомощно под вьюгой в поле.

Люди приступили уже к работе, как вдруг – гляжу – сзади приближается к нам издали что-то вроде тележки или повозки.

– Слава тебе Господи! – обрадовались солдаты. – Несет Бог кого-то.

Вскоре подъехал на паре сытых лошадок в легонькой нетычанке какой-то пан, вроде шляхтича-арендатора, с усами и узенькой полоской бакенбард, спускающихся под горло, в картузе и синей бекеше со шнурами на груди – одним словом, цельный тип зажиточного шляхтича-арендатора.

Мы остановили его.

– Чьто вам вгодно? – спросил он, оглядывая меня и людей: каким-то неровным взглядом, в котором отражались и недоумение, и некоторая доза трусливого замешательства, что вот, мол, зачем и для чего это остановили его вдруг «москевськи жолнержи», а вместе с тем и недовольство на нас за эту остановку.

– Вы куда едете? – спросил я в том предположении, чтобы попросить его довезти больного.

– А на цо то пану капитану?

– Да вот – несчастье у нас случилось: лошадь упала и солдат ногу, кажись, сломал, будьте так добры – уделите ему место в вашей нетычанке! Тем более, если вам по пути с на-

ми... мы на Индуру идем.

Родовитый шляхтич, услышав мой тон, в котором не было ничего ни грозного, ни насильственного, ни начальственного, а была одна только просьба, искавшая у него лишь человеческого сострадания и помощи, вдруг изменил замешательное выражение своих глаз и лица, придав им самоуверенное спокойствие с чувством сознания собственного достоинства.

– Мне не по пути з вами, – коротко и сухо ответил он, – бо я спешу до дому, у свой фольварк.

И он дернул вожжами.

– Постойте!., одну минуту! – вскричал я, ухватившись за борт нетычанки. – Я вам заплачу за эту услугу... Сколько вы возьмете до Индуры?

– Звыните, я не фурман какой-небудь! – с гордостью и сухо ответил пан.

– Я обращаюсь к вам не как к фурману, а как к человеку, и за то время, которое мы отыдем у вас, я предлагаю вознаграждение... Ведь тут пустячное расстояние – всего каких-нибудь восемь верст... Угодно вам за это

получить три целковых?

– Аль бо ж... я вже имел честь доложить господыну капитану, чьто я не звоццык.

– Я обращаюсь к чувству вашего сострадания... взгляните на этого несчастного...

– Н-ну, то й чьто ж мне до тего?! Он для мне ни сват, а ни брат... и к тому ж у мне свой интерес есть... Звыните, не могу служить вам!

И он энергически хлестнул вожжами по своим лошадам.

– Вы заставляете меня употребить насилие! – крикнул я ему, ощутив в себе уже некоторый прилив досады.

– Пршепрашам!.. Ни мам часу, пане! – огрызнулся он мне через плечо и погнал лошадей.

– Остановить его, ребята!.. Живо! – крикнул я – и двое улан в ту же минуту нагнали родовитого шляхтича. Схватив с двух сторон под уздцы его лошадей, они повернули назад панскую нетычанку.

Пан даже побагровел от злости. Шляхетное лицо его изображало гром и молнию. Он, брызгаясь слюною сквозь усы, с жаром и бранью протестовал против улан, но те молча,

преспокойно и равнодушно тащили к эскадрону его лошадей.

– Аль бо ж этое ест насылье, господын капитан! – кричал и жестикулировал он из своей нетычанки.

– Да, насилие, вызванное вами самими! – вполне согласился я с ним.

– Я протэстую!.. Я дворянин... и я не желаю возить ваших солдатов!.. Я имею жаловатъця на вас, когда так!.. Я подам прошение до господина пулковныка, до губернатора, до самого начальника краю!

– Кому угодно и когда угодно!.. Держи, ребята, лошадей его! Да несите сюда Катина! Осторожнее только... легче, легче!.. Клади его в бричку!.. Прошу вас, посторонитесь немного, дайте место больному! – снова обратился я к пану.

– Та чьто ж этое такое!.. Чи я ест в плену у вас?.. Чи я ест повстанец який!.. Не желаю, ани-куды не желаю посторонитьсе!.. бо я ест полны господарж своего экипажу!

– Не заставляйте меня прибегать к новому насилию! – предостерег я пана, в то время как вахмистр, «вежливенько» взяв его под руку,

предлагал то же самое:

– Пожалуйста, добродзею, пожалуйста!.. По-
дайтесь чуточку в сторону... Честью просим
вас!

– Н-ну, когда так, то я буду требовать сатыс-
сфакцию!.. Я сатысфакцию желаю!.. – кричал
пан. – Звыните!.. Вы мне докумэнты у закону
показать на этое!.. Я сатысфакцию буду тре-
бовать!

– Хоть десять!.. Живей, ребята! Не копайся!

Катину подостлали под больную ногу пан-
ского сенца и прикрыли его попонкой. Я при-
казал вахмистру нарядить особого унтер-офи-
цера, который ехал бы рядом с панской неты-
чанкой и наблюдал, чтобы больному не было
сделано какого-нибудь насилия или обиды.

Эскадрон тронулся далее. Панская неты-
чанка с ворчащим паном под присмотром
следовала за нами в хвосте колонны.

Солдаты вдруг как-то нахмурились и при-
уныли.

Заметно было, что несчастное приключе-
ние с Катиным и его страдающий вид сдела-
ли на них свое впечатление. Песни уже не
раздавались более, и даже разговоры почти

совсем замолкли.

Смеркалось. Тьма на северо-востоке надвигалась все гуще и гуще, расползаясь вверх и в стороны, и обращалась в какую-то черную мглу в самом зените неба. Только на западе, на краю горизонта, словно бы узкая щель, горела темно-багровым огнем длинная полоса заката – и контраст этой кроваво-огненной полосы с надвигающейся тьмой и мглой всего остального горизонта производил какое-то бессознательное, грустно-тяжелое впечатление: в нем как будто заключалось нечто злое, вешнее. Один только Гюстав Доре в своих неподражаемых черных гравюрах умеет схватывать в таком совершенстве подобные контрасты тьмы и гаснущего света. Мне невольно вспомнились при этом два из его рисунков: последний момент библейского потопа и Дант с Вергилием, спускающиеся с голых и мрачных скал в пропасти Ада.

Эскадрон шел молча и грустно. Уже совсем почти стемнело. Края неба с дальними планами земли слились во что-то тусклое, мглистое, неопределенное. Вот из-за пригорка выглянули смутные очертания ветряной мель-

ницы – словно бы какое привидение, поднявшее к небу руки, вставала она в стороне со своими крыльями из мглы, сливавшей все ее детали в один смутный, странный и фантастический очерк. Два-три огонька мелькнули впереди: мы подходим к Индуре. А несносный ветер, уже давным-давно остудивший все тело, не переставая, режет своими порывами щеки, забирается за рукава и сыплет в лицо колючей и сухой снежной пылью.

Каково-то этому бедному Катину теперь с его нервной лихорадкой!..

Вот и Индура. Слава тебе, Господи!

Приказав эскадрону, не останавливаясь, следовать далее, я остался пока в Индуре с вестовым и одним унтер-офицером, который должен был тотчас же отвезти больного назад в город и сдать его в госпиталь. В Индуре находится станова́я квартира; есть, говорят, и фельдшер; но становой уехал куда-то по поводу «мертвого тела», а местного эскулапа тоже нигде не оказалось. Унтер-офицер побежал разыскивать сотского, чтобы тот распорядился тотчас же насчет обывательской подводы. Шановного пана держать было больше неза-

чем. Трое мужиков сняли с повозки Катина и кое-как стащили его пока в станковую квартиру.

– Звыните, господын капитан! – обратился ко мне шляхтич, но уже без гонора и задора, а более эдак в миролюбивом и даже в обиженно-беззащитном тоне. – И чьто ж я тераз так-таки й должен уехать?

– Можете ехать, можете жаловаться и требовать сатисфикацию – вообще, все, что вам угодно; но прежде позвольте вам вручить обещанную плату, – сказал я, подавая зелененькую бумажку.

Шляхтич, очевидно, никак не ожидал, что-бы сумма, предложенная ему сгоряча, в минуту крайней необходимости, была уплачена сразу и без всяких пререканий.

– Благодарю вам! – спешно принимая деньги и быстро пряча их в карман бекеша, проговорил он очень ласковым и обязательным тоном. – Благодарю вам, господын капитан!.. Конечно, хотя й кони мои потомились и сам я столько время потратил... и увсе ж надо так говорить, чьто этое ест насылье, – как хотите себе...

– Я с вами не спорю! – согласился я. – Без всякого сомнения, насилие; но что ж делать, если вы поставили меня в необходимость употребить его! Очень жаль – все что могу сказать вам.

– Конечно так!.. Но, однако, я не имею до вас претензии... Я отлично понимаю, что тут была така необходимосць, така экстренносць... ну, и что ж изделать!.. Я понимаю... я сам как ест благородны человек и дворянин – я понимаю, еще раз благодарю вам!.. Звыните!

Шановный пан протянул руку, ища моего пожатия. Я не отказал ему в этой пустой любезности – и мы расстались.

Наконец-то отыскали сотского, который после довольно продолжительного и довольно бестолкового спора у корчмы с несколькими мужиками привел очередную подводу. Больному устроили мы из сена ложе, настолько покойное, насколько допускала наша скудная возможность, – и унтер-офицер с моей запиской повез его в город.

Мы с вестовым отправились далее.

Индура – это скверное, бедное и грязное местечко, расположенное на голой плешине

и являющее собой безотрадный вид пепелища. Оно горело несколько раз, почти периодически, и все не может отстроиться как следует. Мы скоро оставили его за собой.

Багровая полоса на западе уже совсем потухла – и прикрытые снегом поля снова охватили нас со всех сторон, тускло белеясь при слабом свете облачной ночи. В нескольких шагах, впрочем, можно было разглядеть черные стебли репейника да бурьяна и белые дымки снега, взметаемого завихрухой по краям дорожных канавок; но впереди уже ничего не видать, кроме безразлично и неопределенно стоящей перед глазами какой-то мглы белесоватой. Давно ушедший эскадрон не виднелся темным пятном в этой мгле, и мы не стремились нагонять его, а шли себе осторожным шагом, так как лошади все еще иногда скользили и оступались на гололедных местах да по глубоким колеям и ямам. Дорога к тому же была прямая, и до Прокоповичей – места нашего ночлега – оставалось уже верст около двух, не более.

Вот и кладбище виднеется влево, в нескольких саженьях от дороги. Высокие тем-

ные кресты – которые прямо, которые сильно покосившись – печально глядят на нас с плешины голого пригорка и как будто простирают объятия своими поперечными брусьями.

Миновали кладбище. Мой вестовой Свиридов ехал шагах в трех за мной. Вдруг наши кони захрапели и шарахнулись в сторону. В ту же минуту, как стрела, пущенная из лука, мимо меня промчалась лошадь Свиридова, ударилась в сторону и понесла вдоль по полю. Мой Ветеран тоже было ринулся за ней, но я на первых же скачках упруго и сильно взял на себя повод и, весь подавшись корпусом назад, сильно осадил его. Унесшийся вестовой мелькнул мне в глаза еще на одно мгновение темной точкой и исчез в белесоватой мгле равнины. Ветеран, нервно переступая ногами, беспокоился, вздрагивал всем телом, храпел и пугливо поводил настороженными ушами.

– Го-о ля!., го-о ля! – ласково подавал я ему голос, оглаживая и стараясь успокоить. Зная, насколько портится лошадь, если оставлять ее под впечатлением страха, не разъяснив себе причину его и не заставив умное и смыш-

ленное животное во что бы то ни стало вернуться к испугавшему его предмету, дать разглядеть его, пройти мимо раз или два и, таким образом успокаивая, убедить его, что страх был напрасен, – я повернул назад моего Ветерана.

Ему крепко не хотелось этого, однако ж я без шпор заставил его покориться своей руке, своему шенкелю и ласковому голосу.

В нескольких шагах от дороги лежал обглоданный труп крестьянской лошади. Вероятно, бедняга пала во время сильной распутицы и невылазной грязи, измученная вконец непосильной тяжестью громоздкого воза и изнуренная голодом.

Я заметил, что от падали убежали, поджав хвосты и понуря голову, две собаки. Они трусили по целине неспешной, вихлявой волчьей побужкой, приседая слегка на задние ноги и ковыляя по вспаханному, глыбистому полю. Ветеран храпел, дрожал и не хотел пройти мимо падали. Я должен был слезть с него, взять под уздцы, и только таким образом, проведя его дважды около трупа, мне удалось достигнуть своей цели. Лошадь, по-видимому,

убедилась, что страх ее был ложен, однако же, когда я снова сел в седло, она все еще по временам чутко подымала голову в ту сторону, куда побежали собаки, насторожила глаз, поводила строгими ушами и пытливо нюхала воздух.

Вдали на одно лишь мгновение как будто мелькнули две искорки каким-то зеленова-то-фосфорическим светом: мелькнули и исчезли.

Волки это, что ли? Или мне только так показалось?

– Ого-го-го-о-о-о! – донесся до меня сквозь свистящий ветер бог весть из какой-то дали оклик человеческого голоса.

«Верно, Свиридов», – подумалось мне, и я на всякий случай подал ему ответный крик.

Минуты три спустя оклик повторился уже значительно ближе, и через несколько времени я заметил темный приближающийся предмет.

– Свиридов... ты?

– Я, ваше благородие!

И он верхом показался на краю дороги.

– Ишь ты, сволочь проклятая, занесла! –

бормотал он, впрочем, без всякой досады. – Чуть из седла не вышибла!.. Эко дело какое!

– Куда это ты, брат, летал на ней?

– Да понесла, ваше благородие... спужалась... С версту, почитай, в сторону прорвало ее, лешего... не дай Бог!.. Чуть не застрял было в мерзлом болоте – там только и очуствовалась... Ишь ты, грех какой!

– А ты зачем поводья распускаешь? Оттого и занесла!

– Виноват, ваше благородие!.. Оно точно что... да уж руки больно зашлися, просто смерть как сомлели с морозу... Это аны, ваше благородие, волков так спужались, – добавил он через минуту.

– Нет, брат, вернее, что дохлой лошади.

– Никак нет-с, ваше благородие, – волков. Уж это будьте благонадежны!

– Какие там волки! Просто, голодные жидовские собаки.

– Никак нет-с, потому я сам изволил видеть... Он так на меня зиркнул этта... словно как свечкой!.. Ей-богу-с!.. Их пара тут была.

– Пара-то пара; это и я заметил.

– Так точно-с. И што ж, мудреного тут нету,

потому им теперича этто самая их голодная пора подходит. Со мной этто однажды был случай эдакой, – примолвил он, понизив несколько голос, после короткого молчания.

– Какой такой случай?

– А так-с. Мы еще тодысь в Тверской губернии стояли. Послали меня в штаб, в город, значит, в Бежецкой; а эскадрон уже на зимовых квартерах стоял. Вот, этто, возвращаюсь я из штаба, а дело-то уж под вечер было; совсем, почитай, смерклося. Аны на меня и напади. Семь штук – за волчихой, значит, ходили... Ну, и голодная пора тоже; надо так полагать, что время уж под Святки подходило. Дорога-то мне лежала через лесок, и лесок-то эдак совсем махонькой – одно слово, совсем пустяшный, нестоющий лесок, и тут-то аны откелева ни возьмись и напади! Лошадь, известно, шарахнулась и понесла, а аны за ею! Да так ведь, шельмы, и бегуть не отставая! Как увязались, так и бегуть. Вижу я: конь устает – трудно этта, чижало ему. Што тут делать! Совсем беда приходит! Потому лошадь, известно, вещь казенная и за ее в ответе надо быть; ну, опять же и жалко лошадей

ку; не дай Бог потиранят – кто тогда виноват? – один я, значит. Подумал это я себе, перекрестился да и выхватил саблю. Гляжу, а один так-таки прямо под горло коню и кидается. Я изловчился да и полоснул его. Взвыл, подлец, и отстал. Гляжу, другой с левого боку наровит зубами за ногу меня цапнуть – я его пырнул. Он и покатился. Так что ж бы вы думали, ваше благородие, какой это зверь бесчувственный! Одно слово, волк, так уж волк и есть! Как только он покатился, другие это все на него накинулись и давай его рвать зубами. Даже и про меня позабыли. А я тем часом шпоры – и убёг! Тем только и спасся. Ходил на другой день утречком, думал себе это, коли ежели шкура осталась, так подобрать да продать ее; одначез ничего не нашел, окромя маленькой эдакой следок крови ево остался, а самого не нашел. Должно, кто ни на есть ехал да и подобрал себе мою работу. Так только, значит, задаром и прогулялся! А вот, ваше благородие, уже и Прокоповичи! – добавил он, указав рукой по направлению к темной массе, которою неясно обрисовалась впереди нас деревня.

Огонек мелькнул в каком-то оконце.

Слава тебе, Господи! Первый переход кончен, и минут через Десять меня ждет уже постель, и отдых, и стакан горячего чая!

3. На ночлеге

У околицы, где торчали два-три покосившихся и подгнивших креста, встретил меня квартирьер и отрапортовал, как должно по форме, что квартиры заняты были квартирьерами исправно и эскадрон уже размещен.

– А где моя квартира? – спросил я.

– А тутотка-с, неподалечку. Позвольте, я покажу вашему благородию.

И квартирьер пошел несколько впереди моей лошади.

– Только вам... не знаю уж, понравится ли... – с запинкой проговорил он сомневающимся тоном.

– А что так?

– Да больно плохая кварта-с.

– Так вы чего же глядели-то? Разве нельзя было занять которую получше?

– Никак невозможно-с. Потому эта что ни есть самая прикрасная: хата, по крайности,

попросторнее и печь при ей имеется, а продукция все не в пример сквернее-с, потому – как есть курные хаты: и холодно, да и грязно-с.

Значит, из худшего менее худое. Ну да нашему брату привередничать в этих случаях не приходится: что есть, тем и пользуйся; и притом не в первой уже!

Я соскочил с коня перед низенькой дверью хаты, к которой привел меня квартирьер. Он прошел в темные сени, указывая мне дорогу, и раскрыл дверь, из которой повалил чадный пар клубами.

– Бог помочь, хозяйева! – проговорил я, войдя в хату.

– И на веки веков. Амен! – ответил мне из угла сиплый, как будто сдавленный в хилой груди мужской голос.

В хате было жарко натоплено, так что под потолком ходил, как в бане, густой и прелый пар, скопившийся от действия теплоты на отсыревшие стены. Припахивало тем угарцем, который остается от рано закрытой печи после выпечки хлебов.

Я осмотрелся в этом паре, но нигде не нашел и признака моей походной кровати.

– А где же вещи мои? – с удивлением обратился я к квартирному.

– Не могу знать.

– Да разве Бочаров с фурманкой не приезжал сюда?

– Никто не приезжал. Мы целый день здесь, а никого не видали; да кабы приехал, так ему, кроме как сюда, и деваться некуда.

– Милый сюрприз – нечего сказать!.. Только его и недоставало!

Я осмотрелся, выгадывая себе, как бы получше устроиться в данном положении. У двух стен находились плотно приколоченные и вбитые в земляной пол узенькие лавки. Улечься ни на одной из них не было почти никакой возможности: и узко, и мокро – потому что со стен течет. Я приказал принести себе куль соломы и бросить его на пол в наиболее чистом переднем углу. Но, черт возьми, как есть хочется!..

– Хозяин! Нет ли у вас чего-нибудь закусить?

– А ничего нема, паночку!

– Нет ли похлебки какой, что ли, какого-нибудь кулешику, или гороху? Разогреть

бы, коли холодный?

– Та не, кажу, паночку! Якой-с там кулешик, када и у доме крупы нема!

– Ну, может, яйца есть или сало?

Хозяин усмехнулся с какой-то едкой горечью.

– Э! – безнадежно махнул он рукой. – Ани сала, а-ни яец – вичого! Адна беднота та цеснота, што и-и Боже мой!..

– Да сами вы едите что-нибудь?

– А так. Ядмо, алеясь и яда таковська! У воду покидаемо скариночки хлеба та цибульку, та ось и уся яда!.. А сало, – прибавил он, помолчав немного, – як кабаны поколим, то и сала тоды сдабудзем!

Плохое утешение! Впрочем, Свиридов побежал по деревне да в жидовскую корчму – промыслить для меня чего-нибудь съедомого. Я скинул с себя амуницию и закурил папиросу, которая, как известно, перебивает голод, – «а тем часом, думаю себе, авось-либо и Бочаров с фурманкой подъедет». Начинаю приглядываться к обстановке моего ночлежного обиталища. Длинная лучина воткнута в стену и неровным светом озаряет хату. Около

лучины сидит с прялкой старуха и молча, сосредоточенно, с каким-то пришибленным выражением в лице, прядет кудельную пряжу. Монотонно-мерный звук прялки и веретена носит в себе что-то грустное и усыпляющее. Хозяин сидит понуро, и по лицу его не разберешь: думает ли он о чем или уж до такой степени пришиблен каким-то внутренним гнетом, что и думать перестал давным-давно о чем бы то ни было. На печи храпит хозяйский сын, умаявшийся за целый день на работе. Двое босых белоголовых ребятишек сидят около прядущей "бабульки*" и с выражением тупого, полуиспуганного недоумения поглядывают то на меня, то на бабульку. Третий ребятишек – сопливый, замурзанный двухлеток, поджав под себя ноги, сидит на припечку в теплой золе и сосет корку хлеба. И все это – хоть бы слово проронило! Упорное, тупое, сосредоточенное молчание прерывается по временам только тихим квохтаньем кур да хрюком поросят, ютящихся под печкой. Но зато тишину хаты наполняют непрерывный звук прялки, цвирикание запечного сверчка да чье-то трудное, тяжелое дыхание за перего-

родкой.

Вдруг из-за той же перегородки раздался крик и плач младенца.

– Марьянка! Ходзь поколышь яиу! – тихо сказала бабулька.

Белоголовая девочка, шмыгнув носом, сползла с лавки и ушла за перегородку. Оттуда послышался тихий скрип качаемой зыбки как бы в дополнение к стуку бабулькиной прялки. Но плач и стон младенца не унимался. В этом слабом стоне слышалось что-то хилое, болезненное.

Прошло более получаса, а ребенок все пищит, и белоголовая Марьянка, не переставая, колышет зыбку.

Растворилась дверь, напустив из сеней клубы холодного воздуха, – и в горнице показался вахмистр, при сабле, но с какой-то дымящейся кружкой в руках. Поставив на стол эту кружку, он формальным образом отрапортовал, что в эскадроне все обстоит благополучно.

– А фурманки-то все нет, ваше благородие, – сказал он, переждав минуту после рапорта.

Я пожал плечами.

– Не прикажете ли, ваше благородие, чайку? – продолжал Андрей Васильич. – Я кружечку захватил для вас, ежели не побрезгуете.

– А, спасибо, голубчик! – с удовольствием согласился я. – Где ж это ты его добыл?

– А с собой было малость захватимши. Мы этта вскипятили кипиток да в ём-то чай и заварили-с. Кушайте на здоровье, ваше благородие, пожалуйте-с!

С голодухи я просто с наслаждением глотал горячий вахмистерский чай и в душе был искренно благодарен старому Склярову за его внимание. И в самом деле, у наших солдатиков это замечательная характерная черта: в какую бы то ни было критическую минуту – вот хоть бы подобную настоящей, – они никогда не забудут своего офицера и поделятся с ним последним куском; всегда сами, первые, радушно и бескорыстно предложат что бог послал; и откажись офицер – солдат в душе, наверное, обидится и мысленно обзовет его «гордым».

Пришел Свиридов и принес кусок черство-

го козьего сыра да солдатского хлеба.

– Больше ничего нету, ваше благородие! – доложил он. – Всю деревню избегал – нигде ничего! Бедность этта у них, что ли, уж такая: ни молока, ни сала – как есть ничего! У жидов шабаш взошел – тоже, значит, не отпускают. И то уже насилу выдрал сыру вот!.. Булочка есть у меня, ваше благородие! – добавил он, вынимая из кармана шинели круглый белый хлеб. – Не прикажете ли-с?

– Нет, брат, спасибо! С меня пока и этого будет довольно! – отказался я, не желая лишить солдата лакомого куска.

– А ты где ж ее добыл? – спросил его вахмистр.

– А давеча-с при переправе купил у торговки... думал этта на закуску себе.

– Ишь ты! Запасливый! – ласково кивнул на него Андрей Васильич. – А что это у вас тут такое пищит-то все? – обратился он к бабульке.

– Дзецко, – коротко ответила старуха.

– Дзяучинка маленька, – добавил в пояснение хозяин.

– Ну, этто их благородию беспокойно бу-

дет, – заботливо заметил вахмистр. – Вы б ее уняли как...

– А як яну уймагы! – пожал старик плечами. – И то вже хлопчики наши – ось, – калыхаюць-калыхаюць сабе калябку, та ни чого не зробяць!

– Э!.. С чего ж этто она так-то?

– А хвора, дабрадзеюку!.. И матка хвора, и дзяучинка хвора... Так бедуймо, што и-и!.. ховай Боже!

– А матка-то где ж?

– А ось-там коло калыбки ляжиць у безпамяцю...

– Дочка тебе, что ли?

– Не, сынова женка.

– Чем же она хворает-то?

– А хто е знае!.. Так сабе, хвороба якость-то вже дзевьяты дзень пай шоу...

– И все без памяти?!

– А так: у безпамяцю... ни сама а-ни кавалка хлеба не зъест, а-ни дзецка не гадуе.

– Э!.. Так дитё, должно, этта с голоду-то у вас и пищит... Грудное еще, что ли?

– Але, – подтвердил хозяин.

– Так вы бы ево хоша молочком отпаива-

ли, – сердобольно посоветовал Склярков.

– А дзе ж яво узяць! – горько усмехнулся старик. – Як бы кароука, дак бы и малако было, а то гэть-ничого нема на усем гаспадарстве!

– Однако, чем же вы дитё-го кормите? Соской, что ли?

– А так!.. Ось, бабулька моя пажуець хлеба та й паробиць соску – так се й гадуе!

Вахмистр сочувственно и скорбно покачал головой.

– Где больная-то? – спросил я, окончив свою скудную закуску.

– А ось тутей, паночку, – указал хозяин.

– Можно видеть ее? – осведомился я, предполагая указать ему на какое-либо сподручное средство помощи.

– А вжеж! – кивнул он головой.

Мы взошли за низенькую перегородку, не доходившую до потолка на аршин. Старик светил нам лучиной. На паре досок, сколоченных вроде нар, лежала на каких-то грязных лохмотьях молодая женщина. Открытые глаза ее были живы, но глядели тупо, неподвижно, бессмысленно. Дыхание с трудом вырыва-

лось из груди. Достаточно было одного взгляда, одного прикосновения к пылающему лбу, чтобы определить безошибочно сущность болезни: это был несомненный и глубокий тиф. Я объяснил хозяину, что хвороба его невестки прежде всего требует чистого и прохладного воздуха и по возможности более света; что накаливать до угару печь и держать больную в этих потемках за перегородкой для нее в высшей степени вредно. Объяснил я ему также, каким образом делать и прикладывать ей к голове холодные компрессы.

– Дзякуймо, паночку! – с явным недоверием поблагодарил старик. – Але ж циперачки гля ей, дбаймо так, што вже ни чого не треба, бо яна усе едзино памрѣць!.. От, дочка моя, так само ж, – продолжал хозяин, – усе у безпямяцю була, та й вмерла... позавчора вже й поховали на цментаржу... А ни чого не паробить!..

И он махнул рукой с тем покорным равнодушием, которое является плодом горя сильного, безысходного и притупляющего душу.

– Андрей Васильич! – тихонько отнесся к вахмистру Свиридов. – Надо бы покормить

чем ни есть рабенка-то!

– Надо, – согласился Скляр, – да чем по-кормить?

– А вот-с, ежели теперича милость ваша будет, што сваво чайку одолжите-с, так я бы сейчас сбегал... Да вот их благородие уже и кружечку опростали... Можно-с?

– Ну, ладно, беги... да гляди, в накладку налей, чтобы послаще было! – сказал ему вахмистр вдогонку.

Свиридов через пять минут принес полную кружку, осторожно и неуклюже держа ее обеими руками, *с опаской", чтобы не пролить.

– Надо бы с ложечки, – заметил Андрей Васильич.

– Никак нет-с, мы ей смастерим соску.

– Да с чего же соску-то?

– Ас булочки... Я свою булочку стравлю... Наквасим этта мякишу – и даже очинно при-красно будет!

– Ну, дело, малый!.. Это хорошо! – похвалил Скляр, и два усатые добряка принялись ма-стерить месиво больному ребенку.

– На, баушка! Сунь-ка маладенцу в ротик –

пущай пососет! С эстого он, даст Бог, здоровей станет! – сказал Свиридов, по окончании стряпни подавая старухе сверченную из чистой тряпицы соску. – А этто вот тебе пущай напосле будет: тут вот еще полбулочки да полкружки чайку осталось, так оно, значит, и на завтра вам хватит. Бери себе с Богом! Христос с тобою!

– А сам жа-ж ты, саколику?.. – сердобольно отозвалась старуха, стесняясь несколько принять от солдата остаток его булки.

– Да уж об нас-то, божья старушка, ты не печалуйся! Мы и камешек погрызем, так и то сыти будем – дело солдатское!.. А ты ничего! Ты бери, не сумлевайся!

– Дзякуймо вам, дабрадзеи! – поклонились солдатам хозяева.

– Не на чем, баушка, не на чем! Хорошо, хоть и это-то нашлося!

Ребенку вложили соску – и в ту же минуту он замолчал и успокоился. И опять тишина хаты наполнилась звуками прялки, скрипом зыбки да цвириканьем сверчка за печью.

Я отослал от себя на покой и вахмистра, и вестового, а сам расположился кое-как на ку-

ле соломы.

Я чувствовал изрядную усталость. Бессонная ночь накануне, моцион длинного перехода, целый день, проведенный на воздухе, – все это в совокупности позывало на отдых. Сомкнув отяжелелые веки, я думал, что тотчас же засну под монотонный звук бабулькиной прялки. Но сверх ожиданий сон мне не давался. Я погрузился в какое-то забытье, урывками возвращаясь к действительности, чтобы вслед за тем опять забыться на некоторое время. Чувствовал только, что голова тяжела, что в ушах стоит звон и шум какой-то: может, от прялки, а может, и кровь играет. В уме всплывают и тонут какие-то образы, какие-то смешанные грезы: то блески на дебардере Эльсинорской и лихая мазурка Хлопицкого, то «гоноровы и поржондныччеловек», который, раскланиваясь, говорит: «Благодару вам, господын капитан!» – то эскадронный Шарик, сидящий в поле над бледным Катиным... булочка голодного Свиридова... тупой взгляд широко раскрытых глаз тифозной женщины... сверчок и прялка... опять больной писк ребенка... Апроня с бокалом вина

подымается... опущенные усы майора шевелятся над пламенем жженки... опять Эльсинорская и еще кто-то и где-то, но кто и где – не разберешь... «Гой-вы улане малеваны чапки»!.. Мадам Хайка кланяется и кричит: «И прищайте, и прищайте!..» Наконец, все это путается с обрывками каких-то мыслей, ходит большим колесом перед сомкнутыми глазами, окутывается белым туманом снежной ночи и тонет, тонет в нем бесследно и неведомо где – и вот тяжелый, глубокий сон окончательно оковывает и мысль, и усталое тело.

Много ли и долго ли спал я – не знаю. Проснулся – потемки... хоть глаза выколи! – тусклая ночь мутно глядит в маленькое оконце. Спросонья в первую минуту решительно не разберешь, что это такое, и никак не понимаешь, где ты и что с тобой. Это часто бывает с людьми, когда приходится спать в новом незнакомом месте. Чувствую только, что до ломоты отлежал весь правый бок, что рука затекла до колючих мурашек, а в голове такая тяжесть, такая боль в висках и звон в ушах, и пить ужасно как хочется... Воздух в хате сперся и напирал до того, что нет уже возможности

вынести этой атмосферы.

«Должно быть, я угорел», – подумалось мне, и вот, припоминая себе расположение хаты и свое место, я ощупью пробрался к двери, вышел в сени, нащупал там новую дверь и, выйдя на двор, уселся на «призьбе», жадно впивая в грудь ночной, освежающий воздух.

Ветер утих, сухая метель улеглась, и небо прояснело. Яркие звезды сверкали острыми, морозными лучами в темно-синей глубине. По всей деревне сон и тишина невозмутимая.

Вот слышу – приближаются издали чьи-то поспешные хрусткие шаги... лязгнула сабля, поддетая на крючок... Вот две темные фигуры тихо проходят мимо.

– Ночные? – окликнул я.

– Ночные, ваше благородие! – откликнулись солдаты, узнав меня до голоса.

– А как, ребята, полагаете: много ли времени теперь?

– Да надо быть, полночь, ваше благородие... недавно петухи пели.

– Не приезжал Бочаров с фурманкой?

– Никак нет-с!.. Не чуть было...

Это обстоятельство начинало меня уже

несколько беспокоить: куда бы мог он запропасться? и не случилось ли с ним чего?.. Но чему случиться – кажись бы, солдат смысленный и трезвый, расторопный.

«Дай хоть пройдуся да для порядку загляну по конюшням, – подумал я себе: – авось-либо, походя, голове легче станет».

Тут я вспомнил, что в кармане пальто у меня были ветряные спички. Паля их одну за другой, я осветил себе кое-как сени, отыскал дверь и нашел в хате свою шапку. Воздух там показался мне, после освежения, таким, что только бы бежать поскорее! Пока я, сжигая спички, отыскивал шапку, больная тихо бредила что-то за перегородкой. Этот больной, надтреснутый и вместе с тем какой-то дикий голос просто всю душу вымучивал.

Я пошел в сопровождении одного из ночных по деревне, заглянул в одну, в другую, в третью конюшню, или, вернее сказать, в хлевы, где рядом с крестьянской скотиной, по необходимости, теснятся и наши кони: ничего; все и везде, как выражаются солдаты, «обстоит благополучно». Люди в полушубках спят себе покойно тут же, в уголках, подо-

стлав под себя ворох сена либо куль соломы да покрывшись с головой шинелями. На походе редко который из них остается в дымной и тесной курной хате: большая часть, несмотря на зимний холод, ночует около своих коней во избежание какого-либо несчастья, вроде пожара или конокрадства.

Но вот – чу! – слышно гроыхание громоздких колес по мерзлой дороге... все ближе и ближе. "Уж не мой ли Бочаров*", – думаю и пошел навстречу. Так и есть: моя бричка!

– Где это вас нелегкая до сих пор носила?

– Виновати, ваше благородие! Тут такое случилось, что и не приведи Бог!

– Что еще?

– Да как же-с! Изволили вы этта приказать, чтобы ехать нам наперед; а он, подлец, возьми да и свороти в сторону...

– Кто он?

– Да фурман-с. Говорит, тут, мол, ближе и скорее доедем. Я с дуру-то и послушайся – думал, что путное говорит, а он этта, проехавши верст пяток, остановился маленько у корчмы у одной – покормить, говорит, коней малость надо; не более как с полчаса, говорит,

забавимся. Я этта остался при вещах, а он, сволочь, в корчму пошел. Гляжу – ан выходит оттелева распьяно-пьянешенек... Вот сами изволите посмотреть: и до сей поры лыка не вяжет, почитай что в бесчувствии лежит в бричке-с. Я как уложил его, так сам и поехал, но только дорога мне по эфтим местам совсем, значит, новая и незнакомая... Кабы просто нашим обнаковенным трахтом на Индуру бы ехать, так ту-то дорогу я знаю доподлинно, а по эфтой никогда не доводилось... а тут стемнело да вьюга этта – я и сбился с пути. Так вот и плутал не весть где, пока добрые люди – спасибо – не вывели на настоящую дорогу! Ну, да уж и накостылял же я ему за это! Надо, ваше благородие, беспременно взыскать! потому это непорядок!

Подозрения на Бочарова я не имел: он известен всему эскадрону как солдат честный, правдивый и совсем не пьющий, да и видно было, что он трезв совершенно; а фурман действительно лыка не вязал – и преспокойно храпел себе в бричке, уткнувши нос в небо.

Я приказал поскорее раскинуть себе походную постель, только не в хате, а в сенях, что и

было исполнено при свете фонаря, и улегся на холодную подушку, покрывшись меховой шубой. Этак, по крайней мере, было и лучше, и здоровее, и удобнее.

Под утро – чую сквозь сон – кто-то ходит и возится рядом со мной, и вот над ухом слышится уже сдержанный, осторожный голос Бочарова:

– Ваше благородие... а, ваше благородие...

Продирать глаза – смерть, не хочется! И притворяешься, будто не слышишь.

– Ваше благородие!.. а, ваше благородие! – слышится снова и минутку спустя. – Извольте встать – пора уже!..

– Ах ты варвар! И выспаться не дашь! – бормочешь ему, зевая и потягиваясь.

– Ваше благородие!.. Самовар готов-с!

Высовываешь нос из-под шубы – и в сероватом свете занявшегося утра видишь, как на пороге кипит уже походный самовар и чайник на нем белеет, а на скамье стоит раскрытый погребец, и стакан уже приготовлен, и фаршированный поросенок со всею свойственною ему угнетенною невинностью выставляет из сахарной бумаги свое жареное

рыло, а Бочаров стоит уже над душою с полотенцем и ковшиком воды.

– Мыться извольте, ваше благородие, – сон как рукой снимет.

И точно: плеснул несколько раз на лицо студеной водой – и откуда свежесть да бодрость взялася! Не успел еще утереться, а проворный вестовой доливает уже чайник и вслед за тем преподносит стакан ароматного чая, который на холодку пьется почему-то с великим аппетитом.

А вот и Андрей Васильич в дверях появляется:

– Ваше благородие, эскадрон в сборе, и кванция получена.

Давши хозяевам, в благодарность за ночлег, на лекарство, или, вернее, на похороны для больной, я оставил мою темную, грустную, неприглядную хату и вышел ко фронту.

Через пять минут начался уже второй переход... Те же кони, тот же Шарик, те же поля с крестами и перелесками и те же «не белые снега» – в поле и в устах разливистых подгосков.

4. Приход в Свислочь

День был серый и, так сказать, беспросветный, когда эскадрон наш после второго ночлега делал свой третий и последний переход. В поле мела завируха и стоял такой крутень, что хлопья мокрого снега, вертясь и кружась перед глазами, словно бы несметные рои каких-то одухотворенных существ, застилали непроницаемой завесой всю окрестность. Этот снег залеплял глаза и чуть лишь находил удобное местечко, вроде складки платья, там и залегал целой грудкой. Набивался он и в гривы лошадям, и в баки людям и на донца шапок наседавал, как будто слой пушистой ваты. Пренеприятная погода! – особенно эта снежная мокреть, тающая потеками по лицу и заставляющая ежиться из опасения, как бы она не протекла за шею, доводила просто до глупой досады. По лицам было видно, что в голове у людей засела гвоздем одна лишь мысль, как бы поскорей уж добраться до стоянки! Завируха эта началась с раннего утра и преследовала нас в течение целого перехода. День был воскресный, но по

такой погоде не попало нам навстречу ни одних саней с круглолицей, курносой бабой в пестром платке на задку «полукошика» и с мужиком на передку, которые в воскресенье обыкновенно попадают на дорогах, возвращаясь из местечек, куда они приезжают «до косциолу або до церкви». Жизнь полей заявляла себя одним лишь свистом снежного крутя; но ни одного птаха, ни одного галчонка, ни единой даже старой карги-вороны не виделось по краям дороги: все это позапряталось, куда Бог привел, и, нахохлясь да уткнувши нос под крыло, пережидало, когда-то наконец утихомирится эта скучная непогодь.

Не доходя восемнадцати верст до Свислочи, от эскадрона постепенно стали отделяться его взводы. Вот и перекресток дорог, обозначавшийся давно знакомым крестом с резным изображением «пана Иезуса», на котором трепался под ветром цветной лоскут пелены, подвешенный в виде юбки чьею-то благочестивой рукой; на крышечке, осеняющей фигуру Христа, и на поперечных брусках тяжело нахлобучило целые шапки пушистого снега. У этого перекрестка отделился первый взвод

и свернул по дороге к своим квартирам, назначенным ему в одной из деревень на первых два зимних месяца. Пройдя несколько верст, отделился третий и четвертый, потом второй, так что со мной остался только эскадронный штаб, учебная эскадронная команда да еще команда молодых, дурноезжих и художонных лошадей, которые требовали особенной выправки и ухода в течение зимних месяцев под непосредственным надзором эскадронного командира.

– Ваше благородие! – подъехал ко мне вахмистр. – Позвольте людям песни поиграть! Очинно желают!

– Песни! Да где же песенники-то? Ведь все почти разбрелись со взводами?

– Это ничего-с, кое-кто наберется, да, впрочем, теперича кто и не песельник, так и тот будет орать – больно зябко уж!

– Пускай их, коли охота!

– Вали, ребята! – одобрительно махнул им Склярлов, как видно, довольный полученным разрешением.

Ребята подбодрились, отрякнулись и «повалили», хотя без бубнов, которые отсырели

от мокрети и, значит, не могли уже действовать; зато яркая махалка с мокрыми лентами ходила с большей против обыкновенного энергией, и медные тарелки отбивали такт, словно бы звоном своим желали пересилить свист завирухи.

*Аи, да раскудрявь, кудрявь, кудрявь-да
Ррраскудрявая моя! –*

отчеканивали громкие и бойкие голоса развеселую песню про вешнюю зеленую березыньку.

Нечего сказать, и песня как раз по сезону!..

А крутень завивается, да лепит хлопьями в глаза, и знать себе ничего не хочет!

Но вот порой на минутку словно бы и притихнет ветерок, и хотя снежина все-таки валит себе хлопьями, но сквозь этот снежный вуаль можно как будто и распознать длинную-предлинную полосу, которая слева чернеет впереди на дальнем горизонте: это выступают окраины громадной пущи, в глубинах которой бродят, как последние могикане вымирающей породы, могучие зубры Белове-

жи.

Вот и деревня Рожки с заброшенной панской усадьбой, отданной на аренду еврею со всем ее садом, бельведером, беседками и прочими затеями панского досужества, дуплистые корявые ветлы какими-то уродливыми бородавками красиво торчат по берегу болотистого и запруженного ручья. Этот ручей, изобилующий карасями и жабами, сплошь зарос камышом и гибкими кустами тонкого лозняка, который красноватыми прутьями своими резко выделяется на снежном фоне всей картины вместе с черными, помпоновидным и шишками камыша, почему-то напоминающими мне своим видом артиллерийские банники. Из-за садовой ограды глядят высокие, древние деревья с черными гнездами, грустно и задумчиво перевесившись на дорогу своими ветвями, которые никнут чуть не до земли, отягченные насевшими на них комьями снега.

Команда наша вступает на низенький, дырявый мостишко.

– Под ноги! – кричит по обычаю вахмистр, остерегая людей, чтобы те внимательней сле-

дили, как бы часом которая лошадь не застряла копытом да не покалечилась бы в мостовой продолбине.

Своротили влево, а там в трех верстах уж и Свислочь видна со своим каменным обелиском, костельною башней и каменными воротами, поставленными при въезде, вроде какой-то триумфальной арки. Вот знакомая сосновая рощица, где водятся белки; вот озерко небольшое, где мы бивали уток; вот кладбищенская роща, среди которой белеются стены каплицы, а вот наконец и она, неизменная жидовская корчма, которая, убоясь изобильной конкуренции в самом местечке, хитровато выскочила за околицу и, подмигивая своими подслеповатыми, окривелыми оконцами, как бы говорит каждому мимо идущему: «Зжвините!.. хоць на еден ки лишек!»

*Вдоль по улице метелка метет, –
За тетелвцей уланина идет! –*

свищет и щелкает, и гаркает, и ухаает моя команда, – и с этой песней, вся запушенная и занесенная снегом, вся белоусая, белобровая,

белобородая, вступает в улицу местечка, цо которой в эту минуту действительно метет разлихая метелица.

Еврейское сердце не камень: заслышав знакомые звуки, все эти Лейбки и Мошки с Васьками и Рашками и со всем племенем и потомством высыпают в чем ни попало за пороги своих домишек и, потряхивая пейсами да скаля улыбками зубы, кланяются, кивают и ныряют вперед головами и бородами и с розовой мыслью о предстоящих гандлах и гешефтах встречают нас своими приветствиями:

– А! гхэто ви-и... Сштари зжнами! Пэрвши сшквadroон!.. Зждрастуйте вам! зждрастуйте вам!.. Мы такии радыи вам, сшто ви изнов попереходзили до нас!.. З зжимним квартэром!.. Дай вам Божже!..

На площади команда останавливается, и квартирьеры разводят ее по конюшням.

Самая «вальготная» стоянка для солдата – это, бесспорно, стоянка «во взводе», т. е. в той глухой деревушке, брошенной в какую-нибудь часто непроездную и невылазную трущобу, где назначено стоять его взводу. Иногда

взвод разбивается и на две смежные, ближай-
шие деревушки. Начальства над ним тут все-
го лишь один взводный вахмистр, и службой
его несравненно менее донимают. Иногда бы-
вает и так, что один эскадрон раскинется по
широким квартирам верст на двадцать рас-
стояния. Придет солдат на зимнюю стоянку и
станет, конечно, к знакомому хозяину, где
стоял он и прошлую, и позапрошлую зиму. В
этой курной хате он свой человек, особенно
если полюбился хозяйке или хозяйской доч-
ке – его так уже и считают своим человеком.
Накормят его чем Бог послал, но уж, конечно,
тем, что и сами едят, и не их вина, если едят
они испокон веку плохо, кроме картошки да
гороха ничего не смакуточи; разве что когда к
Рождеству да к Святой «кабаны поколят» – то
тогда и борщ со свининой, и кашу с салом на
стол подадут, а в обыкновенное время все
больше картофельного «затиркою» да куле-
шиком пробавляются. Литовско-русский кре-
стьянин просто поражает глаз непривычного
человека своим хилым, болезненно-бледным,
робко-забитым и как бы отоцальным видом.
Виною этому кроме нравственного гнета

недавних времен польской панщины служит, конечно, его скудная, малопитательная пища при изнуряющем мускульном труде над малоблагодарной почвой. Но этот забитый хлоп очень добродушен и радушно делится с солдатом своей картошкой. Женка или дочка его непременно моет белье и к празднику – гляди – сошьет ему сорочку, или по-здешнему «кошулю»; а постоялец чем может помогает по хозяйству: дров нарубит, лучин для светца надерет, воды наносит – и живет таким образом хлоп с солдатом весьма дружелюбно, уделяя ему и место за столом, и угол на печке, и часто "прощает*", т. е. дарит солдату его паек казенный.

Солдат сегодня к вечеру пришел на квартиру, а завтра утром первым делом устроил конюшню, на которой всегда стараются поставить хоть по паре лошадей, потому что, по замечанию кавалеристов, конь скучает и плохо ест, если один стоит. Затем раза два в неделю взводный вахмистр сделает езду своему взводу, раза два соберет «грамотную команду» и «в книжку почитать» заставит, а остальное время у солдата свободно, за исключением

утренней и вечерней уборки коня, задачи корма да водопоя: он себе и тачает сапоги, либо портняжит, либо столярит и через то кой-какую деньгу зарабатывает.

Но нет хуже для него стоянки, как у жидов на квартире, что неизбежно случается в местечках.

Еврейская семья может довольствоваться неизмеримо малой долей самой неприхотливой пищи: фунта два хлеба, селедка да несколько цибулек – вот и все дневное пропитание. Только к шабашу приготовят они себе пищу получше: щуку маринованную или фаршированную с перцем, кутель запекут; но это пища «ко-ширная», т. е. чистая, и солдату ее не дадут отведать. Вообще, солдату еврей не дозволит сесть за тот стол, за которым сам он сидит с чадами и домочадцами: солдат ест «трефное», и все, что ни исходит от него, есть «треф», поэтому прикосновение к коширному столу, к коширной ложке, тарелке, к коширной посудине неизбежно «потрефит» их, т. е. осквернит и сделает негодными к употреблению. Для солдата евреи заводят особый горшок, в котором особо варят ему пищу, из-

бегая по возможности даже в самой печи ближайшего соседства горшка трефного с горшками кошир-ными. Когда солдат ест, то свою посудину он должен поставить либо на лавку, либо на какое-нибудь особое приспособление, вроде скамейки, табурета, чурбана, но никак не на тот стол, за которым едят сами евреи; исключение допускается только в корчмах, где непременно имеются трефные столы, предназначенные для нечистых «гоев», к числу которых относятся все, кто не суть евреи. В местечках живут иногда и не совсем-то бедные евреи, которые держат свои лавки, занимаются каким-нибудь более или менее определенного свойства «гандлом» и потому имеют возможность питаться чем-нибудь лучшим, нежели селедки и цибульки; и действительно, они несравненно менее отказывают себе в более лакомом и питательном куске; но опять-таки этот кусок никак не для солдата. Хлоп по крайней мере делится с солдатом тем, что и сам ест, жид никогда не поделится, никогда не отошьет долю своей похлебки из своего коширного горшка в трефный горшок солдатский; для солдата он все-таки готовит

особую пищу, и эта последняя несравненно хуже и скуднее его собственной. Горячую воду в горшке замутит еврейка ложкой муки, покрошит одну цибульку, кинет несколько картофелин – и предлагает это яство солдату. Любишь не любишь, а ешь, потому что есть хочется! Солдат вообще терпелив и редко когда жалуется; но постой у евреев иногда возбуждает между солдатами сетования и жалобы вполне справедливые.

– Уж не то обидно, – говорят они, – что кормят тебя черт знает какою бурдой, а то обидно, что эту самую бурду нет того, чтобы тебе поставили по-людски! – На, вот, мол, солдат, поешь, чего Бог послал; не взыщи, что пусто! Нет ведь, подлые! Сунут ее тебе под нос, словно как псу какому лядащему! Сама сунет, а сама так этта зирнёт на тебя, словно бы говорит: «На, жри, собака! Да подавись ты, окаянный!» Бот что обидно, коли по человечеству судить-то!

Это самое обстоятельство часто служит мотивом ссор между постояльцем и евреем-хозяином. Раз, помню, был такой случай: довольно зажиточный еврей – лавочник и до-

мовладелец – долгое время кормил постояльца из рук вон плохо! Солдат терпел, терпел да и не выдержал: взял однажды свою посудину с бурдой да понес к эскадронному командиру: «Извольте, мол, посмотреть, ваше высокоблагородие, чем меня изо дня в день кормят!» Майор попробовал, и точно: мерзость была невообразимая! Призвал он к себе еврея-хозяина и внушил ему, что коли сам ешь вкусно, так и стыдно, и грешно обделывать постояльца, который ничем не виноват, что ему довелось стать сюда постоем. Но еврею хоть кол на голове теши! Где бы урезониться, а он, кажись, еще хуже стал продовольствовать солдата. Тот терпит день, терпит другой, а на третий озлился, и только что ему ткнули под нос горшок с холодной бурдой, он попробовал, видит, что плохо, встал и, не говоря дурного слова, вылил сполна этот горшок на покрытую париком голову «мадам Пейсаховой». Евреи всполошились. Всполошился весь род их и племя, вся родня и знакомые! «А! сшволочь, тебе тэраз будут до Сибиру сшправляць! Гхарасшо!» – и идут всем кагалом жаловаться к эскадронному командиру; но здесь они встре-

тили отпор, и отпор вполне справедливый, потому что взыскивать за самоуправство с солдата, который раньше этого употребил единственный оставшийся ему законный путь, с солдата, доведенного голодом до такого проявления своей досады, – едва ли было бы политично. Евреи хотели было подымать целое дело, но убоялись расходов на протори и убытки и потому остались при одних лишь угрозах.

Солдат не любит становиться постоем к еврею. И не столько оттого он этого не любит, что его там дурно кормят (дурно кормят и у хлопа, хоть и все же чуточку лучше), но не любит он «жидовского постоя» потому главнейшим образом, что у еврея он встречает какое-то гадливое и слишком презрительное отношение к своей человеческой личности. Еврей считает себя выше, чище, аристократичнее солдата, которым он думает всегда помыкать, если только солдат имеет такую недолю, что станет на еврейскую квартиру. В прежние годы в этих случаях употреблялся авторитет силы со стороны начальства: ныне он отнюдь не употребляется. В принципе оно

очень хорошо, но на практике солдату приходится от этого гораздо плоше, чем прежде. Помочь горю можно одним: полной отменой широких квартир на обывательских хлебах и заменой их если не казарменным, то хотя бы тесным расположением с пищей из котла, причем солдат постоянно имеет на свою долго говяжий суп, щи или горох с четвертью фунта мяса и, кроме того, кашу с маслом или салом. Теперь мы зачастую являемся свидетелями таких фактов, что солдат в течение пяти, а иногда и шести месяцев зимней стоянки на широких квартирах принужден питаться одной вареной картошкой. Подумайте, насколько вследствие этого у нас увеличивается общий процент слабосильных людей! Весну и лето, довольствуясь из котла, солдат ест хорошо; но в это время у него и работы по горло, в особенности же в кавалерии, где надо о лошади думать прежде, чем о себе. Остается зима: где бы солдату поправиться, понабраться силы, а он ест одну картошку, да картошку, да тюрю с цибулькой, да кулешек, да затирку, а мясо видит только на Великий праздник, да и то не у всякого хозяина!.. И это – почти общее

свойство зимних стоянок Северо-Западного края. Конечно, встречаются иногда почти целые волости, как, например, Шимковская в Волковысском уезде, которые представляют собой исключение, но... это все-таки исключение, весьма счастливое и потому весьма редкое. В течение зимней стоянки эскадрон в отведенном ему районе меняет через каждые шесть-восемь недель места своего расположения: взводы переходят из волости в волость на новые квартиры, и это делается для того, собственно, чтобы не слишком обременять обывателей одной какой-либо довольно ограниченной местности. Один только «эскадронный двор» или «штаб» остается неизменно в одном и том же месте во всю зимнюю стоянку, например в Свислочи, в Великих Брестовицах, в Скиделе, в Закревщизне; взводы же непременно меняют свои квартиры в прилежащих окрестностях. Но солдату, за весьма нечастыми исключениями, от этого отнюдь не лучше: везде и повсюду та же теснота, та же затирка и картошка, те же отвратительные гигиенические условия для жизни!.. И стало быть, выход из подобного положения

только один: если не казарменное, то тесное расположение с довольствием из артельного котла. Широкое расположение имеет еще много и других неудобств, весьма существенных для военного дела: для грамотности, для развития и образования солдата в чисто военном отношении, для постоянной практики в военных упражнениях и проч. И как теперь, так и всегда, результат, естественно, будет выходить один и тот же: необходимость тесного, сборного расположения эскадрона или роты.

Итак, мы в Свислочи, среди обширной, четырехугольной базарной площади этого местечка, сплошь обставленной старинными еврейскими домами и домишками с высокими, острогребенными кровлями.

– Где же мне квартира отведена?

– А вот, пожалуйста, ваше благородие! – говорит, руку под козырек, наш квартирьер. – Пожалуйста со мною! Сюда вот, на Брестскую улицу! Под ваше благородие нам отвели у Кудлаковских.

Брестская улица представляет собою довольно длинный, прямой и широкий про-

спект, в конце которого вырисовывается силуэт католической каплицы с легкою башенкой, а по бокам ее двое каменных триумфальных арок, и над ними по сторонам возвышаются купы древних тополей, вязов и грабов. Такая улица – хоть и в губернском городе, так ничего бы себе. Белые деревянные домики с крылечками и беленые хатки, иногда с палисадниками, тянутся по бокам этой улицы. В одном из таких домиков помещается отведенная мне квартира.

Пан Кудлаковский – старый ветеран польских войск; у него имеются: «стара пани» – его супруга и две "дцурки*" – довольно зрелые и некогда, быть может, недурненькие девы; у двух же дцурок есть «канарек у клятце» и «пантальоны», т. е. канарейка в клетке и древние, разбитые клавикорды, иногда с черными клавишами вместо белых и с белыми заместо черных, что не редко встречается в Свислочи; и все это есть у них непременно, потому что без «канарка у клятце», без олеандра на окне и без этих мафусаиловых «пантальои» невозможно даже и вообразить себе ни одного шляхетного дома в Свислочи.

Через темные сени вхожу в отведенную мне половину – бррр!.. – как это все здесь холодно, мрачно и неприглядно!.. Сам пан со своей семьей ютится в другой, удобообитаемой половине дома; мне же отвели половину, никогда никем необитаемую уже довольно долгое время и существующую почти исключительно для военных офицерских постоев либо же для склада на зиму кое-каких хозяйственных припасов. Мне за это, конечно, нет ни малейшей надобности – да нет и права быть в претензии на пана Кудлаков-ского; но темнота, холод и неприглядность все-таки остаются, и надо позаботиться о том, чтобы какими ни на есть судьбами изгнать их отсюда поскорее: в одном окне отбита часть стекла – заткнем его покуда хоть сеном. Двойные рамы не вставлены, и потому около оконных переплетов образовались ледяные бугры, запущенные снежным налетом и с виду напоминающие прекраснейший, рафинированный сахар; стены тоже покрыты серебрящимся снежным налетом. Видно, что комната эта ни разу еще с лета не топлена и потому выстудилась и нахолодалась до того, что самые

стены ее наружные насквозь промерзли. Послал к хозяевам за дровами.

– Не отпускают дров, ваше благородие... не желают!

– Поди и купи у них! Скажи, мы деньги сейчас же заплатим.

Пошел вестовой и через малое время вернулся.

– Пожалуйста деньги-с, ваше благородие... Неси, говорят, деньги, тогда отпустим... Злот за вязанку требуют.

Однако, не любезен же пан Кудлаковский: хотя, в сущности, и обязан бы по положению отопить мне комнату, но уж не говоря про то – ни за что ни про что и даже не зная меня вовсе, на одну вязанку дров не желает оказать кредита; видно, хочет выморозить постояльца-москаля вместе со своими тараканами. Выдал я два злотых и приказал на всякий случай притащить две вязанки. Мебели в квартире не оказалось никакой, за исключением чего-то вроде конторки или шифоньерки – вещь, которая решительно никуда и ни к чему не была мне пригодна в настоящем моем положении.

– Бочаров! Сходи к хозяевам и скажи, что я прошу прислать мне какой-нибудь стол и стул, что здесь даже сесть не на чем.

– Вежливо прикажете просить, ваше благородие? – отозвался вестовой.

– Внечепременнейше вежливо! Никак не иначе!

– Слушаю-с!

Повернулся и ушел, а через минуту возвращается:

– Изволил просить, ваше благородие!

– Ну, и что ж?

– Я даже очинно великотно-с... но только аны не изволят соглашаться – потому, говорят, ничего у них лишнего нету.

– Поди еще раз и скажи, что они обязаны по положению дать мне необходимую мебель.

– Слушаю-с!.. Но только... теперича...

Бочаров видимо запинался.

– В чем дело, братец?

– Да я... опять-таки насчет того, ваше благородие, как то есть на этот раз просить прикажете? Опять-таки вежливо-с?

– Да что это у тебя за вопрос, любезный!

Как же иначе, если не вежливо?

– Напрасно-с, ваше благородие... потому они по чести ничего этого не желают, а все норовят как бы это с гвалту, чтобы жалиться потом на нас! Уж я ведь знаю ихнего-то брата!

– Ну, вот потому-то и проси вежливо! Вдвое, втрое, вдесятеро вежливей!

– Слушаю-с!

После пятиминутных переговоров Бочаров возвратился и как-то странно ухмыляется.

– Пожалуйте деньги, ваше благородие.

– Зачем?.. Какие деньги?

– Потому как я изволил вам докладывать, что они либо с гвалту, либо за деньги, а по чести никак не желают.

– Что это, братец, за вздоры ты рассказываешь?

– Никак нет-с, ваше благородие! – солидно стал оправдываться Бочаров. – Я у них просил, а аны говорят, у нас нету. Я им: как же, мол, нету, коли комнаты у вас полным-полне-шеньки – и стулья и диваны? А это у нас, говорят, для своей, для хозяйской надобности; а что ежели вы, говорят, насчет закону, так мы, говорят, свой закон исполнили и этих са-

МЫХ МЕБЛОВ ВАМ ПОСТАВИЛИ.

– Где же эта мебель и куда они ее поставили?

– А вот этот самый чертов тычек, ваше благородие! – кивнул вестовой на стоявшую в углу шифоньерку. – А что ежели вам угодно брать, говорят, с гвалту, на разбой, так это мы со всем нашим удовольствием – хоть весь дом на клочки разнесите!..

Одначе я им на это докладываю, что силком их благородие не желают, а просят вас по чести. А по чести у нас, говорят, нету! А вы, говорят, либо с гвалту, либо за деньги в наймы – полтора рубля на месяц прокату.

Как ни странно было заявленное мне желание, чтобы мебель была взята мною насильно, но кто знает отношения местного мелкого шляхетства ко всяким представителям «силы наяздовой» в том крае, тот поймет и подкладку, затаенную сущность такого желания: возьми я насильно необходимую мне мебель – пан Кудлаковский ни к какому начальству, ни к какой власти не пошел бы на меня жаловаться; но он вместе с своею пани и паннами изо всех бы сил принатужился и

пошел трубить да благовестить на вся веши и дебри, ко всем, «родакам» и «знаемым», что вот, мол, каково наше положение! вот какое насилие! вот в каких условиях обречены мы влачить наше существование! и т. д. – в подобном же роде. Пан Кудлаковский имел бы случай, благодаря мне, очень долго изображать из себя жертву вечернюю, и увы! – этого-то счастливого случая я и лишил его!..

Принесли напрокат стол и два стула; затопили печку, но дым из нее повалил такой, что давай Бог только поскорее все двери настезь! Долго мы мучились с этою злосчастною печкой, пока-то наконец кое-как отогрелась она, но уж зато и накалили ж ее так, что хоть бы доброй бане впору. Закрыли вьюшки – угар, и, снова дверь настезь. Самовар уже кипел на столе, но с сегодняшним утром вышли все мои съедобные запасы, а есть хочется. Знаю я, что в Свислочи обретается некая пани Генальска, у которой в прошлые стоянки «столовались» наши офицеры. Посылаю к ней вестового с деньгами и с просьбой сварить мне сейчас же ухи или супу (ибо трое суток питался, что называется, всухомятку) да

заодно уж узнать, сколько возьмет она с меня в месяц за столованье.

– Не желает, ваше благородие! – докладывает, возвратись, мой посланный. – Совсем не желает!

Это начинало делаться досадным. Да и что такое, в самом деле, все и вся не желают да не отпускают, словно бы нарочно сговорились!

– Что же говорит она, – спрашиваю, – почему именно не желает?

– Да говорит, что... что ж мне, говорит, из-за тарелки супу ходить на базар, покупать говядину аль рыбу там, что ли, коли и базар уж давно кончился, и говядины, может, нету, да опять же дрова палить, печь затоплять, да варить, да и мало ли что... много хлопот, говорит, ваше благородие.

– Да ты сказывал ли ей, что ей деньги за это заплатят?

– Сказывал, ваше благородие, как не сказывать! И даже очинно явственно показал ей рублевую бумажку, что вы дать изволили, но только она все же не желает, хоть и деньги, потому, говорит, из-за пустяков хлопот больно много!

– Ну, а насчет столованья как?

– Да... насчет столованья-то... тоже почи-тай, что не согласна. Кабы, говорит, четверо аль пятеро их было, так она бы ништо, а для одного – хлопот много... Разве что, говорит, станут платить ровно что за пятерых, тогда пожалуй... Нет уж, ваше благородие, у этой Генальской – дух ея канальский... Я ведь уж ее знаю!.. Как есть лядащая баба, это так точно-с!

«Грустно, – говорю себе, как Горбуновский батюшка на панихиде, – очень грустно» – но ничего не поделаешь и сердиться нельзя, тем более что пани Генальска, со своей точки зрения, права совершенно, и для чего ей, в самом деле, хлопотать и беспокоиться ради совершенно постороннего человека, и притом москаля, когда эти хлопоты не принесут ей ровно никаких заметных, существенных выгод?

Надо, значит, самому о себе промыслить.

Вспомнил я, что, по рекомендации приказчика конной почты, в Свислочи есть «мадам Янкелева», которая «сшвой лявка держит з рижской вина и з увсшеким припасом». Не выручит ли хоть эта благодетельница рода

человеческого, думаю себе. Посылаю за Мадам Янкелевой. Через несколько минут в смежной горнице слышится чей-то женский запыхавшийся голос и топот обтираемых и отряхаемых от снега ног – и вот, вслед за этим, в комнату ко мне вдруг, как чиненая бомба, влетает что-то коренасто-приземистое, широкоплечее, короткошеиное, задрипанное, зашленданное и грязное-распрегрязное.

– Здравствуйтесь вам! – возглашает это нечто запыхавшимся голосом.

– И вам здравствуйтесь! – отвечаю я и начинаю приглядываться: передо мной стояла и во весь широкий, крупногубый рот улыбалась, скаля прекрасные белые зубы, некая молодая особа женского пола, толстомытая, толстомордая, с красными щеками, которые так и дрожали при каждом ее шаге, пылая несокрушимым здоровьем, – стоял этот крепыш-карапузик и, улыбаясь, глядел на меня маленькими, бегающими и смеющимися голубыми глазками.

Голова ничем не прикрыта, волосы, как стреха, встрепаны и в пуху, на плечах какая-то легонькая, порыжелая бархатная коф-

точка, в которой, очевидно, она так и прибежала сюда с улицы.

– Это вы-то и есть мадам Янкелева? – спрашиваю я, решительно не узнав ее в первую минуту.

– Я?.. Нет, извините!.. – громко засмеялась и затараторила она звонким, молодым, еврейско-гортанным голосом. – Нет, я же не мадам Янкелева, я – Лэйка Янкелювна, цурка мадам Янкелевой – мамзель Лэйка Янкелювна... Кохда ж ви не взнали мине? У мне ж еще есть брат Ицек и сестра Рашка, и Рашка вже замуж виходила, и тоже сшвой ляфка держит с халсцинкой и с сшитцом и с увсшеким матэрьюм, и вже сшвой дитю вмеет... И кохда ви будице што пакипать с матэрьюв, то ви в Рашки пакипайтей!.. Сшпизжалуста!

Тараторит – и здоровые щеки ее при этом трясутся, а сама все улыбается да белый и ровный ряд зубов своих скалит. Выражение довольно открытое, и лицо можно бы было назвать даже симпатичным, но – Боже, что за грязь, что за грязь, что за смоклая грязь! и что за запах! – на пять шагов так и разит «щилёдкем» и «щибулькем».

– Очень приятно познакомиться, возобновить то есть старое знакомство!

Мамзель Лэйка, стоявшая как тромбовка или тумба какая, вдруг делает кникс и видимо старается изобразить его не без кокетства.

– И мне так самож... Отчин давольна периятно!

– Ну, вот что, моя милая, мне ужасно есть хочется.

– Ой, и мне так самож! – смеется на это Лэйка. – Я вже пакушила, пакушила и вже знов кушить гхочитца!.. Как пакушию, так и знов кушить!.. так и знов!.. Сшлиово гхонорем!

– Что у вас есть в вашей лавке?

– Увсше есть.

– Ну, однако?

– Увсше, сшто ни сгхочите!

– А например?

– Щилётки есть.

– Ну, это по твоему запаху слышно, что она у вас есть. А кроме селедки?

– Сшир козлячий есть, сшир гхаляньсшки, сшардынки есть увсше есть... Ай нет! Зжвините! – вдруг спохватилась она. – Уже нима

ни сшир, ни сшардынки, бо вже увсше пакипили од пана Родовицкего, од пана с Гобяты, от пани Глиндзич – увсше, увсше вже пакипили и ниц нима; толки сшир козлячий есть!.. Ютро будзьмы до Бялысшток пасилац накипать товару, то на чвартек увсше будзиц у лявка! А до чвартек – ни!

– Ну, до четверга еще длинная песня! А не можете ли вы как-нибудь достать мне рыбы или говядины?

– Ри-ибы чи то гховьядины?.. Мьяса? А на цо то мьяса?

– Сварить суп: или уху...

– Шюп чи то уши?.. Можно й шюп, можно й уши, але ж на сшиводно вже не можна пакипить а ни мьяса, а ни рыбы...

– Ну, да что же у вас есть, наконец, кроме селедок да козлячьего сыру?

– Увсше есть! – самоуверенно шмыгнула носом мамзель Лэйка и почесала всюю пятерней с правого бока по юбке. – Увсше, сшто ни сгхочите!

– Это я уже слышал.

– А сшто ви сшлишал? – вдруг любопытно встрепенулась дщерь Янкеля.

– Что у вас все есть.

– А!., а я думала, сшто другово! – разочарованно мотнула она головой и стала перечислять припасы своей лавки. – Мигдал есть, розинки, павидло, цукаты, щиколяты, пераники розмайтых гатункев, увсше благхородны перипасы!.. Трухли есть!

– Как! Даже и трюфели!? – невольно изумился я.

– А так! Есть и трухли! – не без гордости похвалилась Лэйка.

– Да откуда ж оне у вас?

– На-асши... тугейши! Их тут зе псом шукают...

– Как это зе псом?

– А так. Пьес гходит до лясу и увсше нюгхает, нюгхает из носом сшвоим по земю – и увсше так нюгхает и напотом роет, роет сшебе и з лапом сшвоим – увсше так роет и знагходит трухло!.. А мы вже напотом егхо препаруем и отпушскаем до предажи. Мозже гасшпидин спиручник трухли гхоче?

– Коли другого нет ничего, неси хоть трюфели, пожалуй!.. Да нет ли еще хоть яиц то у вас?

– Яйки?.. А як зже-жь!.. Яйки – яйки есть! А сшколки яйков гхля пана?

– Десятка три неси: мне надо и вестовых моих накормить.

– Зараз, зараз, гасшпидин спиручник зараз! – замахала руками Лэйка и бомбой стремительно вылетела из комнаты.

– Эк ее прет-то! – процедил вослед ей Бочаров из другой комнаты.

Вскоре явились у меня яйца, масло, трюфели и несколько жидовских булок, посыпанных своеобразно ароматическим семенем чернушки.

Вестовые мои устроили какими-то судьбами, что хозяйева позволили распалить в своей печке два-три поленда под таганкой, благодаря чему мы могли сварить трюфели на вине (благо, у меня был запас с собою) и выпустили яйца на сковородку. Этою-то яичницей да трюфелями с маслом я и был сыт, вместе с вестовыми моими. Только нельзя сказать, чтобы трюфели особенно понравились солдатам, потому что на другой день, после обеда, состоявшего точно так же исключительно из трюфелей да яичницы, улегшись на постели, я

слышу, как вестовые мои едят в другой комнате и между собой разговаривают:

– Эка, подумаешь, прости Господи! Что это об иной час есть-то только приходится! – говорит Бочаров.

– А что? – отзывается ему рейткнехт Алешин.

– Да как же!.. Вдруг этта теперича – вареная гнилушка с дерева!.. И как это только господа могут ее есть, ей-богу!.. Чудно, братец ты мой! И какой в ей скус? Ну, вот, как есть гнилушка с березы!.. Право!

– Бочаров! – крикнул я его в свою комнату.

– Чего изволите, ваше благородие?!

– Что, брат, не нравится кушанье-то?

Стоит и ухмыляется.

– Никак нет-с, ваше благородие, потому скусу в ем никакого...

– Ну, а французы, брат, за эту самую гнилушку большие деньги выручают: рубля по три маленькую баночку берут.

– И нешто им платят, ваше благородие?

– Да еще как платят-то! Это самое что ни есть дорогое кушанье, а тебе вот не нравится!

Стоит мой Бочаров и недоверчиво ухмыля-

ется по-прежнему.

– Шутить изволите, ваше благородие, – ласково произносит он наконец, еле удерживая веселый смех, и – налево кругом выходит из комнаты.

Так мне и не довелось убедить Бочарова в тонком гастрономическом достоинстве трюфелей.

II. Базарный день в Свислочи

Часть 1

Каждый воскресный день в Свислочи с раннего утра подымается особенное движение. Жидки торопятся выслать своих «агэнттов» на все выезды и ближайшие перекрестки дорог, ведущих к местечку. Это в некотором роде сторожевые посты «гандлового люду». Но зачем такие посты нужны свислочскому люду гандловому? Нужны они затем, чтобы перенимать на дороге крестьян, доставляющих на базар свои сельские продукты. Везет себе белоголовый хлоп на своем возу «каранкову», а то и целую «корцову» бочку «оброку» или «збожа» [1] и уже рассчитывает в уме своем предстоящие ему барыши, как вдруг на последнем перекрестке налетает на него с разных сторон ватага еврейских «агэнттов». Хлоп моментально оглушен, озадачен и закидан десятками вопросов, летящих впереводку друг другу: «А что везешь? а что продаешь? а сколько каранков? а чи запродавал вже кому?»

а чи не запродал?» Хлоп не знает, кому и что отвечать, а жидки между тем виснут к нему на задок, карабкаются на воз, лезут с боков и с переду, останавливают под уздцы лошадедку, тормошат ошалелого хлопа, запускают руки в овес или в жито, пробуют, смакуют, рассматривают, пересыпают с ладони на ладонь и при этом хають – непременно, во что бы то ни стало хають рассматриваемый товар, а другие – кто половче да поувертливее – насильно суют хлопугу в руку, в карман или за пазуху сермяжки кое-какие деньжонки, и не столько денег, сколько запросил хлоп, а сколько самим вздумалось, по собственной своей оценке, которая, конечно, всегда клонится к явному ущербу хлопа, и если этот последний не окажет энергического сопротивления с помощью своего громкого горла, горячего кнута и здоровых кулаков, то та партия жидков, которой удалось, помимо остальных агентов, всунуть в руку продавца сколько-нибудь деньжонок, решительно овладевает и хлопом, и его збожем, и его возом. Один из одолевшей партии вырывает уздцы лошадедки из рук своих противников, что неизбежно сопро-

вождается еврейским галласом, гвалтом, руготней и дракой; а другие в это самое время, взгромоздясь на крестьянский воз и нависнув на него с боков, овладевают, как можно скорей, кнутом и вожжами, третьи отпихивают и в грудь, и в плечи, и в зубы, и куда ни попало азартно наступающих агентов всех остальных партий; и все это, разумеется, происходит при оглушающем гвалте. Но чуть лишь передовому бойцу удалось высвободить уздцы и оглобли, как вожжи и кнут начинают немилосердно хлестать лошаденку, которая, побрыкавшись малость, с места пускается вскачь, а жидки за нею и рысью, и галопом, подобрав полы хламид своих: «Ой-вай! Ховай Божже!» Передовой боец, вприпрыжку, охраняет уздцы и оглобли от новых враждебных покушений, за что беспрестанно попадает то в спину, то в шею. Возница, овладевший вожжами, дергает и понукает клячонку, отмахиваясь кнутом на все стороны, остальные же с понукательными криками «Фаар!.. фар-фар!» [2] с высоты с бою взятого воза спихивают цепляющихся за «дробины» жидков и, наконец, удаляются с торжеством победителей от

преследующего неприятеля, который, видя уже, что дальнейшее преследование будет вполне бесполезно, ограничивается одной крупной перестрелкой брани, посылаемой вдогонку противнику, торжествующему свой новый «вигодни гешэфт». Хлоп тоже пытается протестовать против победителей, но те не слушают его и знай себе гонят клячонку и в хвост, и в гриву, направляя ее прямехонько-таки в ворота своего собственного «заездного дома». Чуть лишь въехали в глубину двора – ворота тотчас же на запор – и недоумевающий, одурелый от гвалта и галласа хлоп оказывается в буквальном плену у своих победителей. Кричи и ругайся тут себе сколько хочешь – никто тебя не услышит, никто не явится на выручку, ибо запертые двери и ворота налагают на хлопа полный арест и преграждают к нему путь какой бы то ни было выручке и подмоге. А станет хлоп много артачиться – жидки и побьют его, так недорого возьмут – ступай, ищи потом с них, коли битье без свидетелей было!.. Но бить хлопа – это уже крайность, прибегать к которой жидки не любят, имея в виду возможность возмез-

дия, которое рано ли поздно ли, может наступить для одного из их компании со стороны односельчан оскорбленного хлопа. Для жидков гораздо выгоднее ласково, но немилосердно обобрать хлопа и остаться с ним добрыми «шршия-целками» – «каб и на пршуд од него гхароший гандель ийметь». В силу этих соображений составляется обычная стратегема следующего рода: прежде всего жидки торопятся сбросить на землю мешки с овсом или житом, лишь бы только скорей с возу долой, дабы потом иметь ясное доказательство, что товар уже продан, на тот случай, если бы несговорчивый хлоп вздумал упинаться и если бы какими-нибудь (впрочем, весьма трудными) судьбами удалось ему прибегнуть к помощи власти или постороннего люда. Последние случаи весьма редки, но прозорливый еврейчик всегда уж ради собственного спокойствия постарается оградить и обезопасить себя и свое дело со всех возможных сторон. Затем, прежде чем приступить к отмериванию и пересыпке купленного товара, жидки подносят хлоппу в виде угощения или магарыча один и другой, а то, случается, и третий келих

водки, и только тогда, как заметят, что добрая порция хмелю забрала уже голову хлопа, наведя на него некоторый дурманящий туман с соответственной дозой сердечной мягкости и благодушия, они приступают к мере и пересыпке. Пока одни меряют, пересыпают да отсыпают, другие стараются разными приятными разговорами и расспросами отвлечь внимание хлопа от совершаемого дела, и этот маневр всегда почти удается им как нельзя лучше. Зерно умышленно просыпается из меры на землю и спешно подметается метлами в какой-либо укромный угол, ибо просыпка этого рода в общий счет не идет, хотя в конце концов и составит собою несколько лишних гарнцев, дающих возможность к лишнему гешефту. Слова «корец», «каранка», «шанек», «полко-рец», «двецверци», «две шуснастки», «усьм лахурков», изображая собою различные величины установленных обычаем мер – величины крайне сбивчивые при их смешении и почти невозможные для вычисления точного отношения одной меры к другой, – градом сыплются из уст отмерщиков и окончательно сбивают с толку одурелого хлопа, который

знает, что все эти меры точно существуют, но никак не может сполупьяна сообразить, что восемь лахурков осьмины совсем не идут в один счет и вперемешку с четырьмя цверцями корца; он только чувствует, что «жидюги» волей-неволей «закрутили с ним гешэфта» и теперь объегоривают его на чем свет стоит, «во всю свою господарску волю»!.. Но вот перемерка да пересылка окончена, оброк спешно убран в еврейские амбары, и хлоп, ощущая ничтожность насильно всунутого ему задатка, начинает требовать окончательного расчета; но евреи с крайним удивлением отвечают, что деньги-де уже получены им сполна, что никаких более расчетов нет и что надо, дескать, Бога не бояться, требуя с них вторично уже полученную плату. При этом для окончательного ублагодущенья хлопа ему иногда подносится еще один келих водки; а будь хлоп упинается – то расправа с ним коротка; ворота настезь, оглобли поворочены к – в шею! Озадаченный, раздосадованный, разочарованный и огорченный хлоп посмотрит жалостно на доставшиеся ему скудные гроши, перекинет их раздумчиво с ладони на

ладонь, почешет за спиною и, сообразив, что на такую ничтожную сумму не приобретешь ничего путного для своего хозяйства, махнет рукой и повернет до корчмы, где и спустит до конца всю свою злосчастную выручку.

Так вот для каких гешефтов гандловый люд посылает за околицы и на перекрестки своих агентов. Эти агенты разными: маневрами стараются один перед другим скрытно и незаметно пробраться на более отдаленные от местечка пункты, дабы, заняв там выгодную позицию, перенять подъезжающего хлопа ранее своих конкурентов, и из этого выйдут у них тоже бои немалые.

Но что за цель и что за выгода у гандлового люда отбивать товар с бою на перекрестках, вместо того чтобы спокойно покупать его на базаре? Эту цель и эту выгоду я поясню сейчас же.

Коль скоро в каком-либо местечке расположен на зимних квартирах «эскадронный двор», то гандловый люд всячески старается не допустить эскадронного командира и фуражмейстера до непосредственных сделок с хлопом – продавцом овса. Евреи всегда наби-

ваются на то, чтобы заподрядиться как-нибудь с эскадроном на оптовую поставку овса и сена; но для эскадрона, в свой черед, несравненно выгоднее бывают непосредственные сделки с самими продавцами, так как тут весь товар на виду со всеми его качествами, да и покупается он из первых рук гораздо дешевле. Если же командир, отвергнув посредство еврейской поставки, оплошает почему-либо в базарный день запасть вполне нужным ему на неделю количеством овса, то жидки скупят весь овес сполна и тогда уже сами наложат на него такие цены, с которыми не в состоянии будет потягаться самая высокая казенная «справка», а эскадронный и ездят тогда по помещикам, хлопочи да выбивайся из сил, добывая нужное количество фуража! Ввиду возможности такого «гешэфта» жидки и стараются изо всех сил не допустить хлопа до базарного места и захватить его на предупредительных пунктах, дабы через то явиться самим, по возможности, господами дела и устранить конкуренцию эскадрона, ибо эта конкуренция для них во всяком случае очень опасна: эскадрон всегда купит

честно, не обижая хлопа, с обоюдной выгодой как для себя, так и для продавца, а очевидность выгоды влечет этого последнего к прямой сделке "с войсковыми*" и, стало быть, выбивает его из-под гнетущего экономического влияния еврейской насильственной эксплуатации, самих же евреев лишает хорошего «гешэфта».

Таковой способ действий гандлового люда заставляет и нас в свой черед высылать партикулярным образом маленькие команды на передовые посты, за околицы и к перекресткам. Назначение этих команд – в два, три или четыре человека каждая – состоит в том, чтобы оберегать, по возможности, хлопа от жидовских насилий и посягательств, чтобы не дать жидкам насесть на крестьянский воз, а самим проводить его мирным порядком в местечко, до базарной площади. Главные внушения вахмистра направлены при этом на одно – всячески избегать драки с жидками, которые в свой черед стараются затеять побоище, дабы заручиться существенными доказательствами, вроде порванных лапсердаков и расквашенных физиономий, при помощи

которых затеять с эскадронам бесконечные кляузы. Для подобных экспедиций люди выбираются надежные, смышленные, рассудительные, при известной внушительной наружности, и благодаря этому наше оберегание хлопков проходит всегда почти благополучно. Такой образ действий с нашей стороны проливает в еврейские сердца горечь и злобу против нас немалые и вселяет в них мысль о мщениии разными каверзами, что иногда и удаётся им приводить в исполнение. Так-то вот и воюем с ними из-за хлопского «оброка».

* * *

Базарная площадь все более и более покрывается хлопскими полукошиками. Этот полукошик есть не что иное, как плетенное из прутьев лозы подобие корзины – полукорзинка, если перевести буквально. С одной стороны плетенка загибается вверх настолько, что образует спинку, или задок, в который можно упереться спиною, по самую шею; другая, противоположная сторона, т. е. передок, загиба уже не имеет, а от спинки к передку идут, постепенно суживаясь, боковые лопа-

сти плетенки, которые у передка смыкаются с плетеным нее днищем полукошика. Такой-то полукошик ставится летом на колеса, а зимою на полозья и служит нехитрым экипажем для хлопа на всем Чернорусьи. Каждый почти хлоп, едучи «до церкви або до косциолу», забирает с собою и свою бабу, которая, обмотав себе голову червоною хусткой и ухитрившись, в силу обычной моды, устроить из этой хустки какие-то рога, торчащие с боков над ушами, сидит себе на задку полукошика в овчинном кожушке или в сером «сукмянце» и улыбается всем своим круглым курносым лицом, потому очень уж довольна, что «чоловик узяу ее у люды». Сам «чоловик» сидит, скорчившись, на передку и правит маленькой рыжей лошадкой, а сзади непременно уже увязался и бежит по дороге, не отставая, их дворовый пес – какой-нибудь Рябко, Серко или Чернушка. Пока «чоловик с жонцей» будет стоять в церкви за обедней, Рябко взберется на сено в полукошик, сядет на хозяйское место и, ни за что не сходя с него, станет самым добросовестным образом сторожить хозяйское добро – так уж приучены сызмала все

эти Рябки с Серками. Базар начинается только после обедни, и потому все те возы, которым удалось избежать еврейской атаки на передовых постах, скучиваются со всеми своими продуктами и изделиями на площади около высокого каменного обелиска с золоченым шпилем, который некогда был воздвигнут здесь Бог весть для какой надобности прежним владельцем местечка, графом Тышкевичем. Иные из мужиков остаются «доглядать» свое добро, буде Серко запропал куда, или: не найдется добрый сосед знакомый, на которого можно было бы покинуть воз; но замечательно, что баба никогда сторожить не останется: она всегда идет «до церкви», ибо и вырядилась-то она в «квятну хустку» и «пацюрки» [3] на шею навесила нарочно для этого случая. Те же из более зажиточных крестьян, которые приезжают сюда без торговых целей, а просто Богу помолиться, возами своими базарной площади не загромождают: они ютятся как-нибудь по разным корчмам и заезжим домам и только в том случае, если исповедуют православную веру, оставляют возы под надзором Рябков и Серков у церковной огра-

ды. Католики же перед костелом коней своих не покидают, хотя наружная сторона костельной ограды и бывает постоянно сплошь заставлена разными экипажами вроде возков, нетычанок, бричек и даже полукошиками, но эти полукошики принадлежат уже никак не хлопам: это все – панские экипажи, и приезжает в них «до косциолу» все то, что так или иначе считает себя выше хлопа, начиная от окрестных помещиков и кончая разными "ржондцами, дворовыми, бывшими войтами гмин, егерями-полесовщиками и вообще «дробною шляхтой», ей же несть конца и предела во всем Западном крае. Хлопы в своих полукошиках испокон веку ездят в оглоблях с дугою, шляхетские же экипажи всегда отличаются польскою упряжью «с бичем».

В ожидании начала церковной службы перед оградами церкви и костела стоят разнообразные, пестрые группы крестьян: мужики в чистых полотняных кошулях [4], у которых высокие воротники, завязанные стенжкой, т. е. красной шерстяной тесемкой, приподняты вроде старинных жабо или же выпущены поверх откидного овчинного воротника, широ-

ко лежащего на плечах и спинке серого сукмяна [5]; на головах невысокая серая овчинная шапка, а у более щеголеватых дзецюков (парней) суконные картузы с лакированными козырьками; на ногах смазные чеботы, в которые впущены суконные ногавицы (штаны); подпоясаны все либо ремнями с бляхою, либо шерстяными цветными поясами. На бабах беляются сверх чепцов полотняные наметки, а на девушках пестреют цветные хустки в виде рогатого венца со спущенными сзади концами, украшенные с боков над ушами пучками зеленых листьев и веток подснежника, руты или же яркими искусственными цветами. Изпод сукмянов и кожушков у тех и других виднеются шерстяные юбки цветов: синего, зеленого или зеленого с красным, а груди непременно украшены пестрыми пацюрками, бисером, коральками, монистами, спускающимися в несколько ниток с шеи, вместе со скаплержем. Эти скаплержи, представляющие собою нечто вроде медальончика, на котором по цветному сукну вышито стеклярусом и бисером символическое изображение имени «Иезуса» или «Свянтей панны Марии», слу-

жат знаком принадлежности к какому-либо костельному братству и зачастую носят различно как католиками, так и православными крестьянами наряду с медными шейными крестиками и финифтяными образками.

В ожидании благовеста эти пестрые группы хлопов и женщин, кто сидя, кто стоя, ведут между собой весьма чинные и тихие беседы, потому что галдеть, шутить и смеяться до обедни почитается грехом и неприличием: «До обедни смех та гомон – вялики грех та сором». В силу этого и выражение лиц и улыбок носит хотя и праздничный, но скромный, сдержанный и даже важный характер. Разговоры тоже сдержанного характера: расспрашивают обыкновенно о здоровье, о всходах (весною), об урожае (летом), о хозяйстве, о состоянии домашнего скота, но никак не заведут разговор про какие бы то ни было дразги и сплетни мелкожителейского или скандального характера – «бо коло цэркви вялики грех таким словом бавицьсе».

– Добры дзень! – приподнимая шапку и протягивая руку, говорит кум куму.

– И вам дай Боже!.. Як се маешь, куме? Чи добре дужь?

– А от, як бачите!.. Подзяковать пану Богу, гадуемсе! [6] А вы як?

– И мы так само ж!

– Ну, и добре, куме! Дай вам Боже!

– А чи не павоишь, куме, нашей кабаки? – предлагает кум, вынимая из кишени берестяную тавлинку с нюхательным табаком.

– А добра кабака? – спрашивает угощаемый кум, запуская два пальца в тавлинку.

– Гэ-гэ!.. Нюхны та лечь не журисе (лишь не заплачь)! – похваляется угощатель.

Оба нюхают, причем угощаемый кум здорово кряхтит от удовольствия.

– Ого! Дужа кабака! Вяльми дужа! – одобряет он. – А скудова, куме, бярёце яе? Може привозна з-под Кракова, чи з-под Гданьска?

– Не, куме, – *сампантр*!! [7] – заявляет угощатель, очень довольный комплиментом своему зеленчаку.

Но вот с вышки отдельно стоящей дзвоницы загудел над местечком первый удар «вяликого дзвону». Хлопы снимают шапки и набожно крестятся.

В костеле тоже раскачивается на своей оси и звонит колокол, приводимый в движение с помощью рычага, к которому привязана веревка, – и дрожащий гул двойного призывного благовеста несется в воздухе на всю тихую окрестность. Серые сукмянцы и белые кожухи поднимаются с места и степенно, неспешной походкой направляются к притворам церкви и костела.

На вышку дзвоницы между тем карабкаются два-три хлопчика, выпросившие себе у пономаря позволение позвонить, когда ударят «У усе дзвоны». Деревенские хлопчики (мальчики), кажись, все без исключения – превеликие любители позвонить. Эта забава доставляет им огромное удовольствие, и те из них, которые воспользовались данным им разрешением, стараются сохранить его за собой как некую привилегию и на будущее время. И надо видеть, с какой серьезной важностью, с каким чувством сознания собственного достоинства хватается хлопчик за веревку колокола, как старательно и с каким наслаждением производит он саму операцию звона и как поглядывает при этом вниз на тех

ребятенков, которые не сподобились пономаршей милости. Эти последние стоят около звоницы и, задравши кверху глазенки, с таким безграничным удовольствием и с такою детскою завистью смотрят на избранных счастливцев – с удовольствием, ради самого трезвона, послушать который так им приятно, и с завистью – зачем не они на вышке, зачем не им, а тем досталась в удел эта счастливая доля!..

И перед церковью, у притвора, и перед костелом непременно помещаются нищие, но перед костелом они заметнее и качеством, и количеством, потому что здесь у них имеется больше шансов на более щедрые и обильные подачки, так как в числе прихожан костела бывает столько помещиков и шляхты, тогда как прихожане церкви – все те же серые хлопья, большая часть которых и сами-то чуть-чуть разве подостаточнее нищего. Впрочем, некоторые из этих нищих переходят от церкви к костелу и обратно; но уж тот, который хочет «рабоваць» под костелом, непременно должен «жебраць» по-польски, если желает получить добрую выручку; в противном же

случае результат будет тот же, что и под церковью, если еще не скуднее. Нищие тут бывают двух родов: переходные и оседлые. Переходные часто соединяются в целые партии, от двух до десяти и более человек; они составляют из себя нечто вроде артели и под началом своего «головой» или «гатамана» переходят от местечка к местечку, через дебри и веси, стараясь не пропустить базарного дня или кьермаша [8]; другие же из переходных, большей частью слепцы, промышляют отдельно, с поводырем, которым чаще всего нанимаются малолетки. Иные даже покупают себе лошаденку, строят над полукошиком буду (вроде кибитки) и разъезжают по базарам. В Свислочь почти каждое воскресенье приезжает на базар один такой слепец, вместе с поводырем-девочкой, пяти- или шестилетним ребенком, которая у него сидит за кучера. Слепец останавливается со своей будой на самом бойком месте, посреди базара, и начинает гнусливо тянуть бесконечного «Лазаржа» или «Дзесентюру». Эти переходные калики все вообще промышляют главнейшим образом посредством пения: сядут где-нибудь в ряд при

дороге, при церкви или походя остановятся кучкой под окнами какой-нибудь корчмы либо хаты и начинают:

*Певны человек богаты,
В золото, серебро шкарлаты,
И збыть коштовне шаты,
Ядл, пил, тылько танцовал,
Дзезь и ноц банкетовал,
Пыхонь в сердцу свем ховал.*

И тянется, тянется у них этот «Лазарж» бесконечно, монотонно и тоскливо-скрипучими, ноющими и разбитыми голосами. И замечательно вот что: все эти нищие, изъясняясь обыкновенно на своем чернорусском наречии, песни свои между тем тянут не иначе как на исковерканном польском языке и зачастую сами не совсем-то хорошо понимают слова своих песен. Это вот отчего происходит: учит их петь обыкновенно наиболее старый, наиболее опытный, бывалый и дохлый нищий, который и сам смолоду нередко бывал в поводирях и учился у своих стариков, а между этими стариками попадают и грамотные, но, по-старинному, грамоте умеющие не по-русски, а исключительно по-польски. На

польском же языке уже с давних пор существуют книжки такие – сборники разных кантычек, в которых имеются и все нищенские «вирши»; из этих-то книжек и почерпали старики свои песни, которым обучают на слух неграмотных. И вот, в силу обычая, наш чернорусский калика и поет польские кантычки, не без основания рассчитывая также и на то, что польская кантычка более тронет сердобольные струны пана или шляхтича, чем грубая «речь хлопьска». Класс переходящих нищих пополняется исключительно самыми бедными крестьянами из разряда огородников и кутников, которые не имеют ни земли для обработки, ни скота, ни земледельческих орудий, а весь свой труд прилагают к разработке своего огорода, засеянного исключительно почти картофелем. Раз, что картофель не уродился – кутник остается без хлеба, семья его разбредается в разные стороны и идет «работать», т. е. просить милостыню.

Другой сорт нищих – оседлые, так называемые «старушки подкосцельны». Это уже, можно сказать, аристократы своего положения. Они живут здесь же, в местечке, имеют

себе постоянный угол и ремесло свое почитают как бы богоугодным делом, а себя самих – в некотором роде должностными лицами, принадлежащими к костелу. «Старушков подкосцельных» вы только и можете встретить у костела, но отнюдь не у церкви, ибо все они самые ревностные католики; да и вообще, около православных церквей вовсе не попадает нищих этого сорта. «Старушек подкосцельны» одет всегда чище калики; на нем вы встретите иногда и чеботы, и нечто вроде сюртука синего сукна, и сорочка у него в воскресенье непременно чистая; но при этом он все-таки сумеет приятно выставить на вид и подштопанные прорехи своей бедности, и свою беспомощную старческую дряхлость. Между ними всегда бывают и «бабульки подкосцельны». И «старушки», и «бабульки» садятся в ряд по бокам прохода от ограды к притвору, и те из них, что попочтнее, занимают наиболее почетные места у притвора, которые составляют уже как бы неотъемлемую и законную их собственность. Эти «старушки» с «бабульками» зачастую бывают увешаны разными чётками, «ружоньцами, кржи-

жиками, медаликами и скаплержами»; в руках у них «киек» и «ксёнжка», в которой и заключаются все эти ихние кантычки. «Старушек» поет всегда почти со смыслом, т. е. выбирает кантычку, соответственную времени и обстоятельствам; «бабулька» же голосит без всякого разбору, что ни попало; таким образом, утром, во время «мши», она вам будет петь хоть «добра ноц, о, Іезу!» – которая, впрочем, составляет одну из самых любимых песен всех этих «бабулек». И вот, сидит себе «бабулька», мерно раскачиваясь сзади наперед, глаза уткнула в ксёнжку, руку просительно протянула к мимо идущим, а сама слезным и тоненьким голосенком пречувствительно выводит:

*Добра ноц, о, Іезу! о, милосьци
моя!*

*Нех в твем ренку усненья, лепянка
твоя!*

Нехай ми сеи'сьеи завше о тебе!

*Нехай розмавам з тобон' дзись со-
бе!*

О, Іезу! ме коханье! [9]

«Старушек» же, не обращая ни малейшего

внимания на соседнюю «бабульку», каждый сам по себе и сам для себя, тянет, уставя куда-то в пространство водянистые, выцветшие глаза свои, смотря по вкусу: кто «Лазаржа», кто «Аньел Паньски» – буде «мша» идет заупокойная, но чаще всего тянут они совсем по своему известную «Дзесентюру»:

*Троица – Бог ойцец, Бог Сын, Бог
Дух свенты,
В Троицы – Бог еден нигды не поенты;
Бог Ойцец цршед век в себе Сына
родзи,
Бог Дух од Ойца и Сына походзи.*

А далее идет в подобных же стихах изложение десяти заповедей, вследствие чего «собственно» и песня называется «Дзесентюрою».

Ближе к ограде лепятся разные пришлые, переходящие слепцы, калеки, сухоручки, безногие, а также немтыри, которых вместе с колтунастыми очень много шатается по краю. Все это обнажает свои немощи и язвы, немтыри пучат глаза, делают выразительные жесты и мычат слюнявым ртом, а все остальное во-

пит, кто во что горазд на всевозможные голо-
са: «Паночку! Паненко! Дрогеньки! Злоцень-
ки! О ля бога! Змилуй сен'; хоц грошик на ка-
леку! Паночка!.. Паненко!» – и все это в лад
кивает обнаженными головами, покачивает
всем корпусом, сидя на месте, и тянется к вам
десятками скрюченных, просящих рук и скор-
ченных, заскорузлых ладоней.

Рядом с нищими, в особенности на киер-
маш или на большие Господские праздники,
в костельной ограде, у притвора, всегда поме-
щаются двое-трое, а то и более кочующих
продавцов, которые то на стойках, то просто
на земле раскладывают свои товары, заклю-
чающиеся во множестве разноцветных четок
и пестрых скап-лержей; тут же блестят у них
высеребренные и медные кржижики, меда-
лики, образки, колечки; рядом разложены ли-
тографированные и раскрашенные картинки
и образа: «Матка Божска Ченсто-ховська и
Остробрамська», «Свенты Казимерж», «Свен-
ты Станислав», «Свенты Юзеф», а также и об-
деланные в рамочки молитвы «до Сердца Иез-
усового», на которых в гирляндочке раскра-
шенных цветов изображено и самое это серд-

це, пылающее пламенем. Тут же продаются и деревянные настольные кресты с цинковым распятием, и фарфоровые «кршестельницы», которые во всяком доме, где обитают добрые католики, вешаются на стену около дверей для того, чтобы каждый гость, входя в комнату, мог омочить в налитую туда святую воду большой палец правой руки и осенить себя крестным знаменем.

К костелу между тем подъезжают из окрестных усадеб разнокалиберные экипажи, из которых выгружаются паны и паничи, пани и паненки, разряженные по-праздничному, иногда чопорные, но больше все веселые, потому что при скудости деревенских развлечений костел, где непременно встретишься со знакомыми, представляет для них все же таки развлечение не малое. Подъезжают сюда же – но только уже в более скромных повозках или санях – и мелкие шляхтянки, непременно в широких красных кринолинах, с яркими синелевыми сетками на головах, а девицы с фальшивыми и фольговыми цветами, торчащими во все стороны из-за ушей и на макушке; шляхтичи – все в синих да в серых

сюртуках и бекешах, и непременно каждый из них гладко «оголил», т. е. выбрил, себе подбородок ради праздника.

Но вот начинается служба. Вот выступает «сакристиан» в белой комже с распятием на длинном древке и идет профессиональной походкой по храму; за ним ксендз с реликвиями, поддерживаемый под руки наиболее почетными прихожанами из панов; по бокам ксендза идут двое мальчиков, тоже в комжах, с пронзительными колокольчиками в руках, а за ксендзом двигается уже вся масса народу, и совершается внутри храма хождение вокруг его стен. Орган звучит *forto-fortissimo*, колокольчики звенят что есть мочи, и весь народ, тоже что есть мочи, поет в унисон торжественную песнь, после которой и начинается уже самая «мша».

Нигде столь резко не бросится вам в глаза раздвоенность жизни и населения этого края, как если вы заглянете в костел и в православную церковь.

Вот, например, хоть бы в Свислочи. Костел высится на самом видном пункте местечка, выходя на две площади и на самую лучшую

улицу, а православная церковь запряталась куда-то за каменный гостиный двор, подальше от глаз, и стоит себе у околицы на самом выезде, так что ее и не видать совсем ниоткуда: ни с площади, ни с улицы, и свежнему человеку, для того чтобы попасть туда, надо прежде спросить: «Покажите, люди добрые, где, мол, тут у вас церковь-то православная?» – а иначе, пожалуй, и не отыщешь ее!

Насколько был здесь забит и унижен хлоп, настолько же вместе с ним была забита и унижена его хлопская «цэрква». Путешествуя по краю, вы по сию пору можете во многих и многих еще местах встретить гордо стоящие, красующиеся на площадях костелы и тут же, только не рядом, деревянные срубы, косые и кривые, и мхом поросшие, и соломой крытые, с виду похожие более на какие-то амбары или сарайчики, над которыми водружен кривой и ржавый железный крест, во свидетельство того, что амбар этот есть православная церковь. Как хлоп не смел приблизиться к пану и стать с ним на одну доску, так точно и его хлопская «цэрква» не осмеливалась приблизиться к панскому костелу, а пряталась всегда

в какой-нибудь угол, где бы подальше да незаметнее... И если ныне увидите вы благолепные церкви, стоящие на подобающих местах, то все это сделано только в последнее время, уже после 1863 года, а что было раньше – о том еще и доселе красноречиво свидетельствуют дряхлые и покосившиеся срубы...

В старенькой, поношенной ризе служит «поп» обедню своим прихожанам. Перед местными образами теплятся тоненькие свечи желтого воска. На клиросе плохо поют, вместе с дьячком, два-три солдатика, два-три хлопчика да любитель из хлопков. Церковь полна прихожанами – но куда ни обернись, куда ни глянь – все одни только хлопские кожухи да сермяжки да солдатские шинели; везде и повсюду, во всех углах все одни и те же хлопские да солдатские лица. Одна только «пани-матка» (попадья), да русский мировой посредник с семейством, да уланский майор разнятся наружным видом своим от этой массы кожухов и сермяжек. И видишь воочию, насколько правы были поляки, называя все это хлопской церковью и хлопской верой. У них даже и поговорка есть на это: «Поп – для

хлопа, плебан – для пана». Некоторые старики молятся по польским молитвенникам, по этим «олтаржикам золотым», что служит живым свидетельством того, относительно весьма еще недавнего, времени, когда единственно доступная для панского крепостного хлопа «наука» заключалась в обучении польской грамоте, вследствие чего в руках у него и о сю пору остается еще этот польский молитвенник, быть может некогда подаренный ему в поощрение за науку его сердобольной панной. На многих бабах и «маладзёхнах» (молодицах) красуются выставленные на груди скаплержи, а некоторые из баб даже крестятся по-польски. Стоит вся эта «громада» тихо и чинно, службу слушает внимательно; но взгляните в эти лица – и вы прочтете на них выражение какого-то индифферентизма, безучастия, хотя церковь и посещается хлопами благодаря базарному дню довольно исправно. Что это такое? Нелюбовь ли к церкви? Затененная ль приверженность к костелу? – Нет, ни то ни другое, а именно индифферентизм к делу религии как хлопской, так равно и «панской», – индифферентизм, имеющий свои ос-

нования, до известной степени, в причинах политических; стоит только вспомнить, сколько раз этот народ был перегоняем из православия в унию, из унии в католичество, из католичества в православие и из унии в православие и какие административные меры зачастую принимались для этих переговоров... Этот народ не отстаивал себя и не боролся здесь за свою веру столь энергично и упорно, как боролся малорусе; он просто себе подставил свою шею и спину натиску всех исторических, наплывных невзгод и лишь благодаря этому, чисто пассивному, сопротивлению, успел и до наших дней сохранить свою славяно-русскую самобытность; но что касается до религии, то тут уже невольно и вполне естественно выработался этот индифферентизм, который, дай Бог, чтоб изгладился лишь в будущем поколении.

Но теперь загляните в костел и посмотрите на характер наполняющей его публики.

Передние ряды скамеек заняты исключительно крупным шляхетством из окрестных помещиков; тут красуются пестрые паничи, нарядные паненки, дородные маменьки и со-

лидные папеньки. В средних рядах заседает шляхта помельче, из отставных чиновников и учителей, из посессоров (арендаторов) и маленьких «каваль-ковых» землевладельцев, вроде наших однодворцев. В женском поле здесь преобладают красные кринолины и синелевые сетки. Впрочем, и эта публика причисляет себя исключительно к шляхетскому классу. Задние же скамейки переполнены людьми, принадлежащими к панским дворням: здесь помещаются разные официалисты, ржондцы (управляющие, приказчики), писаря, псари, лакеи и паины-покоёвы (горничные), а также примащиваются и «мястечковые», т. е. местные мещане из тех, что зажиточней. Но где же тут хлопы? где *серый* народ?

Хлопов никогда не встретите вы на скамейках. Не знаю почему, но они не садятся, а все время молятся стоя либо на коленях и занимают пространство у стен, по бокам да позади скамеек, около притвора и в самом притворе. Только несколько наиболее нарядных маладзёхн и дзевчин пробираются вперед, к балюстраде главного алтаря, и, стоя перед

ним всю обедню, остаются на виду у всех. Взгляните на выражение молящегося хлопского лица – вы прочтете в нем какой-то сосредоточенно-тупой фанатизм: видно, что хлоп в этом чужезычном богослужении ничего не понимает, но верит – верит слепо, напряженно – и чего-то боится. На лицах шляхетных, и в особенности на женских лицах, зачастую прочтете вы тоже фанатизм, но тут уже он является с искоркой чего-то осмысленного, самосознательного. Что же такое способствует развитию фанатизма в прихожанах костела, рядом с индифферентизмом прихожан церкви? Способствующих причин много, и говорить о них надо долго, что уже никак не входит в задачу моих очерков; но вы поймете, что влияет отчасти на это явление, если просто присмотритесь к обстановке костела.

Прежде всего в ней кинется вам в глаза какой-то декоративный характер: эти разноцветные «хоронгвы», стоящие рядами по бокам скамеек и вдоль стен; эти разрисованные алтари с лепными изображениями ангелов и херувимов. Все эти ангелы и херувимы ужас-

но напоминают конфетных амуров и тех французских псевдоклассических купидонов, которыми в доброе старое время всегда украшались бордюры пригласительных свадебных билетов: "невинные амур и розовые купидоны с игривыми улыбками на устах и с гирляндами цветущих роз* – вот вам идея наиболее общих украшений этих алтарей, по бокам которых выступают всегда изваяния разных святых. Изваяния эти по большей части бывают раззолочены и раскрашены. Будучи вылеплены из гипса, а иногда вырваны из дерева, они тоже в высшей степени характерны. Кто бывал в наших костелах Западного края и вглядывался в эти статуи, того не могла не поражать в них одна особенность: все они отличаются сладостным, восторженным, экстазным и фанатически-католическим – именно: католическим выражением своих физиономий; а самые позы, в которых они выступают перед зрителем, носят в себе нечто изысканное, театральное и даже балетное – ну, так вот и кажется, что перед вами «жрец из Нормы», или балетный "пейзан*", который, проделав трудное антраша и достаточ-

но повертевшись в одной точке на самом носке одной ножки, вдруг обращается к публике: одна рука на сердце, другая – приветственно откинута наотмашь, а левая ножка грациозно и эфирно отставлена назад – дескать, глядите, пожалуйста, сколь я прелестен! И этот-то балетно-католический элемент прежде всего кидается в глаза свежему человеку. А потом образа: сентиментально-страдающее женское лицо с вынутым из груди пылающим сердцем, т. е. собственно с червонным тузом, из коего, в виде листьев артишока, извергается кровавое пламя; затем другое женское, но уже фанатически-скорбное лицо, с грудью, пронзенною семью шпагами, которые все так торчат из нее лучами; потом сладостно-кастратское, безбородое и гунявое, но очень молодое лицо монаха, одетого в коричневую хламиду и лобызającego голого младенца, коего сей монах, подобно кормилице, держит в своих страстных объятиях; или вот еще: изображен суровый мужчина с диким взором и страшными мускулами, так что вы только и видите одни лишь мускулы, мускулы и мускулы, при таком общем япечатлении, кото-

рое вам невольно, однако же, так вот и напоминает жирного и коренастого мясника с Резницкой улицы, – и под этим-то, якобы «священным», изображением подписано: «ото баранек Божий». Нечего сказать, хорош «баранек»!.. Затем обратите внимание на все эти символические изображения польского костела: вот вам изваяние ног, пробитых гвоздями и истекающих кровью, т. е. не в меру перепачканных красною краской; вот вам воздетые к небесам руки с растопыренными пальцами (и заметьте, одни только руки, и больше ничего), обильно политые кровавыми струями и обрызганные кровавыми пятнами, и все эти изображения неизменно окружены всяческими орудиями пытки и казни: тут вам и клещи, и молотки, и ножи, и гвозди, и плетки-треххвостки с железными когтями-крючьями, и петухи, и лозы, и копья, и вервия, и губки с одетом, и столб позорный, и череп «Адамовой головы», и чего-чего туп¹ только не имеется! И все это кричит – кричит вам о пытках, о крови, о страданиях, о муке и смерти; все это нарочно сделано, нарочно утрировано, нарочно рассчитано именно на этот

кричащий эффект!.. А в аккомпанемент ко всем этим сладостно-балетным экстазам и кроваво-кричащим эффектам вдруг раздаются рулады и фиоритуры сишлого органа, напоминающие вам столь известную рутину итальянских мотивов! И как, в самом деле, идут ко всему этому именно итальянские мотивы!

Есть у нас при полку «наш общий друг» из местных польских уроженцев, которого офицеры прозвали Доном Юзио де ля Пурдос граф Лабрадан де Каналья, а то еще и Доном Сезаром де Базаном обзывают; но последняя кличка дается только в тех случаях, когда Дону Юзио желают сделать комплимент. Этот Дон Юзио, будучи совершенно партикулярным человеком, в некотором роде «состоит при полку». Он в душе своей «артыста» и очень любит импровизировать на фортепиано. Раз, гостя у меня в Свислочи, отправился Доп Юзио вместе со мной в костел и забрался, совершенно неожиданно для меня, на хоры, где пан «органыста», получив от него на выпивку скромное пожертвование в виде какой-то серебряной монетки, согласился пустить его на свое место за органом. Во время совершения

евхаристии у католиков обыкновенно играет орган, не сопровождаясь пением. Сел мой Дон Юзио на табурет, и вдруг, стоя внизу и ничего не подозревая, слышу я: раздаются сверху знакомые звуки, которые еще и в Петербурге давным-давно успели уже намозолить мне уши.

*Скажите ей, что пламенной душою
С ея душой сливаюсь тайно я, –*

виртуозно наигрывает Дон Юзио. Слышу, дивлюсь и ушам своим не верю! Но нет, это не галлюцинация слуха; это даже не просто случайное сходство мотивов, а именно: «Скажите ей, что горькою тоскою отравлена младая жизнь моя», именно известный романс княгини Кочубей, петый г. Тамберликом. И я не ошибаюсь, думая, что это никак не гимн священный, а салонный романс, ибо через минуту он с некоторыми вариациями переходит в другой, не менее же известный романс: «Я помню все: и образ милый, и ласки, ласки без конца», который некогда сочинила у нас Текла Тарнов-ская, а завершается у Дона

Юзио все это попури арией из «Риголетто» «La donna e mobile», так что сомнений уже никаких нет: остается только слушать и дивиться.

– Скажите, пожалуйста, любезный друг, что это вы начудесили? – спрашиваю его потом, когда он спустился с хор.

– А чьто? – очень добродушно изумился Дон Юзио.

– Как «чьто»?.. Что это такое вы играть-то изволили?..

– А то так... моя импровизация.

– Да ведь это «Скажите ей»?

– А так! – согласился Дон Юзио. – Но что же с того?

– Да ведь это же неприлично – за обедней, в костеле и вдруг – «La donna e mobile».

– Для чего ж неприлично?.. И Бог же з вами! Такие прекрасные мотивы! У нас у кosciолу на этое время слободне допускается играть органу чьто ему ни схочется, абы только не allegro; а я к тому же додал к тым мотывам еще такой маэстозный и религиозный характер.

– Так у вас это допускается? – спрашиваю

его.

– Совершенно слободне!.. А когда ж у вас это не можно?

– У нас-то?.. Ну, батюшка, у нас, запой вы за обедней «Скажите ей», так вас по малой мере в сумасшедший бы дом посадили.

– О?.. Так строго?!.. И прямо так-таки аж у сумасшедший?

– Непосредственно.

– О?! – покачал Юзио головой с прискорбием развитого и цивилизованного человека. – У сумасшедший... От-то нравы... барбарыйски нравы!..

Кончилась служба и в церкви, и в костеле. Народ, прежде чем разойтись, непременно постоит пестрыми группами около ограды, для того чтобы и на людей посмотреть, и себя показать. Лица.' теперь гораздо оживленнее, веселее, и особенно у молодых женщин и девушек. Эти последние особенно любят покрасоваться теперь на народе своими свежими пучками подснежника или зеленой руты, торчащими над ушами, в головном уборе. Девушки- щеголихи даже нарочно в течение всей зимы сохраняют в горшках зеленую ру-

ту, очень тщательно ухаживая за нею, для того чтобы каждое воскресенье иметь удовольствие украсить ее веточками свою голову. Они стоят теперь отдельными группами, редко или почти никогда не смешиваясь с мужчинами, глазеют на разъезжающее панство и шляхтянство, шушукаются, пересматриваются" делая промеж себя свои веселые замечания, предметом которых большей частью служит какая-нибудь вычурная, новомодная шапочка или красный, расшитый золотом башлык на какой-нибудь паненке, – и при этом такими открытыми, добродушными улыбками сияют их широкощечкие, круглые лица с остренькими, вздернутыми носами, и выставляются напоказ ряды таких ровных перлово-белых зубов, каким, конечно, от всей души позавидовала бы не одна щеголиха, избалованная житейской роскошью.

Большая часть панов, прежде чем разъехаться по своим усадьбам, непременно завертывают на малое время в лавку к «мадам Янкелёвой». Панам это необходимо, потому что у «мадам Янкелёвой» каждый из них встретится с «пршияцелем», купит какую-нибудь

«бакалею», потолкует, посплетничает и, главное, новости узнает. Старый Янкель, в вечной своей длиннополой серой хламиде, с порыжелой «ермулкой» на седовласой голове, со скверной «щигаркой» в зубах и с неизменной приветливой улыбкой на лукаво-добродушном лице, встретит каждого пана со всеми знаками наипреданнейшего и наипочтеннейшего восторга и, чутко слушая панские разговоры, время от времени сам позволит себе вставить в них какое-нибудь словцо, расскажет о том, что соседний лесничий «на пасшлебном полеванью двох кабаны забил», что «пан справник з Волковиску до Хгородны поегхал», и непременно сделает при этом, в виде глубокомысленного соображения, вопрос: «И зачэм он поегхал дотуда, и на цо то ему било егхать?» Но еще непременно осведомится он, улучив удобную минутку, о том, «сштось такогхо на польтыку слитно». А между тем у старого Янкеля в это время уже стоит наготове раскупоренная бутылка «гданьской вудки з Варшау» и тарелочка со сладким, засушенным «мигдаловым тьястэчком» на закуску – и старый Янкель всегда уж олагодушно предло-

жит «ласкавому пану» угощение сими двумя приятными предметами, причем, конечно, и себя не забывает, так что к тому времени, как паны поразъедутся, благодушная физиономия длинного Янкеля успеет уже изрядно подрумяниться. И паны довольны Янкелем, и Янкель доволен панами. Но пока они закусывают да толкуют о том, «сшто на польтику слишно», их «почтивы пани» и паненки успевают закупить у мадам Янкелевой и шелковых ниток, и английских иголок, и гарусу, и стеклярусу, и тесемок, и бахромок, успеют побывать и у Рашки в лавке, и поторговаться с ней насчет коленкору да ситцу, и даже сказать ей «комплемэнту» относительно ее прекрасного «дитю». Наконец паны со чады и домочадцы усаживаются в свои волки, кучер Щелкает бичом, кони трогают – и старый Янкель, вышедший провожать своих «почти-вых» гостей на ступени своей галереи, приветливо и долго «манифестует» им махающей рукой, в которой болтается его бархатная «ермулка». А в это время торг на базаре вошел уже в полный разгар.

Торги по местечкам Западного края имеют

в некотором роде свое историческое значение. Многие из них ведут свое начало еще от тех «старожитных» дней, когда Витольд, развивая торговлю Литовского княжества, жаловал свои города и местечки магдебургским правом, которое давало привилегии на торги, ярмарки и представляло жителям иметь свои определенные меры и весы. От этого-то, между прочим, и произошла впоследствии весьма разнообразная и для непосвященного человека спутанная система мер, где свободно господствуют все эти «локты литевски», «локты ко-ронны», «танки», «корцы», «каранки», «лахурки» и проч. В XVII веке многие магнаты, владевшие целыми городами и местечками, выпрашивали магдебургские привилегии и для своих «маентков». Таким образом, в этой стране развитие торговых пунктов шло путем чисто административным. Владельцы, получая в свою пользу известную подать с торгов и базаров, конечно, находили для себя наибольшее их распространение; но еще более выгодным находили это дело евреи, которые, издавна захватив в свои руки всю торговлю, охотно платили владельцам извест-

ный «податок» за безграничное право высасывать в свою пользу все жизненные соки и силы страны. Чрезмерное и чисто паразитное развитие в государстве шляхты, считавшей унижением, «для гонору свего», занятие торговлей и промышленностью и, в силу этого, предпочитавшей лакействовать и лизоблудничать у патрон-ствующих магнатов, и потом вечные внутренние неурядицы лишили средние сословия страны, т. е. мещанство, всякой инициативы, всякой производительной деятельности, сделали его инертным и вполне ничтожным. Каждый мещанин и ныне любит воображать себя «родовитым шляхцицем», а в былые времена он всячески стремился пробиться в шляхту, выслужить себе у какого-нибудь магната «пршигэрбованья до гэрбу егомосци». Поэтому государству пришлось создавать среднее сословие искусственно, административными мерами. Королевское правительство поощряло эмиграцию из Германии, даже заманивало ее и для того наделяло города магдебургским правом. Вследствие этого мы видим и по сей день, что громадное большинство ремесленников в Варшаве и вообще

в городах Польши и Литвы – все ополчившиеся немцы. В равной же мере правительственная власть покровительствовала и евреям, которые после германских гонений, обрета здесь в некотором роде новую Палестину, переселялись в нее целыми тучами и наконец, как саранча, покрыли собою весь громадный край. С захватом всей торговли и промышленности в еврейские руки рынки весьма скоро потеряли то благотворное значение для общества, какое они всегда имеют в государствах, органически и правильно развивающихся из себя свои экономические силы и не подверженных таким паразитным, чужеродным наростам, каким в старой Польше было еврейство. Базарные площади облепились со всех сторон гостеприимными шинками, куда евреи всячески заманивали крестьян, приезжавших на торг, и где слабодушный хлоп нередко пропивал последнюю копейку, как и ныне пропивает ее. Базары сделались благодаря шинкам да корчмам притонами разгула, пьянства и нравственного растления. Благополучие крестьян чахло, гибло и пришло наконец к тому, что в настоящее время, когда

крестьянин стал свободным землевладельцем, земля его, принадлежащая ему de jure, на самом-то деле принадлежит корчмарю-еврею, ибо нет почти такого крестьянина, который не состоял бы в неоплатном и вечном долгу этому корчмарю своей деревни. Евреи веками высасывали крестьянские пот и кровь, веками обогащались за счет хлопского труда и хозяйства. Такой порядок вещей давно уже породил в высшей степени напряжение, ненормальное состояние, продолжающееся и по сей день и отразившееся инерцией и вредом на все классы производителей. Довольно будет, если мы для более наглядного примера скажем, что в 1817 году на 655 ярмарочных и торговых мест одной лишь Гродненской губернии было 14 000 шинков и корчем, содержимых исключительно евреями, стало быть, более чем по 12 на каждое место! Четырнадцать тысяч кабаков в стране, которая имеет всего лишь около 6000 разного рода поселений – местечек, деревень, усадеб, фольварков и т. п. [10].

Толпы наезжих крестьян от церковной ограды бредут себе на базарную площадь, ко-

горя тесновато-таки облепилась возами: тут привезли на продажу дрова и сено, смолу и деготь, зерновой хлеб, пеньку и лен, конопляное семя, масло и мед. Праздничный люд, как в лабиринте, пробирается между оглоблями и колесами, между жующими волами и лошадиными мордами. Неспешно, бредя нога за ногу, похаживает себе этот люд по базару, останавливая рассеянное внимание на том или другом товаре и группируясь более вокруг некоторых предметов. Девчат больше всего тянет туда, на край площади, где из раскрытых дверей лавки ярко пестреет выставленный напоказ красный товар, где развеваются пунцовые да синие ситцевые платки, длинные красно-зеленые шерстяные пояса да туго проклеенные пестрые ленты; бабы же адресуют себя больше все к хозяйственной части и кучатся на середине базара, в том месте, где на подостланной соломе разложены по земле глиняные кувшины, горшки, глечики и миски с «поливой» и без нее, где целой горой наставлены одни на другие разнокалиберные ведра, бочонки, балейки да кадушки, которые бьют в глаза своим новеньким, чи-

стенным бледно-планшевым цветом и свежо пахнут дубовым деревом. Молодые парни, так же как и девки, не прочь помыслить насчет соблазнительного щегольства и потому рассматривают и пробуют на ощупь, хорошо ли качество товара, из которого стачены те длинные, смазные чеботы, что целым рядом развесил на жерди швец-еврей. Иной парень кроме ощупывания еще с наслаждением понюхает эти чеботы и скажет при сем: «Аи, Добре жюхтом пахнуть!.. Яй-богу!.. Ось, падзивицисе!» – и даст понюхать близстоящим товарищам. Понюхает один, понюхает и другой, и одобрительно махнут головами, а третий скажет: «А дай жаж, брацику, и мне панюхац!» – и тоже протянет руку к чеботам. Но в равной степени с чеботами внимание «дзецюков» привлекает и та башня суконных картузов, которые, напялив один на другой, с большою осторожностью и почти на балансе носит по базару еврей-шапочник. Картузы такие хорошие, синие, и черные, и темно-зеленые, и все с такими блестящими, лакированными козырьками, и все такие «городские». И вот «дзецюк» никак не может отка-

зять себе в удовольствии примерить на собственную голову подходящий картузок; но надеть его на себя ухарски, как-нибудь эдак ловко и красиво, набекрень, наш неуклюжий, добродушно простоватый «дзецюк» никак не сумеет: он напялит себе картуз на самые уши, от загривка до бровей, и, оскалая самодовольно-доброй улыбкой свои белые зубы, повернется к товарищам и спросит:

– А што, панове-браще, чи ладна?

– Авже ж! – одобрительно мотнут те головами. – Картузок добры! Як у нашего оконома!

– Сшами окономически картуз! Сшами паньски и даже охвицирски! – выхваливает еврей, приятно и завлекательно вертя другой из подобных же картузов на указательном пальце своей свободной руки.

Степенные мужики-хозяева, «папы-господаржи» подобным «глупством» не прельщаются. Они трутся преимущественно около товаров положительного свойства. Один оглядывает сметливо-внимательным и несколько завистливым взглядом молодого, пестрого бычка, выведенного на продажу, который, будучи привязан за рожки к возу, глупо расста-

вил ноги и безучастно взирает на весь мир Божий своими спокойными агатовыми глазами.

– От, кабы мне такой, – причмокнув языком, мечтательно говорит господарж. – Каб только гроши, дак бы й пакупид од разу!

Но увы! Грошей-то и нет у мечтающего господаржа... Другие степенные хлопы присматриваются к сошникам, саням и повозкам, прикидывают на руку серпы да заступы, пробуют большим заскорузлым в работе пальцем степень заостренности железных кос.

Какие-то молодые паничи, в венгерках, в смушковых шапках, в длинных повстанских бутах, или «штыфлях», подпоясанные широкими лакированными поясами, с арапниками да с нагайками в руках, развязно похаживают своей компанией по базару в сопровождении услужливого еврея-фактора – ибо паничам неприлично ходить по торгу без фактора, который для того, чтоб! наибольшим образом выразить перед ними все свое усерднейшее и высокое почтение, ходит за ними все время без шапки. Паничи рассматривают молодых, смазливепьких крестьянок, отпуская на их

счет пикантные замечания и шутки, рассматривают и лошадок, прицениваются к ним, подбодряя их иногда горячим ударом нагайки, причем лошадка норовисто вздернет кверху мордой и тропотнет задними ногами. А иногда подобного же свойства приветливый удар, шутки ради, попадает и в спину фактора или хлопа, зазевавшихся на пути молодых паничей; но фактор принимает этот милостивый удар как особый знак «велькей ласки паньськей», а хлопок за тычком не гонится, и потому, обернувшись только в сторону удара, чтобы полюбопытствовать, откуда досталось ему такое неожиданное благополучие, он торопливо сдернет со своей покорной головы «чапечку» и апатично, без всякой злобы, потрет себе ладонью поясницу.

Часть 2

Разные свислочские «обывацельки» и шляхтянки хлопотливо шмыгают по базару и прицениваются ко всевозможным хозяйственным продуктам, смакуя опытным языком коровье масло и мед. Стрелки-полесовщички с неизменными барсучьими ягдташами через плечо, в ременных поясах, унизированных оловянными и медными солдатскими пуговицами, бродят по площади и продают убитую серну или пару зайцев – трофеи собственной охоты. Сельские старосты, сотские, волостные старшины, одетые попримуднее и почище остальной серой публики, без всякой цели фланируют тут же с кнутиками и дубинками в руках, которые являются у них как бы обычным атрибутом власти предержавшей. Эти «сельские власти» держат себя очень солидно, степенно, с чувством сознания собственного достоинства и отнюдь никого не награждают, подобно паничам, ударами своих «кийков» и кнутиков. Но более всего, по всевозможным направлениям, во все концы и во все стороны снуют и шныряют жида,

жидовки, жиденята, и все куда-то и зачем-то торопятся, все хлопочут, ругаются, галдят и вообще высказывают самую юркую, лихорадочную деятельность. Они стараются теперь перекупить все то, чего не удалось им захватить в свои руки с бою на аванпостах. Но главные усилия братии израилевых направлены на дрова, на хлеб зерновой, на сено, т. е. на такие все предметы, на которые, в случае большого захвата оных в еврейские руки, можно будет тотчас же повысить цену по собственному своему произволу. Некоторые жидовки и здесь занимаются «гадлом»: если вы увидите в корзинах дурно выпеченные, сероватые, посыпанные маком или чернушкой лепешки, коржики и бублики, то знайте, что продает их, наверное, какая-нибудь почтенная мадам Сорга; если обоняние ваше поразит несущийся из грязного ведра острый запах селедки или увидите вы разложенные по земле гирляндой вплетенные в соломенное кружево головки цибулек, то можете быть уверены, что и эти ароматические товары составляют предмет торговли разных «мадамов».

Над площадью стоит сплошной гул и гомон: бычачий рев и мычание телят, свиное хрюканье и поросячий визг, ржание лошадей, гусиный гогот и разноголосый говор людей – все это сливается воедино, составляя необходимый, всеоживляющий аккомпанемент этой пестрой, подвижной, праздничной картины. Но надо всем этим гомоном и гулом царит все-таки единственный и неподражаемый базарный гвалт и галлас иудейский.

На самой середине площади, под каменным обелиском, отмеживали себе место уланы: тут их душ тридцать-сорок толпится постоянно; одни понаехали из «взводов» за приемом фуража, другие же, «свислочские», повысыпали на площадь ради праздника и базара. Посреди этой группы, на тщательно подметенном месте, возвышается копна золотистого овса. Уланики ходят по базару и, где увидят крестьянина с овсом, предлагают ему продать товар «на царскую службу», но крестьяне и сами охотно везут свои мешки под золоченый шар свислочского обелиска, если только им удалось благополучно избежать еврейских покушений. Под этим обелиском,

наверное, присутствуют эскадронный и взводные вахмистры, одетые в куцые кавалерийские полушубки, у которых, однако, вся грудь, обшлага, карманы и полы щегольски выложены узорчатым сафьяном красного и зеленого цвета. Уж это у них первое дело – скопить себе из зарбочих и присылочных из дому денег на «партикулярный», франтовский полушубок, по борту которого непременно болтается томпаковая цепочка от часов. Взводные со своими ефрейторами и подручными приехали за фуражом, а эскадронный помогает фуражмейстеру торговать. Тут же присутствуют от нечего делать и эскадронный писарь, и эскадронный квартирмейстер – в некотором роде все щеголи и аристократы, и все между собой «на политике», т. е. не иначе как на «вы».

Но замечательнее всех между ними фуражмейстер Мызников. Он все время стоит себе, опершись спиною на обелиск и нахохлившись да завернувшись по уши в шинель, которая на нем в этих случаях вечно внакидку, равнодушно и флегматически посасывает свою коротенькую «носогрейку».

Трудно себе представить что-нибудь более невозмутимое, чем этот длинноногий крепыш Мызников. Эта глубокая, сосредоточенная невозмутимость проглядывается у него в каждом слове, в каждом взгляде, в малейшем движении, в посасывании трубочки, даже в самой манере – изредка сплевывать во время курения слюну. Перед Мызниковым стоит столик, на столике замкнутая шкатулка и записная книжка с обгрызанным карандашиком, а в шкатулке десятка на два рублей наменянных медяков. Мызников с крестьянином не разговаривает, даже не торгуется, а просто взглянет на овес, пересыплет его из горсти в горсть и по виду безошибочно определит качество и цену – и цена у него всегда будет обоюдно безобидная. А заартачится крестьянин, Мызников кратко предложит ему отправиться к жидам, и опомнившийся: хлоп сразу же догадывается, что артачиться не расчет, потому – цена подходящая, которой жида никак не дадут, – и торг заключается сразу. Овес отмеривается не жидовской, а казенной, штампованной меркой, на трезвые глаза, причем сам крестьянин с помощью солда-

тика и ссыпает его в кучу, а Мызников в это время молча, про себя, считает количество мерок и никогда не ошибается, потому никогда ничем отнюдь не развлекает в эти минуты своего сосредоточенного внимания. Кончили ссыпку – Мызников неторопливо достает из кожаной мошонки ключик, аккуратно отмыкает шкатулку, еще аккуратнее отсчитывает деньги и молча отдает их крестьянину; затем берет свою книжку и отмечает в ней что-то. Что? – уж это одному лишь Богу да Мызникову известно, потому человек он неграмотный, но у него свои, собственные какие-то иероглифы, с помощью которых он записывает количество четвертей овса и сумму уплаченных денег, и всегда, как ни поверяли Мызникова, расчет у него оказывался математически точен до последнего полугарнца, до последней четверти копейки!

К двум часам пополудни базарная площадь все более и более пустеет. Те мужики, что поисправнее, торопятся, продавши свои продукты, поскорее убраться «до дому», минуя шинковые соблазны. Это те, которые памятуя себе мудрую пословицу «Хто корчму

мынае, той счасцье знае»; большинство же, которое эту поговорку переиначивает так, что «хто корчму мынае, той счасцья не заие», прибавляя к сему еще, что «за свой грош вьезде харош», отправляется «до гульбы» под сень гостеприимных шинков. А там уже к этой поро тесновато-таки становится. «Гуляют» в корчме и мужчины, и бабы, и девки, и даже дети, едва достигшие двенадцати лет. Это непомерное употребление водки с такого раннего возраста служит, между прочим, едва ли не одною из главнейших причин слабосилия, вялости, преждевременного старчества и того зелено-бледного, чахлого цвета лица, который служит характеристическим признаком, отличающим крестьян Западного края. К этой страсти, без сомнения, приучили здешний народ посредством вековых усилий и стараний все те же благодетели рода человеческого – евреи, плодящие и множащие без числа кабаки и корчмы.

Загляните во внутренность любой корчмы в базарный день – и вы увидите приблизительно следующую картину: довольно обширная комната, где налево от входа высится

большая и широкая печь, – комната с глиняным, сырым полом, с грязными, но некогда белеными стенами, по которым тянутся лавки и столы, заключает в себе от пятидесяти до ста человек народу – словом, столько, сколько может вместиться в ней, за исключением некоторого пространства посередине, уделенного для танцев. Впрочем, летом чаще танцуют на дворе или на улице перед корчмою. Крепкий запах сивушного полугара, смешанный с тютюновым дымом, сразу ошибает обоняние входящего. Жид-корчмарь и его супруга, и его подростки, и его «наймытка» усердно разливают по крючкам водку, по гарнцам пиво и торопливо огребают крестьянские «гроши». Еврей даже вспотел от усердия и заботы.

Порыжелая ермолка его сдвинулась на затылок, мокрые прядки волос липнут ко лбу; лицо его бледно, брови наморщены, глаза горят лихорадочным огнем, и на всем лице написано алчно озабоченное опасение, как бы скорее удовлетворить побольше народу, заграбастать побольше денег и – главное – не просчитаться в этой кутерьме и суматохе. Главное – не просчитаться ни на один грош,

ни на четверть копейки! Та же самая забота, только еще гораздо нервнее, выражается на лице еврейки-супруги, строго покрикивающей на сбившуюся с ног свою наймытку. Взгляните на жиденятюк – и они до поразительности верно напомним вам ту известную картину, на которой изображено семейство лисицы, принесшей в свое логово лакомую курицу. Ни дать ни взять – те нее самые маленькие лисенята, бессознательный, врожденный инстинкт которых почуял запах крови и свежего мяса.

В глубине комнаты, в переднем углу, помещаются музыканты. Это – большею частью бродячие евреи. Сухощавый старик, с совиными глазами, в круглых медных очках, барабанит молоточками на цимбалах. Его изжелта-сухие, узловатые и крючковатые пальцы с нервной силой пробегают по струнам инструмента. Кудластый кроваво губый еврей среднего возраста закидывает голову, зажмуривая глаза и плавно покачиваясь всем корпусом, с увлечением истинного «артыста», разливно наяривает и взвизгивает на убогой скрипице. Это так называемый «скрипак». Третий ев-

рейчик, длинный чахоточный юноша, гудит на бубне, и, наконец, четвертый, совсем еще ребенок, с голодными и робкими глазами, ударяет железной палочкой в металлический треугольник. В простые дни по корчмам не бывает музыки; вы можете встретить ее только на киермаше, или в дни базарные. Эти странствующие артисты избирают себе для своего промысла известный район какой-либо местности и перекочевывают из местечка в местечко, принаравливаясь попасть в каждое к его базарному дню.

Мужики пьют, сидя за столом, и ведут при этом длинные беседы друг с другом, широко облокотясь и подпирая головы руками. На их лицах вы очень и очень редко встретите выражение веселости. Они пьют как-то мрачно, флегматически, вяло, но много (если хватит «грошей»), и все посасывают свой тютюнок, балакая друг с другом. Напившись, любят жаловаться на «недолю», на «горкое жицьё» и часто распускают нюни, плачут, лобызаются – «дайжа ж буси (губы), маспане!» – иногда и посчитаются между собой, но никогда почти не дерутся. Это – народ смиренный и кроткий,

и в самом веселье его вечно есть что-то подавляющее, какой-то внутренний тяжелый камень. Молодицы и бабы гораздо бойче. Они не садятся, а стоя кучатся по комнате, пьют с ужимкой, морщатся, улыбаются и ведут между собой громкие, звонкие и хотя бессвязные, но очень оживленные разговоры. Бабы зазорнее мужиков, и потому иногда случается, что одна тетка сдернет с головы другой «очипок», или «чапец», а та, как кошка, азартно вцепится в волосы своей супротивнице.

Молодые «дзяучаты», «маладзёхны» и «дзецюки» заводят «танку» (танцы). Обыкновенно начинают женщины, а «дзецюки» пристают уже потом.

Этих танцев немного у нашего чернорусса: «кружки», «казак» да еще «крутель».

«Кружки» нечто вроде вальса: становятся четыре, шесть, иногда восемь пар и кружатся по порядку, парень с девкой; но чаще танцуют женщины сами по себе, по недостатку охочих кавалеров. Танцующие и смотрящие подпевают в это время разные короткие куплеты, более комического характера, вроде, например, таких:

*Мужик жито продае
Да мне гроши не дае,
А я с родзями зышлася,
За цыбульку напилася,
За цыбульку та за мак
Пайшла замуж, та не так!
Иди еще такую вот песню:
Апанас волы пас,
Кацярина бычки,
Гуляй, гуляй, мила душа,
Куплю чаравички.
Ты, Андрей, не дурей –
Фартух падзярэцца!
Мне татулька яго шуу,
Штобы Янка палюбиу!*

«Казак» – пляска мужская. Обыкновенно два «дзецюка», когда сильно уж расходятся, становятся друг против друга и начинают, семеня ногами, выкидывать разные «гопаки», «выкрутасы» и «подскоки». А что касается до «крутеля», то это танец весьма мудреный и составляющий, так же как и «казак», мужское достояние. В «крутеле» сказывается элемент комический, и для того чтобы хорошо протанцевать его, надо быть очень ловким – качество, которым не всегда могут похвалиться

наши чернорусские хлопаки. Двое парней становятся насупротив друг друга и берут в руки дубинку аршина в три длиною, держась за концы ее. Вся штука состоит в том, чтобы в такт под музыку ловко и быстро перебрасывать через дубинку ноги – один правую, а другой в то же самое время левую. Это редко удается, и танец обыкновенно кончается тем, что кто-нибудь из «дзецюков» грохнется всею тушей на землю – явление, неизбежно сопровождаемое всеобщим веселым смехом и шутками.

Молодицы же и бабы, когда подопьют, тоже не прочь попеть. Собравшись в кучу, они обыкновенно затягивают все в унисон какую-нибудь бабью песню – чаще всего такую:

*Ой, тошно, не развеселюся,
Бо хлопцы ня любяць,
Ой, хлопцы ыя любядь,
Пайду й утаплюея!
Пзйду утаплюся
На зялёнам вине,
Пайду расшибуся
На мягкой пярине!*

Но веселье этих людей непродолжительно.

Оно вспыхнет на несколько мгновений в корчме, под влиянием музыки и винных паров, да там же и потухнет. Нашему чернорусу более свойственны умильные слезы да слабосильные жалобы на недолю, чем бойкая веселость, требующая известной энергии и бодрости духа.

В четыре часа на базарной площади уже пусто. Только у корчем видны еще полукошки да возы и запряженные лошаденки скучают да скучают себе, понутив мохнатые морды в ожидании, когда-то наконец выйдет из корчмы загулявшийся хозяин. Который крестьянин не успел продать на базаре свой товар, да, Боже сохрани, не убережется, чтобы с горя от неудачи не зайти в корчму, тому теперь беда неминуемая! К корчмарю тотчас же прибежит с надворья кто-нибудь из домочадцев и торопливо сообщит по-еврейски, что такой-то, мол, Опанас из Занок или Мацей из Клепачей заехали ко двору с непроданным товаром. Получив такое известие, еврей самым ласковым, самым приятельским образом встречает и пана Мацея, и пана Опанаса:

— А! Сштары пршияцёлек!.. Як сшеё-маш,

когханы?!.. Чи добре гхандловал?.. Гхаросша-го гешефту изделал?

– А, до беса! Якась там гешефта! – с досадой шваркая свой «капелюх» на стойку, говорит Мацей. – От-то лядаща гадзина!.. Добры базар! А ни славы, ни ужитку!

– Когхта ж не продал? – с участием осведомляется жид.

– Эге! Ходзь, продай чертовой мацяри!

– Бозже ж мой, Бозже, дай тебе гоже (лучше), – качая головой, усиливает жид степень своего участия.

– Гоже... Хароша угода! – ворчит аедовольный Мацей. – Спадзевалсе дастац хочь с два рубли, аж не продау ни на капейку!

– Ну, ну, не зжурисе... Над сширотою Богх с калитою! – утешает еврей. – Ты наперод выпей, а напатом будзьмы вже говориц!.. Мозже й я у тебе схочу пакипиц!

И он с крайней предупредительностью начинает цедить из бочки в жестяной крючок добрую порцию водки.

– На, пей, муй когханы, муй Мацейко!.. Ой-вай, добры ти хлопак, Мацейко!.. Я зж тебе так люблю и мне так жалко з тебе, бо ти – я

зжнаю, – ти гхароший человек! Ой, какой гхароший! Пий, пий, муй голубе! Пий сшабе з Богхом!

Мацей долго простоял на базаре и отоцал. От раннего утра, с тех самых пор как выехал из дому (из соседней деревни верст за десять) у него во рту куска хлеба не было. Мацей жадно и медленно, сквозь зубы, с наслаждением тянет поданную ему водку, а на голодный желудок алкоголь быстро оказывает свое надлежашее действие.

– А мозже ти гхочешь кушить? – осведомляется жид.

– А вжеж!.. Когдаж не хочу?

– Ну, то на, пакуший щилётке!

Мацей и селедку съест, и хлеба уберет при этом фунта два, и хмель меж тем все более забирает свою силу в голове Мацея.

– А мозже ти й пива гхочешь?

– Але!.. Давай и пива, кали ты такой щедрый! – говорит уже заплетающимся языком разлакомившийся крестьянин.

– Куший сшабе з Богхом и пиво!.. Ой, пиво здоровый штука! Кто пиво пие, той тлустие. И ти будзишь тлустый!

Когда же Мацей, вытянув пиво да покурив тютюну, окончательно уже охмелел, любезный жид говорит ему:

– Н-ну, таперичка даваймо таргавацьсе, а напатом вже изделаем рахубу (расчет).

Но Мацею уже не до торгу. Хмель шибко бродит в его голове, и он снова требует водки. Однако жид – «зжалеючи твого зждаровя» – водки Мацею больше не отпускает. Он требует, чтобы Мацей поскорей продавал ему «збожа».

– Ти слюший, ти продавай, бо тибe треба йцо егхать до дому, и ти изнов повезешь такого ценжару (тяжесть), ти сшваго киняку завшем патамишь!

Мацей после долгих убеждений соглашается наконец продать ему «збожа» и требует за товар два рубля. Но жид приходит в ужас от сказанной цены и начинает убеждать, что таких и цен нет на торгу, да никогда и не бывало и не будет во веки веков, «бо насши до того не допуштят», что оттого-то он и не нашел покупателя, что базар уже кончился и потому надо продавать дешевле.

– Когхда гхочишь, то я тебе буду давац

п'ят злоты – сшемдзешют п'ят кипейкув! И венцей ниц!

– Н-не можна! – упрямо мотая голивой, мелет языком Мацей.

– Н-ну, и сшто таково не мозжна!.. Н-ну, гхарашьо! Я добры человек и мене очинь з тебе зжалко и для того я тебе сгхочу маленький придатек изделац, каб ти зжнал, якой я добры, каб ти и сшвоим дзетям сшказал, якой Мойша Шульберх есть добры! Ну, для того я тебе дам ищо двох кипейкув.

– Н-не можна! – упрямится Мацей. – Два рубля!

– Не мозжна?.. Ах, ти, сшволачь ти, сшволачь! Я зж тебе кирмил, я зж тебе паиль и з вудкей, и з пивом, а ти «не мозжна»! Ну, так я зж тебе буду показать, сшто таково мене мозжна! – входит в азарт Мойша Шульберг. – Ти, може, мисшлял, сшто ти даром у мене кушил? Подавай деньгув!

Если в корчме мало народа и за Мацея вступиться некому, то Мойша Шульберг с супругой и домочадцами насядут на него с гвалтом, обвинят «в разбойстве, в мишельничестве», отберут Мацеево жито, вытолкают его

за дверь, и ищи с них где хочешь! Но если Мацей податлив и согласится продать товар за цену, предлагаемую Мойшей, то Мойша в благодарность нальет ему еще килишек водки в виде «магарыча», потом сделает с ним «рахубу», в которой выведет и за хлеб, и за следку, и за водку с пивом, вычтет за все это золотых около двух, остальные же деньги вручит Мацею, с поклоном проводит его за двери, сам поможет ему взобраться на воз, сам проводит за ворота Мацееву коняку и скажет: «Дай Бозже пуць! До видзеню, пршияцелю!»

Так-то обрабатываются и все почти дела у всех этих Мацеев со всеми Мойшами Шульбергами.

* * *

Свечерело, базарный день кончился – и Свислочь до следующего воскресенья опустела и погрузилась в обычное затишье. В кое-каких оконцах зажглись как-то грустно мигающие огоньки. Даль окуталась холодным туманом. По Брестской улице изредка проезжают последние уже повозки с наиболее запоздавшими и потому наиболее хмельными хлопками, которые направляются в Гренки или в

Занки. Верные, хотя и голодные, Серки и Рябки понуро тянутся за своими хозяевами.

Что это за протяжные, томительные стоны раздаются из этих удаляющихся полугошиков?

То хмельной чернорусс затянул свою обычную песню...

*Ой, сирочия слезы дармо не минаюць,
Ой, як падуц на бел камень – камень прабываюць, –*

стонет и воет он монотонно и долго, лежа на дне полуконшка, – и этому человеческому вою как бы вторит доносящееся издали завывание спущенных на ночь собак. И все эти звуки вместе с надвигающейся мглой холодного вечера, с грустными огоньками, с понурой конякой и понурым Серком невольно веют на душу невыразимой тоской...

По поводу либеральных приветствий

Был у меня знакомый «россиян мойжешового вызианья», т. е., попросту говоря, еврей, по имени Ицко Мыш. Мы познакомились с

ним во время длинной и скучной зимней стоянки в одном из местечек, которые, по цифре преобладающего населения, так уж и называются испокон веку «жидовскими».

Ицко Мыш был женат на * мадам", которая могла читать «французскова кнышку», и потому почитал себя человеком «цы-булизованным». Он очень любил читать газеты и следить за «па-лытика». Говорить о политике – было первое наслаждение, первая страсть реб Ицко Мыша, и нельзя было доставить ему большего наслаждения, как если пуститься с ним в длинные и пространные разговоры по этому предмету, причем почтенный реб весьма был склонен делать философские выводы. Вообще, реб Ицко Мыш – и по складу ума своего, и по складу своей жизни – был немножко философ, и даже с эпикурейским оттенком, в чем иногда под веселую руку проговаривался и пред нами. Но отнюдь никогда не решился бы он признаться, даже малейшим намеком, пред достаточными старозаконными отцами местного кагала в своем свободомыслящем отношении к эпикурейскому началу сей брешенной юдоли!.. Из этого следует, что Ицко

Мыш, нося почтенный титул «реб», был все-таки либерал, «дыплиомата и палытик».

* * *

Это было во время франко-прусской войны.

Бывало, шатаючись от скуки по местечку, зайдешь к Мышу в «бакалейна ляфка». Реб тотчас же предложит « гхамбургхске щигарке» и попросит потолковать с ним на досуге.

– Н-ну, а и сшто на палытика слитно? – начинает он после первых расспросов о здоровье и т. п.

– Да что, ничего особенного! – пожмешь ему в ответ плечами. – Все по-прежнему.

– По перезжнему?.. Пфсс!.. Кепське (плохо)! Н-ну, а сшто, францо-оз из пруссом усе бьютсе?

– Бьются, почтенный реб, бьются.

– Пфсс!.. И скажить спизжалуста, с чегхо этое усе они бьютсе?

– Известное дело, война...

– Вайна-а?.. Так. Н-ио сшто это такогхо есть вайна? А?.. Ви как понимаетю? Типерь ви будите мне в розжа, я буду вам в морда – гхаросший перадок? Га?

– Да уж какой же порядок!..

– Ага!.. И сшами ви зжнаитю, сшто никакой перадок, – н-ну, от-то само и есть вайна!

И реб, необыкновенно довольный своим «фылозовским» выводом, начинает усиленно раскуривать и с наслаждением смаковать «свогхо гхамбургхске цигарке».

– Н-ну, а ви слышали! – таинственно и значительно начинает он после минуты самодовольного и глубокомысленного молчания, поправив на голове своей порыжелую бархатную ермолку.

– Про что это, почтенный реб?

– Гхамбетт.

– Про Гамбетту?

– Так. Про Гхамбетт.

– Что ж такого?

– З насших! – говорит он, плутовато подмигивая.

– Кто?

– Але зжь Гхамбетт!

– Как! Гамбетта из ваших?! Не может быть!

– З насших! – горячо и с видом глубочайшего убеждения уверяет, бия себя в грудь, Ицко Мыш.

– Полноте, реб! Не может быть!

– Н-ну, и сшто такогхо не можжна бить!

Сшто ви мене гхаворитю, когхда про то взже у Липську (в Лейпциге) на гизету написано! З насших!.. Дали-бухг, з насших!!! Шпаньски ззраэлит! От гхто есть васш Гхамбетт!..

– Не смею спорить. Впрочем, что ж, это должно льстить вашему национальному самолюбию.

Солидный реб чуть-чуть приподымает с головы свою ермолку и, слегка качнувшись корпусом вперед, изображает нечто вроде самодовольного поклона.

Очевидно, в душе он необычайно доволен тем, что Гамбетта оказывается «з насших».

– Так, так! – вздыхает Мыш. – Дыктатор! Додумайтю – дыктатор и удругх з насших!.. Чито било накогхда од Маковэюв?

Га?.. Дыктатор!!! То-то есть девятнастый век!! ПрегхрессГ.. Понимаютю? Га?

– Как не понять! Понятно...

– Н-ну, ви понимаетю, и я понимаю, бо ми з вами цыбулизованы люди... Так?

– Должно быть, так, реб Мыш.

– Н-ну, то я взже вам гхавору, сшто то есть

так! – заключает Ицко авторитетным и безапелляционным тоном и снова принимается с глубокомысленно-сосредоточенным и наслаждающимся видом сосать свою «щигарке».

– Н-ну, а ви слышали, – начинает он снова, как бы собравшись с мыслями, – Кремер?

– Что такое Кремер?

– Минисштр од юстыцию.

– Ах, то есть Кремле, хотите вы сказать?

– Н-нет!.. Який там Крамье!.. То егхо так францо-озы называют, алежь он не Крамье, а Кремер, и то – так самозж, як и про Гхамбетт – есть у Липську на гизету написано! То важе верно!..

– Не смею спорить... Ну, так что же этот Кремер?

– З насших!! – с гордостью воскликнул реб Мыш.

– И этот из ваших?!

– З насших!.. Дали-бутх, з насших!

– Что ж, и этим открытием, полагаю, вы должны быть довольны.

– О!.. Ми взже отчин, отчин давольны!.. Н-но зжвините! – слегка дотрагивается реб

Мыш до пуговицы моего пальто. – Сшлихали ви про энгираль Абель Дуэ?

– Оболдуев? – переспрашиваю я, не уразумев хорошенько названного имени.

– Н-нет! Який там Абылдуев, – махает руками Мыш, – што это есть такогхо Абылдуев?! Абылдуев – пфэ!.. Я вам гхавору не пра Абылдуев, а пра Абель Дуэ. Дуэ – энгираль, начельник од францозски дывизью!

– Ах, это вы про Дуэ говорите! – домекнулся я, вспомнив про героя, погибшего славной смертью в бою с пруссаками.

– Так, так, про энгираль Дуэ! – кивает мне обрадованный Мыш, будучи весьма доволен тем, что наконец-то его поняли.

– Ну, так что же Дуэ? – спрашиваю его.

– З насших!!! – торжественно вскочив с места и даже приподняв над головою ермолку, воскликнул мой добрый философ.

– Да, этот действительно из евреев, – согласился я, вспомнив, что о происхождении знаменитого генерала было где-то оповещено в газетах.

– Ага!.. Ага! – обрадовался реб Мыш. – Ага! Типерь ви сшами гхаворитго, што з насших!

Н-ну, и додумайтү эж!.. Додумайтү, прасшү вас!

– О чем же додумать мне, почтенный реб? – вопрошаю я Мыша.

– Мм... додумайтү, – приложив глубоко-мысленно палец ко лбу, начал мне мой философ, – додумайтү, сшто з одного сштарана энгирал, а з другшого сштарана – з насших... «Энгирал з насших!..» Ага?! Сшто это есть такогхо? Додумайтү!

– Ну, что же, дослужился – потому и генерал.

– Н-нет, эжвините! Досплюзжилсе!.. Ви мне скажит: накохгда у нас в России реб Ицко Мыш будет энгирал?.. Га?.. Накохгда этое будет?

– Ну, уж это-то едва ли будет, – усмехнулся я, озадаченный таким неожиданным исходом нашего разговора.

– Ага! – подхватил мой философ. – Ага! Ви сшами гхаворитү, сшто никагхда!.. А сшто этое одзначае?.. Н-ну?.. Этое одзначае, – тотчас же пояснил он, расставя два пальца левой руки и методически указывая на них указательным пальцем правой, – этое одзначае, сшто то

есть цыбулизована сштрапа, а от-то – барбарыйськи нравы!.. Зжвините!

* * *

Этот разговор с реб Ицеком Мышем невольно припомнился мне по поводу той радости, с которой некоторые петербургские либеральные газетчики приветствовали известие, что семинаристы и евреи, удостоенные аттестата зрелости, будут производиться у нас в офицеры не более как через полгода службы в рядах нашей армии.

Почему же и нет? Счастливые исключения всегда и везде бывают. Для этих исключений требуется только прирожденное призвание, способность, талант к военному делу, и коль скоро есть талант, есть призвание, то настоящий офицер выйдет не только из семинариста, но даже и из моего реб Ицека Мыта. Но для этого надо родиться, то есть быть счастливым исключением, и при таком условии полугодовой срок службы, конечно, принесет человеку свою существенную пользу, как будущему офицеру, тем более что прирожденный солдат не ограничится для своей службы одним только законодопускаемым полугодо-

вым сроком, а, наверное, станет продолжать ее и далее как свое наиболее любимое дело, быть может даже до конца своей жизни, и при дальнейшем прохождении службы успеет исподволь познакомиться со всеми ее условиями и требованиями в такой мере, что из него года через два действительно выйдет знающий, опытный и полезный офицер.

Солдатскому делу (в смысле рядового солдата) научиться в полгода, конечно, можно, и даже очень хорошо, так как для этого требуется не особенно много; но офицерскому делу, и притом так, чтобы быть действительно полезным офицером, выучиться в полугодовой срок едва ли можно. Считаю нужным пояснить, что мы разумеем при этом не уставную часть, не пунктики, а дух службы и, главным образом, способность командовать людьми, то есть способность разумно подчинять себе, своему слову волю многих людей, и подчинять их в критическую минуту так, чтобы они шли за вами и делали то, что вы им укажете. Для этого, повторяю, прежде всего надо, чтобы люди знали вас и верили в вас, в ваш опыт, в ваше знание дела, в ваш харак-

тер – словом, чтобы вы были для них авторитетом. Авторитета же во всех армиях мира достигают только старослуживые солдаты и офицеры. В полгода этого не достигнешь. И подумайте, что ж это будут за офицеры, которые, прослужив в нижних чинах только полгода, выдержат офицерский экзамен, получают право надеть эполеты и тотчас же выйдут в отставку, чтобы заняться каким-либо иным, более прибыльным делом. Понятно, что за весь короткий срок их службы у них на уме будет не офицерское, а то, более прибыльное и удобное, дело, к которому они себя готовили еще до солдатства и к которому они стремятся всею душой своей, тяготясь своим солдатством и «держа на офицера» только затем, чтобы в будущем избежать тягостей именно солдатской службы.

Наступает война, государство требует в поле свои резервы, полугодовые офицеры становятся в ряды, после того как уже много лет занимались своими частными делами – делами, не имеющими ничего общего с делом военным. Каким авторитетом будет пользоваться подобный «партикулярный» офицер между

своими солдатами, которые, без сомнения, свое солдатское дело, как дело менее сложное, будут знать (даже и после нескольких лет частной жизни) все-таки лучше, чем он свое офицерское, ибо последнее, в тех условиях, в каких стоит военная служба ныне, требует от офицера постоянной практики, требует, чтобы он твердо следил за ходом военной науки, чтобы он в сфере, отмежеванной его деятельности, всегда был на высоте тех требований, которые предъявляет офицеру постоянно развивающаяся военная наука, – иначе же он окажется вовсе непригодным к своему делу. Какое доверие в состоянии будут оказывать солдаты подобному офицеру? Повторяю еще и еще раз, что я не говорю о счастливых исключениях, которые всегда были и всегда будут возможны, но говорю о массе, о том большинстве, за которое ныне радуются либеральные газетчики.

Чтобы быть последовательными, эти господа необходимо радуются и за право наших евреев на производство в офицеры. И в самом деле, почему бы им не быть производимыми в эти чины наряду со всеми другими гражда-

нами? Подумайте только: мусульманские иноверцы у нас производятся; отчего же, в качестве иноверцев, не быть производимым и евреям? Отчего бы, в самом деле, и реб Ицке Мышу не быть энгиралом?

Газетчики не должны находить к этому никаких существенных препятствий. Гражданские права евреев сравнены почти во всем с остальными сословиями государства, общую воинскую повинность несут они наряду со всеми, общеобразовательные заведения для них уже давно открыты, – словом, газетчикам не остается желать ничего, как только чтобы реб Ицко Мыш поскорей был у нас энгиралом, – тем более что производство Ицки Мыша в этот чин подвигнет нас на пути либерального прогресса и лишит Ицку права делать сравнение между «цыбулизованной» страной и нашими «барбарыйскими» нравами. Его превосходительство генерал-майор реб Ицко Мыш – это должно составлять верх желаний либеральных газетчиков, их конечный идеал, если только они захотят оставаться последовательными и логически верными самим себе.

Представьте, однако, себе реб Ицку Мыша не в генеральских пока еще, а просто в офицерских чинах. Представьте себе его хотя бы в качестве эскадронного командира. Вообразите его на борзом коне (если только Ицко решится взять под свое седло борзого) пред лихим эскадроном (если только у такого командира эскадрон будет лихим), в то время когда майор Мыш по сигналу «рысью размашистою» скомандует своей части:

– Шкадро-он, равнению у право, из рисом ма-арс!..

Или например:

– Шкадрон, из права на одногхо, з рубком, з пупком, з фланкировкой, в барьер на карьер марс-марс!

А каков реб Ицко Мыш будет в бою в момент атаки – этого даже и вообразить себе невозможно! Зато очень возможно представить себе, что он будет в мирное время и какой «гандель», какие такие «гешефты», какую «кимерцию» будет извлекать из своего эскадрона, из своих гарнцев овса и пудов сена, и что за лихой вахмистр будет у Ицки Мыта!.. Можно держать сто против одного, что этот

вахмистр будет называться Иоськой Беренштамом и во всех «гандлах» и «гешефтах» окажется правой рукой своего достойного и храброго командира. А как хорошо будет жить русскому солдату под управлением Мыша и Беренштама!..

Впрочем, что ж!.. Либеральные газетчики в этом случае могут сослаться на пример Европы и либерально приветствовать Идеков в роли наших военачальников. Подождем и поглядим, – быть может, и это случится.

* * *

Но нет, серьезно говоря, насколько могут быть желательны, не говоря уже об Мышах, а просто «партикулярные», полугодовые офицеры в рядах нашей армии? И что эта армия станет с ними делать? Не лучше ли, прежде чем либерально приветствовать слух о «новых правах» наших семинаристов и «зрелых» евреев, подумать о том, чтобы русская армия была вполне и на всякое время обеспечена корпусом вполне знающих, способных и ответственных своему назначению офицеров? Не лучше ли подумать о том, каким образом удержать их в рядах армии, каким образом

обеспечить положение офицера и нравственно, и материально так, чтобы мало-мальски способный человек не бежал при первой возможности из армии в службу по акцизу, по контролю или по железным дорогам? Общая воинская повинность, бесспорно, прекрасная государственная мера в рассуждении солдатского звания, как звания легче усвояемого и требующего несравненно меньшей подготовки, чем должность офицерская. Но «полугодовые» офицеры... Прежде чем либерально приветствовать такой слух, газетчикам, если они не Ицки Мыши, а русские люди, не мешало бы серьезно подумать о последствиях, какие могут произойти для русской армии от таких опытных руководителей.

III. На траве

1. Веселый поход

Весенний кампамент кончился. Июнь пришел на смену маю. Эскадроны из полкового сбора расходятся «на траву». «Трава» – это кавалерийские каникулы. С «травой» начинается «вальготное» летнее время и людям, и коням. И те, и другие в течение шести недель, а иногда и целых двух месяцев отдыхают от фронтальной службы весеннего сбора: не нужно надевать на себя никакой сбруи – ни мундиров, ни шапок, ни амуниции, – знай себе одно только дело: уборку коня да через день ступай в луга косить сено. День косьбы и день отдыха, а за косьбу – и лучший кусок мяса, и лишняя чарка водки. Кони в это время раскорманы и овса уже не получают, а едят одну свежую траву, которая необходима для них в гигиеническом отношении как кровоочистительное средство, после чего, с переходом на овес, лошадь становится бодрее и лучше возьмет настоящее, прочное тело, которое у кавалерийца

леристов называется «овсяным» телом в отличие от дутого и непрочного «сенного».

С вечера принесли приказ по полку. Что там такое? Читаем: «С окончанием весеннего полкового сбора, предписываю с завтрашнего числа эскадронам выступить на травяное довольствие в места их расположения».

– Прекрасно. Степан! Взводный был?

– Заходил, ваше благородие. Сказывал, что майор приказали в семь часов утра выступить.

– У тебя вещи уложены?

– Все готово-с. По утречку подвода выедет... я уж распорядимшись.

* * *

Утро свежее, погожее. День будет жаркий, но до места дойти успеем еще до солнцепека: придем часу в одиннадцатом.

Я вышел за город, к мосту, чтобы встретить там эскадрон и идти с них походом. На мосту уже стояла небольшая кучка наших эскадронных юнкеров и офицеров. Все в походной форме, в лядунках и при пистолетах. Одни из офицеров только проводят свои эскадроны, доставят себе маленькое удовольствие

прогулки верхом в прекрасную погоду и вернутся в город; другие, командированные полковым приказом, пойдут на траву со своими частями. Я был в числе этих последних. Тут же, около этой группы, стояли двое денщиков «с запасами».

Вот на подгородной дороге показались облака пыли, сквозь которую мелькают вороные кони, белые кители и острия пик сверкают искрами на солнце. «Наши подходят!» Эскадронный командир, красиво собрав горячего, видного коня, коротким галопом молодежато подъезжает к ним навстречу, и грохот ответного отклика на его «Здорово, люди!» бодрым и свежим звуком несется в утреннем воздухе. Эскадрон проходит мимо нас и на минутку останавливается за мостом. Рейткнехты подводят лошадей офицерам и принимают от денщиков дорожные «запасы», которые спешно и ловко привычной рукой упаковывают в свои кобуры. Вызвали песенников вперед и тронулись далее.

Дорога идет длинной аллеей и теряется за пригорком. Старые вязы, тополи, березы и рябины кидают на нее прохладную тень и тихо

шелестят росистой листвой. Офицеры вольно едут себе впереди и несколько в стороне от эскадрона, стараясь под широкими и кудрявыми ветвями доставить своим коням прохладу утренней прозрачной тени. Аромат сигары порой смешивается с запахом русской махорки, который, будучи доносим иногда легким ветерком, становится как-то особенно приятен на воздухе.

Прошли двенадцать верст незаметно. На дороге, под сенью высоких, старых деревьев, стоит одинокая белая корчма, известная под именем «Мурованка». Взглянув на нее, видно, что древняя, прочная постройка. В ее сыроватых и мрачных стенах в 1863 году пировали повстанцы, не помышляя о роковой близости генерала Ганецкого. Вот в стороне крест, на котором хотели распять казака, случайно перехваченного на дороге; только не удалось: ловкий казак как-то хитро успел увернуться и удрать на своем скакуне от крестной смерти. Здесь эскадрону сделали привал. Людям — обычная чарка водки, а офицеры с юнкерами, расположившись на земле под деревом, распаковывают свои «запасы». Походная фляга

идет вкруговую, и неизменная жареная курица кромсается на части; неизменные пирожки с капустой, словно из рога изобилия, сыплются на траву из неловко развернутого бумажного тюрика. Умный эскадронный Шарик, почуяв съестное, подбежал дробной побегжой, вежливо виляя хвостиком, и уселся тут же, умильно поглядывая на закуску и засматривая в глаза всем и каждому: неужели, мол, вы, господа офицеры, Шарика позабудете? В офицерской кучке и в солдатских группах идет какой-то, по-видимому, беспричинный, но добродушно-веселый смех и говор: погода это, что ли, действует таким образом – не знаю, только очевидно, что всем очень весело.

Солнце начинает уже печь – и как приятно теперь на несколько минут растянуться себе, заложив руки под голову, на сыроватой земле, под деревом, которое бросает на тебя свою колеблющуюся, золотисто-зеленоватую тень, а сквозь эту тень так ласково пробиваются мелкими светлыми пятнами – как сквозь сетку – лучи горячего солнца! Легко, хорошо, привольно... Голубое, глубокое небо сквозит

из-за листьев. Взор лениво и беспечно блуждает вокруг, переходя от ветвей и неба к тем полям, по которым волнуются легкими тенями еще зеленые, но уже колосистые нивы, и сквозь шепот листьев слышно, как дождем сыплются над этими нивами звуки бесчисленных жаворонков и какую тревогу бьют в траве кузнечики... Под эти звуки начинаешь будто забываться немного полудремотой, как вдруг: «Садись!» – и снова на коня, и снова пошел походом!

2. Ильяновский фольварк

Свернули с большой дороги влево и пошли проселком. Впереди засинела гора, покрытая сосновым бором. Это – Гродненская пуца зачинается. На склоне этой горы, среди леса, стоит Ильяновский фольварк, куда мы теперь направляемся. Дорога идет открытыми полями, по которым торчат высокие, покосившиеся кресты, разбросанные и там и сям, во все стороны: кое-где видны соломенные кровли убогих деревушек, кое-где возвышаются группы высоких тополей, являющиеся неизменной принадлежностью панских фольварков.

Солнце печет. За эскадроном стоит облако пыли, поднятое конскими копытами. Жара, очевидно, умаяла людей, и они примолкли. А в этой тишине сквозь мирный и однообразный конский топот еще слышнее и отчетливее рассыпаются с неба серебристые трели жаворонков, а под ногами кузнечики поднимают такой оживленный концерт, что кажется, будто это сама трава стрекочет.

Но зато после жаркой и пыльной духоты как освежительно обвеяла нас вдруг сероватая прохлада густого леса! Запотелые и запыленные кони подбодрились и зафыркали, чуть только вступили под широкую тень; между людьми тоже легкий говорок пошел – и примолкшие было песенники дружно подхватили вдруг веселую песню, которая среди частого леса раздается как-то громче, ярче, полнее.

Что за веселый этот лес Ильяновский! Характером своей растительности он несколько напоминает Беловежскую пущу, хотя, конечно, в миниатюре и гораздо беднее. Огромный, широкий и раскидистый орешник густо заслоняет нашу дорогу с обоих боков ее,

а над ним вековые дубы простирают крепкие ветки и старые грабы раскидисто сплетают в виде навеса свою ярко-зеленую, изящную и веселую зелень. Прелесть как хороша эта короткая лесная дорога!

И вдруг повеяло на нас чудным ароматом розы и жасмина. Что это за запах? Откуда он несется? Мы с двумя товарищами свернули с дороги в сторону; продираясь между хлесткими зелеными ветвями, углубились в лесную чащу, которая то и дело прерывается небольшими полянками и лужайками, каждая в несколько саженей в окружности, – и вдруг открываем в этой чаще одичалые кусты белых роз, усеянные пышными цветами, и кусты одичалого садового жасмина, на которых, как звездочки, сверкают белоснежные грозди цветов. Откуда вдруг такая роскошь среди этой глуши? Мы с коня нарвали несколько пышных пучков роз и жасминов, с которых скатывались еще редкие капли росы, и привезли их к эскадрону. Товарищи наши были приятно изумлены этим неожиданным сюрпризом.

– Где, что, как и откуда взялись такие пыш-

ные букеты? – посыпались на нас расспросы.

Эскадронный командир, который уже не первое лето стаивал в этих местах «на траве», разрешил наше недоумение: здесь некогда был обширный парк знаменитого польского графа Валицкого. Этот прекрасный парк давно уже заброшен, забыт, заглох и превратился в дикий лес, где местами сохранились еще и до наших дней одичалые кусты жасмина, роз и сирени. Если некогда возделанный парк был великолепен, судя по рассказам, то ныне этот лес с такой роскошью цветов, по моему мнению, стал еще лучше, еще прекрасней после того, как время наложило на него свою руку и щедро впустило в него столь поэтическую одичалость.

Но вот лес кончился. Поднимаемся на плавно-волнистую возвышенность, и вдруг – пред нами открывается зеркальная поверхность широкого, большого озера, которое сверкает своим серебром между кудрявыми купами деревьев. Далеко, вправо, видны над озером черепичные и соломенные кровли, башенки костела, купол и колокольня церкви; это – местечко Езёры, принадлежавшее неко-

гда тому же графу Валицкому, а ближе, налево, возвышается гора, покрытая высоким синим бором. Это уже Гродненская пуца. Березы, клены, вязы, ольха и осина спускаются к самому берегу озера, где между зеленью видны кое-какие постройки, сараи, домик; близ домика вьется белый дымок из-под ветвистого навеса, под которым устроена эскадронная кухня, а выше, на пригорке, стоит с распростертыми крыльями ветряная мельница. Мы опять вступаем под тень деревьев и поднимаемся в гору. Здесь встречают нас квартирьеры, от которых отделяется унтер-офицер и официальным шагом подходит рапортовать эскадронному командиру. Шарик узнал своих, узнал знакомые места – и потому, задрвав кверху свой крендель, бойко пускается вприпрыжку вперед, оглашая воздух веселым и звонким лаем.

Неподалеку от озера, в лесу, на полугорке, под сенью высоких сосен Гродненской пуцы, притаился одинокий йльяновский фольварк. В этом лесном убежище наш эскадрон проводит время своей «травы». Взводы тотчас же разбились по фольварковым сараям, которые

без всякого порядка разбросаны и там и сям, между лесом, но далеко один от другого. Люди устроили стойла и тут же по сараям приладили свои собственные постели.

– Теперича мы, значит, на даче! – осклабясь широкой улыбкой, с видимым удовольствием говорит Каковин, эскадронный запевала, распустив свою амуницию и расстегивая китель. – Прекрасная трава будет, братцы!

– А ты почему знаешь? – откликается ему взводный.

– Потому и знаю, что день нонича очень прекрасный: ишь, какая теплынь! И свету сколько! Уж это у меня первая примета такая – как выходить на траву, ежели день погожий, и вся трава веселая будет.

– Твоими бы устами да мед пить!

– Ну, мед не мед, а водочки, даст Бог, своими устами хватим!

Входит в сарай эскадронный вахмистр – осведомиться, хорошо ли в каждом взводе устроились люди и лошади.

– Андрею Васильевичу!.. С травой честь имеем поздравить! – летят ему навстречу приветливые голоса веселых солдат.

Офицеры вместе с майором, т. е. эскадронным командиром, располагаются по комнатам панского дома, являющегося лучшим образцом тех помещичьих обиталищ, которые в Литве и в Польше известны под характерным именем *соломенных дворцов*. Это был «правдивый палац сломяны». Низенький, деревянный, одноэтажный, с небольшими окривелыми окнами, рамы которых качаются на плоских железных петлях, с бревенчатыми балками поперек потолка, с белеными стенами и расщелистым полом, крытый соломенной кровлей дом этот служил некогда убежищем одному из самых ярких и характерных представителей «старожитной Литвы» конца прошлого столетия.

Теперь он пуст и оживает на несколько недель только летом, когда его займут под постройку наши офицеры. В соломенной кровле, поросшей темно-зеленым бархатным мхом, гнездится множество воробьев; вдоль белых стен, между переплетов, растут абрикосы; решетчатые крылечки густо увиты зеленью хмеля и дикого винограда; по этим стенам и по вьющейся зелени в солнечный пол-

день бегают шустрые ящерики, а под половицами гнездятся ужи, которые иногда сквозь широкие щели заползают и в комнаты.

Сначала такое соседство казалось не особенно приятным, но вскоре мы совсем привыкли к этим безвредным змеям.

Странное и какое-то смешанное впечатление производит этот «палац сломяны», брошенный среди леса и заглохшего парка, в южной части громадной Гродненской пущи, на берегу широкого и прекрасного озера. Поглядеть на него снаружи – низенький, одноэтажный, деревянный домишко под соломенной кровлей, построенный глаголем, и только. Кажись бы, ровно ничем не отличается от сотен тысяч подобных же шляхетских соломенных палацев, в изобилии раскинутых по всей Литве и вообще по Западному краю. Но чуть вступишь под эту убогую кровлю, тут и начинается это странное, смешанное впечатление. Внутри ряд низеньких, темноватых комнат, с маленькими окнами, с потолком, наставленным поперечных балок, с белеными стенами и некрашеным полом. Мебель сбродная, стародавняя и дубовато-крепкая, всем ха-

рактором и видом своим обличающая несомненное местное происхождение. Все серо и скудно, и ото всего веет каким-то сыровато-затхлым холодом запустения и некоторой мрачностью. Но тем сильнее, тем поразительнее действует на вас неожиданный вид драгоценных предметов самой изысканной артистической роскоши, собранных в этих бедных стенах, под этой соломенной кровлей. В углах стоят китайские боги и японские фарфоровые вазы, более чем в полтора аршина вышиной, испещренные затейливой живописью; на окнах и на простых, тесовых столах тоже красуются подобные же сосуды, несколько меньших объемов, носящие на себе клейма китайских и древних японских мастеров, рядом с произведениями королевско-саксонской и севрской фабрики. Стекланный шкаф, на котором скалит зубы чей-то желтый череп, облеченный в древний рыцарский шлем, наполнен дорогим и редким хрусталем и коллекцией дорогих яшм, аметистов, лазоревого камня, малахитов и других наиболее ценных горных пород. На стенах в старинных золоченых рамах, почерневших от времени, висят

прекрасные картины, принадлежащие кисти старых, хороших мастеров испанской и французской школы. Но, Боже мой, в каком запущении, в каком упадке все эти драгоценные коллекции! Иные картины прорваны и облуплены, хрусталь побит, некоторые вазы сломаны... Жалко и больно смотреть на эти дивные вещи, и вместе с тем становится досадно на невежественную небрежность людей, не сумевших соблюсти и сохранить их как должно. Но какой странный контраст представляют все эти предметы искусства и роскоши с этими потолочными балками, с этими бедными, низенькими стенами соломенного палаца! Странное присутствие их в этих нежилых, мрачных и скудных покоях кажется нам каким-то резким диссонансом – и невольно рождается вопрос: кому, когда, зачем и для чего пришла идея совокупить и погребсти от света все эти коллекции под неприветливой кровлей убогого домишки, одиноко брошенного среди пустыря Гродненской пуци?

Тот, кто сделал это, был в своем роде замечательным человеком, и память о нем сохра-

нилась, по преданию, еще и доселе далеко за пределами Ильяновского фольварка.

3. Авантюрист-магнат прошлого века

Это был некто Валицкий, польский шляхтич, называвший себя – правильно или неправильно – графом. Жизнь его, исполненная разных приключений, носила на себе загадочный и отчасти романтический характер. Один из замечательных авантюристов, почти современник знаменитого Калиостро, шляхтич Валицкий являл в себе некоторые типические черты своего времени.

Бедный потомок захудалого рода, он из милости получил воспитание в доме «крайчаго литевского», пана Бучинского, где выказал замечательные способности к наукам. Предание говорит, что, когда ему исполнилось восемнадцать лет, пан Бучинский, в силу «старожитного» обычая, подарил ему бричку, четверку лошадей, пару пистолетов, ружье и саблю, снабдил бельем и несколькими переменами платья, да двумя-тремя рекомендательными письмами в Вильну и в Варшаву, и закрепил за ним мальчика-казачка да кучера; за-

тем будто бы призвал его в лучшую парадную комнату своего могилевского дома и приказал гайдукам растянуть его на ковре – ибо, в качестве родовитого шляхтича, Валицкому не подобало быть растянутым на голом полу, а непременно на ковре, и не иначе как на хорошем ковре; после этого пан Бучинский, «крайчий литевский», в своем «властнем» присутствии, тоже в силу «старожитного» обычая, велел гайдукам вlepить ему, здорово живешь, «сто бизунов», т. е. плетей, собственно, не ради какого проступка, а просто на добрую память и по окончании столь назидательной операции вручил юноше сто червонцев, дозволил припасть к своей ноге, дабы почтительно облобызать ее, и пустил в подаренной бричке на все четыре стороны «в умизги до фортуны», т. е. на волокитство за счастьем. Это было в 1770 или 1771 году – и с тех пор о Валицком ни на Литве, ни в Польше не было слуху. Он исчез, как словно бы сквозь землю провалился. Но вот проходит двадцать лет, в Варшаве закипела революция – и в разгар ее в этом ветреном, но прелестном городе вдруг появляется воспитанник пана Бучинского –

но как появляется! – с несомненным состоянием в несколько миллионов и с фантастическим титулом итальянского графа! Было много толков по поводу этого титула: одни утверждали, будто Валицкий самозванец; другие доказывали, что он точно купил себе графство в каком-то итальянском владении, – но как бы то ни было, а достоверно, что король Станислав-Август лично признал за ним этот титул и возвел в кавалеры ордена Станислава 1-й степени за щедрое пожертвование значительных сумм в пользу учебных заведений. Еще более толков и подозрений возбуждало загадочное происхождение его миллионов. Говорили, будто это громадное состояние нажито карточной игрой, будто он выиграл бриллианты у королевы Марии-Антуанетты, и примешивали к этому вдобавок какое-то темное участие в истории знаменитого «ожерелья королевы». В Ильиновском фольварке стоял прислоненный к стене подрамок с огромным холстом, на котором замечательно сочной кистью изображен во весь рост Валицкий, с задумчивыми голубыми глазами, среди роскошной обстановки богатого каби-

нета. Он сидит в кресле у стола, одетый в богатый французский кафтан; пред ним стоит раскрытый ларец, наполненный драгоценностями, а в руке изображены нити крупных бриллиантов, которыми фантастический граф как будто небрежно и задумчиво играет [11]. Картина делает некоторое впечатление.

Но все эти невыгодные слухи относились исключительно к темному и безвестному периоду жизни Валицкого. С появлением же в Варшаве и уже до конца своей жизни он – как утверждают, – будучи страстным игроком, вел большую игру необыкновенно счастливо, причем, однако, случалось ему и проигрывать огромные суммы. То был золотой век азартной игры. По свидетельству Ф. Булгарина, во всех значительных городах Литвы и Польши, не говоря уже о Вильне и Варшаве, разные куртизанки открыто держали у себя игорные дома, куда стекалось польское панство и русское офицерство. Игра шла почти исключительно на одно только золото, которое целыми грудями бывало навалено на зеленом поле, и ставки шли не на отдельные монеты, а на *стокки*, т. е. понтёры ставили

на карту стаканы, наполненные червонцами без всякого счета. Целые шайки варшавских шулеров разъезжали по всему краю, рыскали по ярмаркам, следовали за полками и отрядами и грели руки, где была лишь малейшая возможность. В этот азартный период героями подобного сорта было составлено много значительных состояний, известных на Литве даже до последнего времени; но с тех же самых пор за поляками укрепились и в России, и в Европе репутация шулеров по преимуществу, и замечательно, что даже в наши дни наиболее значительный контингент нечистых игроков поставляет нам все-таки польская национальность.

Появись в Варшаве, Валицкий сразу произвел ослепляющее впечатление на общество. Манеры, тон, образ жизни – все это было им усвоено так, что внушительно говорило всем и каждому о привычке графа к высшему обществу. Его связи со многими дворами и знаменитостями того времени были известны всем, а баснословная щедрость, веселый нрав и роскошь жизни доставили ему огромную популярность в Европе. Даже гордые поль-

ские магнаты наперебой стремились приобрести дружбу и расположение загадочного графа. Он весь век оставался холостым человеком, но задавал балы и принимал дам. Красавицы всей Европы добивались его благосклонности и постоянно толпились вокруг золотых груд игорного стола, который никогда не оставался закрытым в его доме. Он играл в высшей степени хладнокровно, с тем «приятным изяществом», которое считается наилучшим украшением хорошего игрока. Никто не умел с таким спокойствием и любезностью проигрывать и отдавать громадные куши, как пан грабя Валицкий, – но за то же никто не мог и наказывать более жестоким образом тех шулеров, которые шайками врывались в его дом с целью пообчистить любезного графа. Заметив против себя комплект, он до последней нитки обирал честную компанию, говоря ей в назидание: «Contre coquin – coquin et demi!» – и затем сейчас же отдавал весь выигрыш в пользу бедных.

Что касается до темного периода его жизни, то тут рассказывают следующие факты: получив от пана Бучинского сто бизунов и

сто червонцев, молодой человек укатил из Могилева и предался игре. Фортуна иногда ему улыбалась, но чаще поворачивалась спиной к своему искателю и довела его в одну прескверную ночь до того, что и бричка, и кони, и белье, и казачок с кучером – все это осталось в руках шулеров, а Валицкий очутился маркером в одном из лембергских трактиров. Долго влачил он это незавидное состояние, посвящая все свободное время изучению карточных фокусов, расчетов и тайнств игры, и успел довести ловкость рук своих и соображение до степени гениального совершенства. В таком-то положении столкнула его однажды судьба с известным польским магнатом, князем Фр. Сапегою, который, зайдя в трактир поиграть на бильярде, случайно обратил внимание на наружность и внешний лоск ничтожного маркера. Узнав, что в этой должности состоит родовитый польский шляхтич, Сапега не потерпел такого «унижения» своего сословия и взял с собой Валицкого в Вену, где он состоял некоторое время у князя «на ласкавем хлебе» в качестве приживальщика в числе подобных же шляхтичей,

составляющих двор и свиту знаменитого магната. Отъезжая по делам в Польшу, Сапега оставил Валицкого в Вене и дал ему денег «на разживу». С этого-то и пошел уже в гору воспитанник Бучинского. Булгарин в своих «Воспоминаниях» рассказывает, что однажды ночью Валицкий метал банк в доле с несколькими игроками мелкого разбора в одном из самых труппных венских трактирчиков. Счастье, или, вернее, «искусство» на сей раз благоприятствовало Валицкому, карманы партнеров были уже пусты, и компания дольщиков намеревалась уже забастовать, как вдруг входит в комнату «некто», в венгерском костюме, с видом «таинственного незнакомца», высокий, худощавый, длинноусый, и, выдернув наудачу какую-то карту, произносит тихо:

– Ва-банк!

Дольщики смутились, но Валицкий метнул на незнакомца внимательно-зоркий взгляд и приготовился метать. Компания остановила его и потребовала наперед, чтобы, во-первых, были пересчитаны наличные деньги банка, а во-вторых, чтобы венгерец

положил на стол соответственную сумму.

– Душевно бы рад, но, к сожалению, со мной нет ни копейки! – наотрез отказался незнакомец и, снова подвинув карту, повторил свое тихое: «ва-банк».

Компания, за исключением банкомета, продолжала сопротивляться столь оригинальному понтёру.

– Если вы, господа, честные люди, – заявил наконец венгерец, – вы должны поверить мне на честное слово.

Те не соглашались.

Тогда Валицкий, пересчитав банк, отдал его товарищам и сказал незнакомцу:

– Если вы, милостивый государь, обращаетесь к моей чести, я охотно готов держать вам банк на ваше слово. Извольте, я держу вас один, без участия этих господ. Ваша карта?

Незнакомец не открыл ее.

Валицкий молча начал метать направо и налево. Рискованная игра шла уже начистую, но банкомет отлично владел собой и казался совершенно спокойным.

– Бита! – столь же спокойно и тихо произнес незнакомец, оборачивая свою карту. И

действительно, она была бита.

– Попрошу вас, – прибавил он, обращаясь к Валицкому, – отправиться со мной и получить деньги.

– Как вам угодно, – со сдержанным поклоном отвечал счастливый шляхтич.

– Но только я не желаю, чтобы ваши товарищи отправлялись вместе с вами; я приглашаю к себе вас одного, но никак не этих господ! – решительно заявил венгерец.

– Как вам угодно, – повторил Валицкий и, не слушая доводов своих товарищей, опасавшихся отпустить его одного, последовал за незнакомцем.

Они отправились.

Пройдя несколько глухих улиц и переулков, путники вышли в более людную и безопасную часть города, где венгерец остановился у подъезда одного роскошного дома. Прислуга с величайшим почтением раскрыла перед ним дверь – и Валицкий вместе со своим спутником прошел в кабинет через анфиладу богатых комнат.

Пригласив своего гостя садиться, хозяин обратился к нему с вопросом:

– Извините за нескромность, но... скажите, кто вы такой?

– Претендент короны польской, – любезно, но совершенно серьезно отвечал Валицкий.

– По какому же праву?! – широко раскрыв глаза, изумился венгерец.

– По праву родовитого польского шляхтича. Я – шляхтич Валицкий; а вам, конечно, известно, что каждый из нас имеет законное право на выбор в короли.

– О, если так, то позвольте иметь честь рекомендоваться! – улыбнулся хозяин. – Я князь Эстергази. Вам, как претенденту на польскую корону, а мне, как венгерскому магнату, положим, хотя и не следовало бы посещать такие вертепы, в каком мы столкнулись сегодня, но.... я иногда делаю это от скуки и из любопытства.

– А я для того, чтобы не умереть с голоду, – промолвил в ответ Валицкий и, кстати, рассказал ему свою биографию.

Этот случай сблизил его с венгерским магнатом, в доме которого по прошествии некоторого времени претендент короны польской стал до такой степени «своим человеком»,

что Эстергази решительно ни на шаг не мог обойтись без него. Уезжая в Париж с каким-то дипломатическим поручением, магнат захватил с собой и претендента, который успел не только втереться благодаря князю в высшее парижское общество, но через княгиню Полиньяк достиг до самой королевы. Он сделался постоянным членом самых интимных вечеров Марии-Антуанетты и был почти постоянным партнером ее за картами. Говорят, будто некоторое время она дарила его особой благосклонностью и особой доверенностью; говорят также, будто и Валицкии оказал для нее и для ее семейства много услуг в начальный период первой французской революции. Положение при дворе и в особенности вечера в Трианоне сблизили Валицкого со множеством знаменитостей того времени, а также с французской и иностранной знатью. Везде и повсюду умел он ловко пролезть, втереться с чувством сознания собственного достоинства, понравиться своей наружностью и нравом и наконец сделаться «своим», интимным человеком. В это время и был положен первый фундамент его громадному состоянию. Он иг-

рал постоянно и все с теми же изящными достоинствами beau joueur'a. Он много путешествовал, был в Англии, в Италии, в Германии – и везде появлялся не иначе как в качестве настоящего grand seigneur'a, со своим графским титулом, со своими связями и знакомствами и со своим дивным искусством, которое открывало ему не только двери, но и карманы сильных и богатых мира сего. Как польский шляхтич, он считал себя аристократом по преимуществу и постоянно выказывал тенденции наивысшего аристократического свойства. Дух революции, однако, выкурил его из Парижа, куда возвратился он после своих путешествий, и пан Валицкий появляется на родине, сначала в Варшаве, где производит необычайный фурор, а потом и «на Литве глембокей», где покупает себе несколько богатейших имений и, между прочим, Езёры (целое местечко, к которому принадлежало более десятка деревень и фольварков, раскинутых по окрестности), осушает в них многие болота и проводит сплавные каналы. Здесь-то, на берегу озера Белого, в трех верстах от Езёр, среди высокого соснового леса, соорудил

себе Валицкий «палац сломяны», который и назвал Виля-нова, а местное крестьянство переделало его уже на свой лад в Ильяново. Одна часть обширного леса, и именно та, где растут дубы, вязы и грабы, была превращена в прекраснейший парк, а другая, так называемый «бор», или «чернолесье», неприкосновенно оставлена во всей дикой красоте и прелести стародавней пущи. Ильяновский фольварк, вдаваясь более в сосновый лес, стоит, однако, почти на рубеже этой пущи и парка, которые в настоящее время от лет их запущения уже слились между собой в одну одичалую, поэтическую заросль.

В 1804 году фантастический граф появился вдруг и на петербургском горизонте. Сначала он было нанял себе целый нижний этаж в доме графини Браницкой, что ныне князя Юсупова, на Мойке, но вскоре, найдя, что в этой квартире мало солнца, купил себе на Морской, на углу Почтамтского переуллка, собственный дом, куда и переселился со своей дюжиной золотых эмалированных табакерок, украшенных живописью Петито (которые принадлежали Людовику XVI и достались Ва-

лицкому какими-то особыми путями), и со своей коллекцией алмазов, бриллиантов и иных драгоценных камней, где, между прочим, находился известный сапфир, имевший свойство изменять свой цвет после захождения солнца и послуживший поэтому г-те Жанлис темой для повести. Ни у одной, самой отъявленной щеголихи не было такого разнообразного, многочисленного и богатого собрания дорогих шалей и кружев, каким славился мужчина Валицкий, проявивший относительно некоторых предметов и вещей чисто женские прихоти и вкусы. Он был отличный болтун, а его встречи, знакомства, житейские столкновения и приключения во время путешествий по Европе давали ему неистощимую тему для рассказов, в которых никто и никогда не мог отличить, где истина переходит в фантазию и где фантазия граничит с истиной. Известно, что в те времена двери наших бар были равно открыты

*Для званых и незваных
Особенно из иностранных,*

и потому все высшее петербургское обще-

ство охотно принимало Валицкого и ездило к нему в дом, на его блестящие балы и тонкогастрономические банкеты. Светских дам влекло к нему обычное любопытство с целью полюбоваться на его кружева, шали и драгоценности, которые он иногда умел дарить необыкновенно кстати и всегда с таким искусством и тактом, что от его подарка решительно не было возможности отказаться.

Об одном только не любил говорить Валицкий – это именно о темном периоде своей жизни, и когда однажды его спросили, правда ли, что князь Сапега встретил его в Лемберге маркером, он отвечал: правда; но на вопрос, каким образом дошел он до такого состояния, Валицкий проговорил, поморщась:

– Это для вас нимало не интересно, а для меня скучно.

И подобными фразами он всегда отделялся, как скоро дело начинало касаться его прошлого.

Во время его пребывания в Петербурге в Кронштадтский порт возвратился из кругосветного плавания Крузенштерн на своих кораблях «Нева» и «Надежда». Наши моряки на-

везли с собой множество заморских диковинок, которые продавались тогда с аукциона в правлении Российско-Американской компании. Между этими диковинками, пред которыми ежедневно толпились наши бары, в особенности обращали на себя внимание редкие коллекции вещей китайских и японских. Лучшие экземпляры тех и других были скуплены Валицким, и теперь забытые остатки их ютятся в убогих стенах Ильяновского фольварка.

Не добившись никаких особых почестей и отличий у императора Александра I, Валицкий удалился в Литву и остаток жизни своей проводил то в Вильне, то в Гродне, то в своем ильяновском «палаце сломянем».

Бог весть, из каких побуждений происходила его замечательная щедрость: было ли это прирожденное свойство души или дело тщеславия, но только он кидал кошельки каждому просящему, жертвовал большие суммы на богоугодные заведения, устроил в Вильне восемь университетских стипендий и купил целый дом, в котором жили эти студенты-стипендиаты с гувернером на полном

иждивении Валицкого. Кроме того, Виленскому же университету подарил он богатую коллекцию редких камней и минералов, которая составляет теперь собственность университета Киевского. Факты этой категории, бесспорно, рисуют Валицкого светлыми, симпатичными чертами.

Но в это же время существует предание, что в этом самом Ильяновском фольварке, в лесу, были выкопаны глубокие ямы, в которых по несколько дней морили хлопков в наказание за какой-нибудь проступок. Тяжкие стоны этих несчастных раздавались по лесу в долгие зимние ночи. Как согласить одно с другим? Как допустить, чтобы человек, щедро сыпавший вокруг себя золото с благотворительными целями, мог в то же время спокойно слушать эти стоны? Как-то не хочется даже верить, что это могло быть; но предание существует, и нам самим показывали в лесу, неподалеку от фольварка, завалившиеся и поросшие кустарниками ямы, говоря, будто это и есть место хлопских истязаний. Но если предание справедливо, то оно только еще раз подтверждает ту общественную историче-

скую истину, что родовитая польская шляхта не признавала ничего вне себя, вне своегословия, и если отличалась яркими доблестями, то только в пользу шляхетства же, но отнюдь не в пользу народа, почитая его в Польше и в Белой и в Малой Руси за народ иноплеменный, и притом низшей, рабственной расы. С этой точки зрения становится понятным и отношение шляхтича Валицкого к ночным стонам его хлопов [12].

Мне и моему товарищу отвели в соломенном палаце крайнюю, непроходную комнату, с окнами в заглохший сад, которая, по преданию, была спальней самого Валицкого. Вечером, лежа на своих походных, складных постелях и невольно слушая трепетный звук крыльев ночных бабочек, порхавших вокруг лампы, да странный шорох ужей под половицей, мы припомнили себе ряд рассказов о загадочном владельце этого «палаца».

– Такая яркая, блестяще-роскошная жизнь и такой убогий «палац»! И зачем рядом с этой аляповатой, грубой мебелью, на этом некрашеном полу стоят драгоценные вазы, а на этих кривых стенах висят картины, которые

могли бы быть украшением действительных, а не «сломяных» палацев? Была ли это одна из тех «фацевий», которыми отличалась польская магнатерия прошлого века, или простая случайность? Или же, наконец, пан Валицкий вообразил себя древним Цинциннатом, который суету и величие Рима променял на огород и соломенную кровлю деревенской хижины?

– Ни то, ни другое, ни третье, – отвечал мне товарищ на целый ряд моих вопросов и диалогических размышлений.

– Так что нее, по-твоему?

– По-моему, очень просто! И я, и ты видали много подобных же панских, помещичьих «палацев», и в каждом из них замечается более или менее одно и то же: неряшество и грубость постройки, полнейшее отсутствие настоящего житейского комфорта, в том смысле, как всегда понимали и понимают его, например, англичане, – и вместе с этой грубостью и неудобствами – аристократические замашки, картины, фарфор, а тут – гляди – рядом грошовая литография «Девочка с барашком» и какой-нибудь полинялый букет

искусственных цветов. Это у них всегда и во всем оказывается – и это есть не что иное, как прирожденное неряшество.

Таким-то прозаическим, расхолаживающим выводом моего товарища был заключен ряд наших воспоминаний и моих поэтических размышлений. Но... как бы то ни было, так или иначе, а все-таки шляхтич Валицкий с его фантастическим графством и шальными миллионами является личностью крупной и достопримечательной.

4. Ильяновский призрак

В нашей комнате было несколько накурено и душно. Товарищ мой встал и растворил окно. Бледный и как бы трепетный лунный свет озарял бледно-синее небо и ближний лес, подернутый дымкой легкого тумана, который прозрачно курился над болотистой низиной, где пробирался меж осоки тихий лесной ручей. Кусты жасминов и белых роз, омоченные росой, сверкали под лучами луны, словно осыпанные снегом, и благоухали еще сильнее, чем в душно-горячий полдень. Дурманящий смешанный запах этих цветов аро-

матной широкой струей вливался к нам в раскрытое окошко.

Я взглянул на товарища, который не отходил от окна и – как показалось мне – пристально вглядывался во что-то.

– Во что ты уставился, Апроня? – спросил я, заметив его напряженное и отчасти изумленное внимание.

– Тсс! – сторожко поднял он палец и помянул меня.

– Чего тебе?

– Ступай сюда... гляди... гляди!.. Скорее! – шепотом лепетал Апроня.

Я вскочил с постели и поместился рядом с ним в окошке.

– Видишь? – указал он пальцем по направлению к болотистой низине.

– Ничего не вижу... В чем дело?

– Белое... вон-вон... Видишь?

– Белое?.. Ну, что ж такое?! Туман курится, и только.

– Туман!.. А в тумане-то что?

Я стал вглядываться пристальней, и в ту же минуту взор мой различил нечто особенное, странное...

Среди вьющихся струек тонкого пара что-то белое тихо двигалось, словно бы плыло вдоль по низине. Слабый луч месяца скользил неровными бликами по этой неопределенной фигуре. На первый взгляд трудно было определить, что это такое: живое ли существо, причудливый завиток стустившегося пара или воздушный призрак?

– Это женщина, – тихо проговорил Апроня.

– Вот вздор какой! – усмехнулся я на его замечание. – Откуда тут быть женщинам?

– Ей-богу, женщина! Когда она проходила несколько ближе, так я заметил совсем как будто женский облик.

– Мерещится!.. А впрочем, может быть и женщина, – согласился я. – Баба какая-нибудь возвращается из соседней деревни.

– В лес-то!.. Да ведь тут некуда возвращаться! Я, слава тебе, Господи, знаю этот лес: в той стороне и жилья-то нет никакого, и притом...

Апроня несколько замялся.

– Что «притом»? – взглянул я на него вопросительно.

– А то, что походка-то у нее не бабья: больно уж плавно движется... и стройна тоже.

– Дело воображения! – усмехнулся я и, не чувствуя более охоты стоять перед окнами, вернулся к своей постели.

– Нет, черт возьми, это любопытно! – пробормотал Апроня и в тот же миг, натянув сапоги да накинув пальто, спрыгнул в парк прямо через окошко. Лопухи и крапива зашурстели под его шагами – и затем все смолкло.

Я взялся за книгу и стал читать. Окно оставалось раскрытым, и сквозь него набралось в комнату еще более звенящих комаров и белых мохнатых бабочек, привлеченных молочно-матовым светом лампы. Минут около пяти ночная тишина ничем не нарушалась. Вдруг под лесом раздался какой-то тихий, несколько мелодичный звук: не то легкий стон женского голоса, похожий как будто на какой-нибудь условный знак, не то случайный выклик какой-то птицы, встрепенувшейся впросонках. Я поднял голову и прислушался; но так как вслед за этим опять наступила невозмутимая тишина, то я снова занялся моей книгой. Но не прошло и минуты, как вдруг тот же самый звук повторяется еще раз, только несколько слабее и как будто дальше. Я

вскочил с постели и, высунувшись в окошко, стал чутко прислушиваться – все тихо. Золотой серп месяца все так же плывет себе по бледной лазури, все так же пар курится над низиной и сверкают, белея, звездочки жасмина; шустрая ящерка по траве пробежала, тускло сверкнув на мгновение под лучом месяца; а издали, когда вслушаешься в ночную тишину, начинаешь различать щелканье соловьев в прибрежных кустах, склонившихся над широким озером, и слабые, мелодические, несколько урчащие стоны жаб на далеком болоте. Не дождавшись повторения в третий раз того особенного звука, что привлек мое внимание, я наконец улегся на своей постели.

Несколько времени спустя снова зашуршали под окном лопухи да крапива – и в комнату прыгнул мой товарищ.

– Ну, что? – спросил я.

– А Бог его знает что! – пожал плечами Апроня. – Прошел по лесу и вдоль ручья, да даром только прогулялся.

– Ничего не видел?

– Н-нет, сначала-то, как пошел вослед, она мне издали раза два мелькнула в глаза, а по-

том под лесом вдруг исчезла, словно сквозь землю провалилась... Ты слышал оклик какой-то? – спросил Апроня.

– Слышал, и даже дважды.

– Ну да, два раза. Я тоже совсем явственно слышал, и где-то близко около себя; пошел было на звук, но он повторился уже в другой стороне: я туда – пусто; искал меж деревьев – ничего нет!

– Немудрено: в лесу-то ведь темень.

– Ну нет, не совсем: меж стволами все-таки свет пробивается, так что можно различить, особенно белое. Но нет; говорю тебе, как сквозь землю!.. А интересно бы дознаться, что это такое?

– Привидение, – улыбнулся я в шутку.

– А что ж?! – подхватил Апроня. – Этот загадочный пан Валицкий, этот «палац» в лесу, пустырь вокруг – все это такие данные, что какая-нибудь легенда и особенно привидение были бы здесь очень кстати. Чу! – перебил он свою речь: – Слышишь?

В эту минуту в лесу действительно послышался в третий раз тот же самый загадочный звук – и едва он замер в воздухе, как вдруг,

словно бы в ответ ему, раздался в той же стороне негромкий протяжный свист.

– Черт возьми, это решительно неспроста! – уверенно воскликнул Апроня. – В Ильянове, значит, есть свои тайны, и это меня очень утешает.

– Почему так?

– Стану наблюдать и добиваться сути. Все-таки развлечение, и значит, в конце концов, «траву» проведем не совсем уже скучно.

– Помогай тебе Господи!

– И тебе вместе со мной! – в шутку добавил Апроня, накрываясь своей простыней.

На следующий день, около полуночи, он нарочно уселся перед раскрытым окном и имел терпение продежурить таким образом часа два, коли не более, но – увы! – напрасно. Ночь была такая же ясная и тихая, а «привидение» наше не появлялось.

– На этот раз не желает! – в шутку вздохнул мой сожитель, покидая свой наблюдательный пост. Но эта неудача не помешала ему в следующую ночь повторить свои наблюдения и даже прогуляться по лесу, однако же без всякого успеха. Это наконец ему надоело,

и он оставил свою праздную затею.

5. Ильяновская легенда

Прошло дней восемь. Мы уже совсем успели позабыть про наш таинственный призрак, как вдруг однажды, перед обедом, входит в комнату мой сожитель с торжествующим видом.

– Поздравляй меня! Добился-таки! – воскликнул он, смеясь и потирая руки. – В Ильяновском фольварке существует легенда!

– Будто?

– Самым положительным образом.

– И кто герой ее?

– Ни более ни менее как сам ясновельможный пан грабя Валицкий!

– А героиня?

– Какая-то француженка... графиня, герцогиня и чуть ли даже не сама Мария-Антуанетта.

– Так это она-то и гуляет?

– Она!

– Поздравляю! Но легенду-то откуда ж ты узнал?

– А, это совсем особая статья. Я, видишь ли,

пошел было на траву взглянуть, каково-то наши косят, – начал объяснять мне Апроня, – а назад возвращаюсь лесом. Иду это себе, глядь – лежит на бугорочке органист из Езерского костела и уплетает землянику, прямо с веточек срывает, каналья, самую крупную, спелую ягоду и – в рот! А на бугорке целый ягодник, даже алеет издали. Соблазнился я, глядячи на него, тем более что по жаре-то пить ужасно хотелось, и прилег с ним рядышком, благо человек знакомый. Мы с ним прошлым летом все на уток хаживали в пуцинские озера. Ну, разговорились за ягодой-то, сперва про охоту, про то да се, а там про девчат с маладзёхнамі, что ходят в лес по землянику, – ведь он тут у них большим сердцеedom почитается, – а с сего предмета, вероятно, уж по ассоциации идей, так как дело касалось женщин и леса, вспомнил я про наше привидение и рассказал ему, какая наемни штука была.

– Ну, и что ж на это твой пан органыста?

– Сначала как будто опешил и смутился несколько – так показалось мне, – продолжал мой сожитель, – а потом вдруг и говорит: "А

что вы думаете себе, пане ротмистру! Оно и вправду привидение, фантом! И вы, говорит, нехорошо сделали, что пошли за ним вдогонку, потому, говорит, это дело рисковое и мог бы из него выйти «бардзо кепски интэрес»! – «А что же, спрашиваю, разве бывали примеры?» – «Да всякого, говорит, бывало; мало ль чего на свете не случается! И вы уж лучше в другой раз не пытайтесь, а то, дали-буг, беда будет!» – «Стало быть, спрашиваю шутя, у вас, верно, и легенда есть?» – «М...да, говорит, есть и легенда». – «И, верно, с графом Валицким?» – «М...да, есть-таки и с Валицким». – «В чем же дело-то? Это, говорю, любопытно», – и пристал к нему. Органыста мой сначала было помялся-помялся да и рассказал... немножко нескладно и несообразно, но в отношении местного интереса ничего себе, живет и эдак, потому какая ни на есть, а все ж таки «легенда».

Изложив все эти обстоятельства, сожитель мой самым положительным образом обратился к предобеденной закуске.

– Я слушаю твою легенду, – напомнил я ему о продолжении.

– Мм... постой, брат, не до нее! – озабоченно пробурчал Апроня, пережевывая кусок копченой селедки. – Дай сначала поесть, а потом слушай себе сколько хочешь!

И мы уселись за свой «офицерский обед», в котором фигурировали неизменный суп из курицы и столь же неизменные битки в сметане с блинчиками на «пирожное». Этими тремя, так сказать, традиционными блюдами, как известно, испокон века ограничивается все кулинарное денщицье искусство.

Увы! Легенда «пана органыста» оказалась произведением совершенно ничтожного творчества. Все дело будто бы в том, что пан-грабя Валицкий, живучи в Париже, влюбил в себя какую-то знатную француженку, злую и ревнивую женщину, которая никак не хотела отвязаться от ветреного ловеласа. Валицкий должен был тайком удрать от нее из Парижа, но французская «вельможна пани» поскакала вслед за ним и долго странствовала по Европе, разыскивая повсюду своего неверного друга с целью привлечь опять к себе его сердце или же отомстить ему самым чувствительным образом. Многолетние старания и поис-

ки ее были совершенно безуспешны. Едва до-
ходил до нее слух, что фантастический граф
проживает в том-то или в этом городе, она
мчалась к нему, но случай всегда устраивал
дело таким образом, что Валицкий, ничего не
зная и не подозревая о ее преследованиях и
поисках, чуть не накануне или за несколько
часов до ее приезда уезжал в другой город
или в другое государство – и бешеная францу-
женка снова начинала свою неутомимую по-
гоню. Между прочим, граф успел побывать на
Востоке, в Константинополе и в Каире, где ку-
пил себе на рынке прекрасную «туркиню»,
или «белую арабку», пленившись ее замеча-
тельной красотой. Граф всей душой привязал-
ся к своей рабыне и, найдя, что странствия и
шатания по белу свету достаточно уже ему
надоели, вернулся в Литву и поселился со сво-
ей «туркиней» в тишине и уединении Илья-
новского фольварка. Здесь у него «туркиня»
лежала на оттоманке и играла на торбане, а
пан-грабя влюбленно дремал у ее ног – и этот
Магометов рай в Ильянове продолжался
несколько месяцев, как вдруг, нежданно и
негаданно, словно снег на голову, в ильянов-

ское затишье нагрянула бурная французженка. Граф очень смутился, но, как «гоноровы и поржондны человек», т. е. как истый galant homme, связанный с «герцогиней» воспоминаниями нежного чувства, не дерзнул отказать ей в гостеприимстве, тем более что герцогиня эта успела убедить его, будто она едет в Петербург и, случайно узнав в Гродне, что старый друг ее находится в своем поместье, так близко от ее прямого пути, решила свернуть немного в сторону, сделать две-три лишние мили, чтобы только взглянуть на него и этим посещением заплатить дань воспоминанию о днях любви и счастья, пережитых когда-то с ним вместе. Пан-грабя принял путешественницу, никак не подозревая, что она может таить в душе какие-либо коварные замыслы. Но путешественница их таила. Она попыталась было воскресить в душе графа старое чувство, попробовала вновь пленить и увлечь его своей красотой, но граф пребыл в непоколебимой верности своей «туркине». Герцогиня упростила его показать ей туркиню – и граф после долгих колебаний исполнил ее желание. Французженка употребила

всю свою ловкость и любезность, чтобы обворожить простодушную соперницу. К сожалению, легенда не удостоверяет с точностью, на каком языке изъяснялись между собой обе женщины. Впрочем, когда мой Апроня предложил этот вопрос пану органысте, то находчивый парень не затруднился и на этот раз ответил: «Герцогиня ве мувила по-турецки, и туркыня не мувила по-французски, то може обы-две они мувили по-польски, а як и по-польски не мувили, то кеды ж не можно с пантомины?!» Но, как бы то ни было, женщины подружились: одна – искренно, другая – притворно, и стали ходить вместе «на шпацир до лясу». На этих прогулках сначала их сопровождали гайдуки и «панны покоевы», но французенка изменила этот порядок, сказав, что для лесных прогулок она предпочитает уединение. Таким образом, избавясь от докучливых глаз и ушей сопровождавшей дворни, она получила возможность прогуливаться с глазу на глаз со своей, ничего не подозревавшей соперницей.

Быть может, графу и казалось иногда несколько странным это продолжительное

пребывание мимоезжей француженки в его соломенном палаце, но так как он прежде всего был широкий магнат и очень гостеприимный человек, да притом и большой эксцентрик, то и сказал себе: «Пусть живет, коли ей нравится, – у Валицкого-де места и хлеба хватит для батальона француженок!» И влюбленная француженка, к немалому соблазну и скандалу окрестных помещиц, проживала в Ильянове уже около месяца, ни с кем не знакомясь и не унывая насчет главной своей задачи – вернуть себе привязанность графа. Но граф не поддавался и все-таки пребывал в верности к туркине. Видя его непреклонность, француженка решила добиться своего, что называется, не мытьем, так катаньем. Однажды, в жаркий полдень, во время уединенной прогулки с туркиней в лесу, она предложила ей выкупаться в озере и – утопила ее. Как именно удалось ей утопить соперницу – легенда не объясняет. Граф чуть не помешался от горя, но подозревать свою гостью не мог, потому что она первая принесла ему весть о смерти, прибежав домой в ужасе и в слезах, с отчаянными криками «Спасите! Спасите!» и

объявила, что прекрасная туркиня, почувствовав дурноту во время купанья, упала в обморок и утонула. Дней десять подряд закидывали в озеро невод, но тела не отыскали. Француженка осталась в Ильянове утешать графа в горести, но граф был безутешен. Напрасно мечтала она, что теперь его сердце обратится к старой привязанности; напрасно расточала пред ним свои ласки, и нежность, и предупредительность, и всяческие обольщения – безутешный граф оставался верен памяти своей туркини. Тогда, убедясь в окончательной безуспешности своих исканий и беспрестанно чувствуя в глубине души мучительные угрызения совести за смерть неповинной и доверчивой женщины, француженка однажды ночью ушла из своей комнаты, оставив в ней открытое письмо, где исповедовалась в совершенном ею преступлении и заявила, что идет теперь наказать себя за грехи подобною же смертью. На другой день в прибрежной осоке нашли ее мертвое тело и без христианского погребения закопали в лесу, где, пожалуй, еще и теперь можно отыскать следы ее одинокой могилы. Граф после этого

уехал в Петербург и с тех пор очень редко уже навещался в Ильяново, с которым соединилось у него столько тяжелых воспоминаний. Зато французская грешница и по смерти не оставила-таки в покое это место: с тех пор иногда тоскующая тень ее бродит по лесу и протяжным стоном своим оглашает окрестную пушу. Зла она никому не делает; но те, которые имели несчастье встречать ее ночью лицом к лицу, всегда кончали тем, что рано или поздно тонули в озере. «Для того и прошу пана ротмистра не следить больше за нею, бо я знаю, пан любит купаться!» Этим предостережением закончил пан органыста свой рассказ моему сожителю.

– Как ты находишь эту легенду? – спросил меня Апроня.

– Весьма подозрительною, – отвечал я.

– Почему так? – изумился сожитель.

– А потому, что она отзывается чем-то деланным, сочиненным, да притом и сочинение-то несуразное, а как будто придумана вся эта штука на скорую руку и, может быть, по вдохновению самого же пана органысты.

– Да что же за цель, однако?

– Кто его знает!

– Но... ведь приведение-то мы видели!

– Ну, видели.

– А коль видели, так что ж оно такое?

– Не знаю: поживем – увидим, а увидавши,

может, и доведеаемся, «цось оно доказуе».

* * *

Прошло два дня. Майор наш был в отсуствии, уехав по делам службы в штаб, а за старшего остался Апроня. Вахмистр, явившись поутру с рапортом, что в эскадроне «все обстоит благополучно», замялся на минутку и потом, крякнув себе в руку, спросил несколько таинственным и как бы неуверенным, сомневающимся тоном:

– Ваше благородие, ничего слышать не изволили?

– Ничего. А что?

– Да так-с... собаки больно разлаялись...

– А и вправду! – заметил я. – Даже разбудили было меня, проклятые!

– Так точно-с, – подтвердил вахмистр, – очинно беспокоились, а особливо Шарик наш.

– Что ж за причина? – спросил мой сожи-

тель.

– Кто его знает! Ночные сказывали, будто ходило что-то... Они заприметили на обходе, словно бы белое что-то около фольварка по лесу бродит... и собаки все в лес швырялись.

Мы с Алронею невольно переглянулись.

– Это, ваше благородие, надо быть, все та... французинка! – помолчав и таинственно понизив голос, заметил вахмистр.

– А ты откуда про нее знаешь?

– Денщик сказывал; потому как он слышал, когда ваше благородие за обедом рассказывать изволили...

– Ну, так ты распорядись, чтобы ночные непременно изловили и задержали «белое», коли оно еще раз около нас станет шататься.

– Слушаюсь, ваше благородие!

Но с тех пор «белое» не показывалось по ночам около Ильянова – и мы перестали вспоминать о нем. Между тем время шло своим чередом, и мы вполне пользовались тою жизнью, которую приносит «трава» армейскому солдату и офицеру.

6. Жизнь на траве

На другой же день по приходе эскадрона на траву стали расковывать лошадей; это для них то же, что скинуть обувь для человека, натрудившего ноги продолжительною ходьбою. Солдаты живо устроили конюшни в отведенных сараях и тут же, около своих коней, примостили себе из кой-каких досок нары под собственные постели; над нарами подвесили дощатые полки, на которых обыкновенно помещаются ленчики с потниками и шапки, а в стены повбивали неизбежные колышки. Без этих колышек нигде и никогда не обойтись нашему солдату. После стойла для лошади колышки являются ближайшею его заботою; он набьет их в стену прежде, чем подумает устроить свою собственную постель, не говоря уже о прочем. На одном колышке повесит он мундштук с уздечкой, на другом кобуру с пистолетом, на третьем саблю, на четвертом торбу с фуражом, на пятом щетку и скребницу и т. д. У иного этих колышек над постелью вбито штук до десяти, коли не больше, — и на каждом повешена какая-нибудь

принадлежность солдатского обихода. Когда наконец кольшки вбиты, вещи развешаны и постели устроены, солдат начинает подумывать об украшении своего временного обиталища. Взводный вахмистр, как старший по конюшне, где помещается особо его взвод, выбирает себе, конечно, и лучшее место – обыкновенно в темном углу сарая, в том рассуждении, что, где потемнее, там прохлады больше и муха не так донимает. Затем наиболее комфортабельные места разбирают себе унтера, находящиеся во взводе, а за ними уже рядовые, которые посмышленнее да порасторопнее. Наименьшая доза удобства выпадает обыкновенно на долю «смиранных», роль которых естественным образом играют рекруты в первые месяцы по прибытии в полк, пока не пооботрутся и не освоятся со своим бытом. У старого солдата, а тем более у унтера, всегда почти есть в запасе на случай какая-нибудь кошма или старенький, вылинялый коврик, который он в подражание «господам», т. е. офицерам, непременно повесит на стену над своею постелью. Это – первый признак того, что конюшня начинает украшаться. Затем –

смотришь – где-нибудь выглядывает отбитый кусочек зеркала или кисет, сшитый из пестрых лоскутков, либо какая-нибудь картинка, случайно добытая и вырванная из «Иллюстрации» или из модного дамского журнала. Солдаты необыкновенно любят всякие подобные картинки. Какое-нибудь иллюстрированное объявление" хотя бы от чай-до-го магазина, какая-нибудь пестрая бумажка от конфеты, выброшенная на улицу за окончательную ненадобностью, непременно будут подобраны солдатом, если только он набредет на них; а раз что набрел, то уж непременно подымет, рассмотрит, что это не просто бумажка, а картинка, и сейчас засунет ее в обшлаг шинели или за голенище, имея в виду – немедленно же по приходе на квартиру украсить ею стену над своею постелью. У одного молодого солдатика я заметил раз в сарае над его изголовьем засаленного бубнового валета, который был прилеплен к стене хлебным мякишем.

– Зачем это у тебя? – спрашиваю его.

– Потому, ваше благородие, картинка-с, – отвечал он, с удовольствием осклабляя свои

белые зубы и любуясь на бубного валета.

Когда же я, видя такую его любовь к «картинкам», подарил ему целый номер «Иллюстрации», купленный когда-то на железной дороге, то радостям и восторгу у моего солдата просто и конца не было. Лучшего подарка для него, кажется, невозможно было и придумать. Он тотчас же украсил политипажами все пространство стены над своим изголовьем, не пренебрегши даже и шахматного задачей; но бубнового валета все-таки не снял – «потому, ваше благородие, все же и он картинка!». С этими «картинками» наш солдат почти никогда не расстаётся; если у него есть сундук, то картинки непременно украшают исподнюю сторону крышки, а нет сундука, солдат при переходе с квартиры на квартиру забирает с собою и свои картинки, пряча их то за пазуху, то в походный чемоданчик. На другой же день по приходе на новую стоянку, можете быть уверены, что все эти картинки вы сполна найдете над его изголовьем. Но кроме картинок во время «травы» у солдата является и еще одно украшение: это – зеленые ветки лиственных деревьев и пучки бо-

лотного пахучего аира.

Чуть пойдут люди в озеро купаться, непременно нарежут листьев этого аира и наломают в лесу свежих кудрявых веток смолистого тополя да березы – «потому дух от них очень прекрасный». Всю эту зелень они понатыкают в разные щели и разукрасят, уберут ею стены над своими постелями. Войдешь в конюшню – и глазу весело становится: такая она вся кудрявая, зеленая, нарядная, и свежий растительный запах в ней действительно «очень прекрасен»!..

Но главный предмет украшения каждой конюшни – это неизменная веселка, которая качается над входом на высокой и гнупкой [13] жердине. Каких только фантазий и какого искусства не прилагают солдаты, чтобы устроить как можно красивее свою веселку, чтобы перецеголять ею веселки всех остальных взводов! Но это соревнование достигает наивысшего своего предела в том случае, например, когда во время лагерных сборов в смежности расположатся эскадроны различных полков. Я помню, в Гродно в 1870 году, на Белостокском форштадте помещались рядом

один эскадрон ямбургских и дивизион владимирских улан. Надо было видеть это веселочное соревнование! Ямбуржцы выставили какую-то узорчатую фигуру, свитую из соломы и украшенную пестрыми лоскутками. Владимирцы тоже прибегли к помощи лоскутков и устроили для себя нечто в виде медали, в середине которой красовался белый крест наподобие Георгиевского. Ямбуржцам стало несколько завидно: «Вишь, мол, яишница, егорья ухитрилась подвесить!» [14]. И вот, соревнование побудило их смастерить не то что медаль, а целую звезду с ломаными лучами. Это, в свой черед, подзадорило владимирцев, которые к своей медали подвесили обруч и в нем поместили двух кукол в виде улан в заломленных набекрень шапках. Через день точно такие уланы появились и у ямбуржцев, да не просто, а избоченясь фертом. Но владимирцы ухитрились между своими двумя уланами приладить и третьего, да еще верхом на конике, руки в боки, и пику с флюгаркой в коника воткнули – и таким образом перещеголяли ямбуржцев. Все это делалось в ожидании царского проезда, так как государь импе-

ратор должен был проезжать по этой улице к лагерному полю на смотр гродненского отряда.

На «траве» подобное же соревнование относительно украшения веселок – хотя, конечно, в меньшей степени – является между взводами одного и того же эскадрона. Солдаты очень любят, когда над их конюшнею качается красивая и притом затейная веселка. А если по соседству с веселкой появится еще ветряная мельница с трещоткой, смастеренная искусною рукою какого-нибудь взводного механика-самоучки, то уж конюшня почитается вполне изукрашенною – и солдатам остается только «утешаться» в свободные минуты на свою ветрянку да на веселку: «У нас, мол, не в пример веселей, чем в третьем взводе!»

* * *

Вечереет. Эскадронный командир, задумчиво пуская струйки табачного дыма, сидит на ступеньках ветхого крылечка, сплошь обвитого зарослью хмеля, павоя и дикого винограда. Вот эскадронный Шарик прибежал, отчихиваясь от пыли и весело виляя своим кренделем. Это значит, что старший вах-

мистр идет. И действительно, менее чем через минуту появляется солидная фигура старого Склярова.

– Кончили? – осведомляется майор.

– Слава Богу, с нонешним уроком подобрались совсем. Как прикажете на завтра?

И майор, все так же задумчиво пуская колечки дыма, обстоятельно и неторопливо отдает приказание, чтобы на завтра по расчету половину людей с шести часов утра послать в луга и начинать косить не с того места, которое ближе, а там, где трава больше выросла.

– Кирилов в стороже был, – докладывает на это вахмистр, – так он сказывал, быдто за Василёвым перелазом трава очинно густая и вся в соку стоит.

– Ну, с Василёва перелаза и начинать.

– Слушаю-с.

Затем следует обычное приказание, что, как только накосят первый воз травы, тотчас везти ее на конюшню и задать лошадям, да только не валить в ясли свежую траву на вчерашнюю, буде вчерашняя не выедена, а то перепреет под свежею и – не ровен час – лошади еще переболеют, как объедятся прели этой.

– Ты гляди, чтобы люди, каждый раз как задают свежую, непременно выбрали наперед из ясель недоед и рассыпали бы его на лужайке для просушки впрок, в сено.

– Слушаю-сь, ваше-ско-родие! Уж будьте без сумления.

– Да вот, что... Завтра я на траву поеду, так ты распорядись-ко тово... взять в луга бочонок водки и мясную порцию косарям.

– Безпрременно, ваше-ско-родие!

– Люди не вернулись еще?

– Идут уже.

И точно: из глубины леса смутно доносятся тонкие подголоски. Но вот они все ближе и ближе, так что можно уже различать и басы, и другие голоса, гулко отдаваемые, как будто с разных концов, лесным эхом. Только слов еще нельзя разобрать; но по мотиву знаешь, что это песня про «очи мои, очи», которые «не дают покою серед темной ночи».

То наши косари идут.

Вот они наконец уже в виду Ильяновского фольварка, приближаются медленным шагом; на плечах – вольно закинутые косы, а на косах у некоторых торчат привязанные пуч-

ки пестрых полевых цветов. Впереди этой вольно идущей гурьбы манерно выступают двое плясунов в высоких зеленых колпаках, сплетенных в минуту отдыха из разных злачных трав, и в руках у них пучки цветов, которыми они размахивают и поводят вместо известных хоровых «ложек». За плясунами, в таком же точно колпаке, идет запевала и энергически машет в такт кудрявою ветвью граба вместо махалки. Подобные же колпаки видны и на некоторых певцах, а другие украсили себя поверх фуражек венками.

*Стал я засыпати, горе забыва-
ти, –*

*Пришла ко мне радость – радость
дорогая,*

*Взошла на крылечко да бряк во ко-
лечко!.. –*

дружно и отчетливо выводит хор, подбодряемый энергическими жестами запевалы, задавшегося мыслью потешить господ. Майор встал со ступенек и пошел навстречу косарям.

– Спасибо, братцы, за работу!

– Р-р-рады стараться, ваше-ско-родие! –

вдруг оборвав свою песню, как один человек, рывкнула толпа полуэскадрона.

Артельщик вынес косарям водки – их дневную порцию. Я всегда замечал, что, когда солдат подходит к водке, веселое лицо его принимает вдруг сосредоточенное, солидное выражение; он, терпеливо дождавшись своей очереди, берет из рук предшествовавшего товарища «крышку», выпивает ее с необыкновенно серьезным и отчасти даже суровым видом и с молчаливым поклоном передает следующему. Это почти общая манера у наших солдат, из которых многие, коли не большая часть, прежде чем выпить, непременно наскоро и торопливо перекрестятся.

Пока косари пьют свою порцию, песенники добровольно составляют круг. Между ними появились уже и «ложки», и "тарелки*", и бубен с пестрою махалкой! Они тихо, вполголоса, сговариваются и советуются промеж себя, какую бы песней наперед всего потешить господ.

Но вот последний рекрутик, конфузясь, неловко как-то выпил свою «крышку». Все люди примолкли, переглянулись между со-

бою и вдруг...

– Покорнейше благодарим, ваше-ско-родие! – веселыми и довольными голосами несется дружный крик из толпы, а затем сейчас же:

*Солдатушки-ребятушки,
А где ж вата тетка? –
Наша тетка – командерска вод-
ка, –
Вот где наша тетка!*

Около получаса продолжается пение разных, наиболее излюбленных песен. Офицеры все сидят на крылечке, а тут же рядом, на чистом воздухе, кипит самовар и денщики, звеня ложечками, наливают душистый чай в стаканы.

Солнце садится, и в тихом вечернем воздухе вьются целые столбы лесной мошки, предвещающая назавтра ясную и жаркую погоду. Лес начинает кутаться в тонкую сизоватую дымку, а по верхушкам сосен еще скользят и искрятся лучи заката, обливая горячим красным светом всегда и без того красноватые сосновые стволы и сучья. Птицы замолкли, только один черный дрозд выводит еще вре-

мя от времени свой мелодический высвист где-то в густых ветвях ближнего дерева, да голенастые аисты, слетевшись в свои гнезда на сон грядущий, топчутся в них, помахивая крыльями и высоко задрав кверху красноносые головы, производят своими клювами какой-то странный, но не лишенный мелодичности звук, сначала медленный, разделенный, потом все ускоряющийся и наконец переходящий в частую дробь, которая очень похожа на звук деревянной трещотки.

Но – чу!.. Резко и громко раздаются по лесу звуки трубы, играющей людям «Сбор» на вечернюю кашницу, И вот идут они вольными группами – кто с котелком, кто с миской, с кувшином или с бадейкой, и у каждого в руках своя деревянная ложка и своя порция хлеба, идут, мелькая меж кустов белыми кителями, которые то там, то здесь вдруг принимают на мгновение розовый тон, когда случайно ударит на них косвенный луч, прокравшийся между стволами. Веселый и разнообразный говор сопровождает эти группы. Кто-то рассказывает, жестикулируя руками, должно быть, очень смешное, потому что взрывы

смеха то и дело раздаются в одной из удаляющихся кучек. В другой кучке кто-то с кем-то считается за какие-то провинности. В третьей – одинокий голос чувствительно выводит высоким фальцетом заунывную песню про то, как «собачка верная, зверек, завоюет у ворот». Люди спускаются с горы к берегу озера, где выкопана в земле эскадронная кухня, прикрытая с трех сторон навесом, устроенным в виде шалаша из еловых ветвей, камыша и хвороста. Едкий белый дымок выбивается и струится из-под навеса, а вместе с его запахом в тихом, безветренном воздухе распространяется также и вкусный пар от крупяной похлебки с лучком, с перцем, с картофелем и с поджаренными шкварками из свиного сала.

Отдельными группами привольно раскидываются люди на зеленой лужайке и начинают свой ужин. Речи почти совсем утихают, и слышится лишь одно смакование. Не едят только трое: кашевар, дежурный унтер-офицер да трубач – они потом поужинают себе на просторе, а теперь у каждого своя забота: кашевар в белом фартуке то и дело мешает горячую похлебку большим деревянным уполов-

ником да подливает охочим едокам, которые подходят к нему со своими посудинами, прося прибавки; унтер-офицер наблюдает за тишиной и порядком, а трубач время от времени наигрывает разные кавалерийские сигналы.

– Это какой сигнал? – наставительно, экзаменаторским тоном, спрашивает старослуживый дядька у двух племяшей-рекрутов.

– Это, дяденька, должно стать, «направо»! – неуверенно отвечает один из них.

– Где ж тебе «направо»?! «Направо» будет вот эдак: «левый шенкель приложи и направо поверни», – вразумительно подпевает дядька. – Вот тебе «направо»! А это – сам слышишь – это во как: там, там, та-ти-там! там, там, та-ти-там!

– Это, дяденька, «еплюяда», – оскаливаясь широкою улыбкой, замечает другой рекрут.

– Эва, куда хватил! Еплюяда – та совсем иначе!.. Амплев! – возвышая голос, поворачивается он к трубачу: – Трескани-ко племяшу еплюяду! Пущай поучится!

Трубач играет деплюяду.

– Вишь, она как! Понимаешь? А это: там, там, та-ти-там! Это – наступление пополуэскадронно, после чего атака врассыпку бывает на артиллерию аль на стрелков.

Трубач играет сигнал «повзводно налево кругом».

– А это что? Знаешь?

– Знаем, дяденька, знаем! – подхватывают враз оба рекрута. – Это значит: «Антон козу веде, бисова коза нейде – иды-ж»!

– Верно! – соглашается наставник. – Эта Антонова коза, братцы, самый что ни на есть ледащий сигнал, потому он к неприятелю спиной поворачивать повелевает! И ты его не моги любить!

– А коли начальство так укажет?

– Указ – это особь статья! Укажут, так сполняй, а сам по себе ты все ж таки любить его не моги!

– А почему? – наивно спрашивает один из племяшей.

– А потому, что вашего брата ноне не бьют, так вы и не знаете, что означает спину подставлять. У тебя, к примеру сказать, где хрестат? На груди аль на спине болтается?

– Известно, на груди, дяденька.

– Вот то-то же и оно! И для того, что у тебя хрест на груди, ты и есть православный воин, – философствует дядька. – Потому в Писании сказано есть: «сим победиши» – это означает, что хрестом ты неприятеля одолеешь, а как хрест у тебя на груди, так, значит, и ломи на неприятеля грудью, а покажешь ему спину – он тебе ее пулями горячими и вспишет! Понимаешь?.. Потому-то вот, еплюду и вобче всякое наступление уважай, а Антонову козу не моги любить!

Кавалерийские сигналы, к которым слова были некогда сочинены знаменитым кавалеристом – графом Дмитрием Ерофеевичем Остен-Сакеном, солдаты у нас заучивают вообще довольно скоро, чему способствуют, с одной стороны, именно слова, обращающие сигнал в подобие пословицы или песни, а с другой стороны – самая система обучения, коль скоро она ведется таким образом, что в свободные минуты (как, например, во время обеда или ужина) трубач постоянно наигрывает сигналы на трубе, а опытные солдаты, заставляя молодежь вслушиваться в звуки,

учат ее с голоса словам и объясняют при этом значение каждого сигнала. Таким образом, обучение, не имея, так сказать, казенного, принудительного характера, идет как бы само собою, исподволь, незаметно, и глядишь – рекрут, поступивший в полк в марте месяце, к весеннему кампаменту знает уже аллюрные и поворотные сигналы, а к осеннему сбору изучение его простирается и до знания всех вообще сигналов, которые необходимы собственно солдату. Но замечательно при этом, что большую часть сигнальных слов солдаты переиначили совсем по-своему, как, например, эту же самую Антонову козу и многие другие, где дан у них полный простор своеобразному и не всегда скромному юмору. Эти последние сигналы заучиваются еще скорее и охотливее.

– Смирно!.. – раздается вдруг команда дежурного унтер-офицера, который, заприметив в кустах подходящего к кухне эскадронного командира, спешит к нему с форменным рапортом, что к ужину, мол, имеется такая-то похлебка на столько-то человек, столько-то фунтов крупы, масла столько-то и проч.

Дежурный обязан знать это с самою полною точностью, так как выдача и прием из кладовой всех вообще припасов и кладка их в котел производятся не иначе как в его присутствии, дабы не могло быть никакой потаенной сделки между кашеваром и артельщиком.

При этом громогласном «Смирно!» солдаты мгновенно оставили ложки и повскочили с мест, тотчас же вытянувшись в струнку.

– Сидите, ребята, сидите!.. Не вскакивать!.. Ешьте себе с Богом!

Хлеб да соль вам! – еще издали предупреждает их, махая рукою, эскадронный командир, причем вследствие его слов солдатские группы опять принимают прежнее свободное положение, и работа челюстей начинается снова. Майор подходит к кухне, чтобы заглянуть в котел, приказывает кашевару зачерпнуть себе уполовником солдатской похлебки и, остужая губами, осторожно пробует с деревянной ложки вкусное и сильно горячее варево.

Но вот ужин кончен. Эскадрон собирается здесь же, на лужайке, в одну тесную толпу,

обращается лицом к востоку и – по знаку за-
певалы – молитвенные звуки «Отче наш», ис-
торгаемые более чем из сотни сильных, здо-
ровых грудей, стройно несутся вдоль по ши-
рокой глади засыпающего озера.

Четверть часа спустя эскадрон уже утоми-
нился, и в глубокой тишине, когда подойдешь
случайно к сараю, слышно, как жуют и хру-
стят зубами кони и как в одном уголке ка-
кой-нибудь краснобай рассказывает сказку
засыпающим товарищам. На «офицерской»
кухне денщик выбивает дробь поварскими
ножами, готовя битки на ужин. В освещен-
ных комнатах сквозь растворенные настежь
окна слышны звуки цитры и разговор офице-
ров, а в прибрежных кустах соловьи перекли-
каются своими яркими песнями...

Тишь – глубокая, невозмутимая, тишь на
земле и на небе; теплый и мягкий воздух по-
лон вешней влагою, и пахнет жасмином, то-
полью и сосною, и в то лее время отдает слег-
ка и сыростью воды, когда чуть заметное ду-
новение мягкого ветерка потянет с озера к ле-
су. Темная, но ясная ночь воцаряется над лес-
ною пустыней.

7. На сенокосе

Утром, часу в одиннадцатом, к крыльцу подводят заседланных лошадей. Закурив сигары, мы целою компаниею отправляемся в луга, на траву, куда косцы очередного полуэскадрона ушли еще в шесть часов, чтобы воспользоваться для работы временем, пока солнце не так сильно припекает. Офицерские собаки являются добровольными и неизменными спутниками этих прогулок. Они уже по этим коням, подведенным к крыльцу, как бы догадываются, чуют и понимают, что предстоит прогулка, и потому прыгают вокруг них с веселым визгом и лаем, пытливо и ласково засматривая в глаза и людям и коням.

Поехали. Выбрались из лесу; едем по узкой меже, мимо зеленеющих овсов, которые являются теперь великим соблазном для лошадей: так их и тянет нагнуть шею да зашипнуть зубами вкусный зеленый пучок этого лошадиного лакомства! И как им, должно быть, завидно теперь глядеть на этих собак, которые рыщут себе по полю, где сами хотят, то и дело швыряясь в стороны, ныряют в овес, исчезая

на минуту в его зелени и снова мелькая на солнце своею белою волнистою шерстью с коричневыми пятнами. Это не то, что чинно и смиренно идти на мундштуке, чувствуя на своей спине всадника и покоряясь его воле, тогда как зеленые метелки овса так и манят к себе, словно сами напрашиваются на зубы... А глупые собаки и не догадываются, что здесь можно бы в досталь полакомиться!.. Вот и луга! Стаи мелких мотыльков и мушек, кобылки и коромысла вьются и реют над высокою травой, которая роскошною изумрудною заростью покрыла сыроватую низину. Верстах в двух впереди видна дубовая роща, где торчат между прочими несколько деревьев, в разное время опаленных молнией. Не знаю уж почему, только громовые удары, по приметам местных старожилов, разряжаются преимущественно над этою рощей. Вон там, неподалеку от нее, видны ряды наших косцов. Освященные солнцем, они пестреют издали на зеленом фоне луга своими яркими рубахами, где перемешались цвета: розовый и голубой, красный, белый и желтый. Подъезжаем совсем уже близко, так что явственно слышен

мерный, шуршащий звук лезвий нескольких десятков кос, под размахом которых трава ложится волнообразными рядами. Косари правильной цепью подвигаются плавно вперед – размах руки усерден и верен, – работа кипит у них, и обеспокоенные лягушки то и дело в смятении прыгают из-под ног. Волосы на висках у людей совсем уже смокли от обильного пота, а железо кос меж тем искрами сверкает на солнце, и лица у всех косарей бодрые и веселые – потому каждому известно, что майор еще с вечера приказал вахмистру захватить в луга по порции холодного мяса на человека да бочонок водки.

Скляр, завидя господ, еще издали идет к нам навстречу с многодогольной, тихой улыбкой, задумчиво и машинально погрызавая и троща в зубах длинный стебелек какого-то полевого злака. Но Шарик, никогда и нигде не отстающий от своих, уже далеко опередил его, успев повстречаться и, по обыкновению, снюхаться с нашими сеттерами. Ласково играя, грызясь и борясь с ними лапами, он как бы чувствует, что здесь он в некотором роде хозяин, к которому пожаловали го-

сти-приятели, и бодро, вприпрыжку бежит к нам навстречу со всей своей песьей компанией, намного превосходящей его ростом и силой, что не мешает им, однако, жить между собою в отличнейшей дружбе.

Под самую рощей стоит воз и пасется пара стреноженных артельных лошадей, которые вскоре повезут копну травы в эскадронные конюшни. Тут же рядом, под тенью развесистого дуба, солдаты успели уже смастерить из валежника шалашик и покрыли его соломой да ветвями. Как хорошо теперь полежать на свежей душистой траве под его сенью! В шалаше поставлено ведро с холодной водою из криницы, чтобы незачем было косякам далеко ходить, когда захочется промочить пересохшее горло, – и тут же в уголке выглядывает из-под накиданной травы бочонок, спиртуозный запах которого ясно дает знать о том, что в нем заключается. Перед шалашиком дымится маленький костерок, и на нем в котелке что-то варится.

– А я, как значит, в ожидании, что ваше высокоблагородие с господами изволите приехать, – докладывает майору Скляр, – так,

собственно, по той причине самоварчик наставил, потому, думаю, может, чаю уютно будет выпить... И вот тоже ребята купаться в речку бегали, так раков наловили для господ – варятся вон в котелке, скоро готовы будут, – может, закусить пожелаете? У меня про запас, значит, все захвачено с собою!

Спасибо старому Склярору! Его предупредительная заботливость устроила для нас нечто вроде таборного пикника, очень скромного, но – благодаря своеобразной обстановке – очень приятного. Это, между прочим, одно из проявлений тех простых, доверчивых, душевных и, так сказать, родственно-добрых отношений, которые, без малейшего ущерба дисциплине и субординации, благодаря Богу, существуют еще в русской армии между солдатом и «своим» офицером.

Майор осмотрел траву, осведомился, много ли выкошено, сделал несколько соответственных распоряжений и приказал людям на полтора часа зашабашить. Это время, т. е. около полудня, дается им на закуску и отдых. Последовала обычная процедура с командирской водкой, и затем солдаты разлеглись себе

в тени под деревьями.

– Только, гляди, не ложись на брюхи, ребята, а то холера скрючит, – внушительно предостерег их при этом вахмистр.

Мы между тем отлично позавтракали вкусными раками, вволю напились чаю и вволю отдохнули в шалашиках. Два часа прошли незаметно. Люди, поднятые с отдыха вахмистром, уже давно принялись за свою работу, когда мы нехотя расстались наконец с гостеприимною сенью шалаша, где так приятно лежалось и дремалось на душистой траве, заменявшей нам тюфяки и диваны, и где можно было притом лежать в тени, тогда как солнце обливало землю потоками горячего света. Но, во всем последовательный и всегда систематичный, хотя и коренной русский человек, наш майор объявил нам, что время ехать, потому дома обед ждет, – а майор, в силу своего стародавнего обычая, не любил манкировать положенным часом своего обеда. В силу того же старого (но ныне уже исчезающего) обычая, который еще в начале 60-х годов был общим обычаем в русской кавалерии, офицеры и юнкера «своего» эскадрона,

во время «травы» и на зимних квартирах всегда пользовались у майора открытым столом. В этом отношении наш добрый и простой майор был совсем командир старого закала. И Боже сохрани, если бы в то время, когда сам он жил при эскадроне, какой-либо из его офицеров вздумал готовить для себя отдельный стол на свои собственные средства! Майор, конечно, не сказал бы ему ни слова, но почел бы себя глубоко и беспричинно обиженным таким поступком. Однажды его офицеры, зная очень хорошо, что он человек далеко не богатый, вздумали было со всевозможною деликатностью предложить ему каждый за себя условленную месячную плату за стол. Майор жестоко оскорбился этим предложением.

– Черт возьми! – весь вспыхнув, вскричал он голосом, исполненным обиды и негодования. – Я, кажется, ничем не подал вам, господа, повода оскорблять меня подобным образом! Я для вас эскадронный командир, а не трактирщик! Я сам был субалтерном и сам всегда ел у своего командира... Это обычай – святой обычай!.. И вы, когда будете эскадронными, вы его не преступите, если вы порядоч-

ные люди!..

Минута этой вспышки долго была памятна всем офицерам. Понятно после этого, что, уважая и ценя в своем майоре его честный, патриархальный нрав и обычай, мы, конечно, подчинялись ему беспрекословно, а потому и теперь поспешили сесть на коней, когда он напомнил нам, что дома обед ожидает.

8. Велля Гершуна

Ехали мы под палящим, невыносимым солнцем. Кони, угнетенные жарою, понурились и подвигались через силу вялым, ленивым, размаянным шагом.

– Фу!.. Поскорей бы до леса добраться! – истомно проговорил Апроня.

– С полверсты осталось, не более, – заметил на это наш юнкер. – Вон, уж Гершкина корчма видна под лесом.

– Просто смерть как пить хочется!

– Это от раков! – совершенно правильно пояснил майор. – А что, господа, – прибавил он, обращаясь ко всем, – нет ли у кого спичек? Закурить хочется.

Но – увы! – огня ни у кого не оказалось.

– Как на грех, все вышли! – вздохнул юнкер, показывая пустую спичечницу.

– Ну, да вот, впрочем, у Гершкиной корчмы и напьемся, и закурим, – пообещал майор в утешенье. – А у вас, кстати, подруга ослабла, – заметил он, обращаясь ко мне. – Как остановимся – подтяните.

Все эти маленькие обстоятельства сложились таким образом, что, по общему убеждению, остановка у Гершкиной корчмы являлась в некотором роде необходимостью.

Эта корчма, как и все вообще литовские придорожные корчмы, отличалась отсутствием, так сказать, домовитости и хозяйственности. Вы видите просто убогий домишко, кое-как построенный из битой глины, кое-как выбеленный и покрытый соломою, – домишко, который торчит себе один-одинехонек где-нибудь под лесом или в чистом поле, на перекрестке двух проселочных дорожек, – и не видеть вокруг него ни забора, ни огорода или садика, ни амбара, ни сарайчика, ни иной какой-либо хозяйственной постройки – словом, ничего такого, что могло бы служить признаком сельского труда и домовитой оседлости.

При Гершкиной корчме не имелось даже навеса, под который проезжему крестьянину можно бы было поставить свою клячонку. И действительно, в этих придорожных халупках обитает люд, для которого окончательно не существует никакого производительного труда. В них селится обыкновенно еврей, обремененный более или менее многочисленным потомством, селится кое-как, на скорую руку, в тесноте, в бедноте и в грязи с единственной целью – «айн гитес гешефт мухен». Для этого «гешефта» он обыкновенно снимает в аренду у местного сельского общества придорожную хатку на курьих ножках, берет в акцизном управлении билет на право продажи, запасается на всякий случай «алем-биком» для «дысты-ляции» и «ливером» для насасывания водки из бочонка, затем покупает на водочном заводе бочку «картофлянки» да бочонок «спиритуса» – и, перебравшись в халупку со чады и домочадцы, со всеми «менетками» и «бебехами», открывает «гандель». Ему незачем иметь корову, чтобы достать молока, ему не нужна и домашняя птица да незачем и трудиться ни над посевом картофе-

ля, ни над грядкой огородной овощи: все это, в случае надобности, нанесут к нему в достаточном количестве окрестные или проезжие «хлопы» за какую-нибудь «полкварту» картофельной водки. Скучно, неприглядно и даже небезопасно порою жить одному, без соседей, на таком безлюдном пустыре, под громадным староверочным лесом; но еврей мирится со всеми неудобствами и даже со всеми страхами своего эфемерного существования, имея в виду «гандель» и «гешефты» и принимая при этом в соображение одно только существенное обстоятельство, а именно: насколько выгоднее арендовать корчму в той или в этой местности?

Мы подъехали к Гершкину обиталищу, но ни вокруг корчмы, ни внутри ее души не было заметно. Палящая жара, очевидно, загнала все живое в какие-то неведомые закуты; даже еврейская неугомонная детвора, которая вечно торчит на дворе, теперь тихо заби-лась, запряталась в какие-то темные уголки, ища себе прохлады от этого душного зноя.

– Гей! Кто там у вас?!.. Есть ли жив человек? Отзовися! – зычным голосом закричал

Апроня.

Спустя минутку внутри как будто что-то зашевелилось. Послышался скрип внутренней двери, а затем приотворилась и наружная, из-за которой таинственно глянул на нас облик молодой женщины. Что на ней было надето – мы, по краткости времени, не могли заметить, но видели только, как из мрака сеней сверкнуло белизной полуобнаженное плечо, как она поспешно и стыдливо постаралась прикрыть рукою свою расстегнутую грудь и в то же мгновение сконфуженно поторопилась скрыться опять в глубину сеней, захлопнув за собою двери. Осталось у нас только мимолетное, смутное впечатление как бы чего-то сверкнувшего, чего-то очень красивого.

– Что сей сон значит? – с улыбкой спросил Апроня, обводя всех нас недоумевающим взором. – Вот уж именно, «как мимолетное виденье, как гений чистой красоты»! Откуда это и кто она – не знаете, господа?

Но на последний вопрос никто из нас не мог дать никакого ответа: мы, точно так же, как и Апроня, ничего не знали и, как и он же,

каждый готов был в свою очередь спросить: «Что сей сон значит?»

– Ге! Да выйди же наконец кто-нибудь!.. Гершко! Дьявол!

– Зараз, зараз, паночку! Зараз! – слышался сильный заспанный голос, сопровождаемый катаральным хрипом и кашлем.

Через минуту на пороге показался сторбленный, пожилой еврей, с сивыми пейсами и такую же бородкой, в порыжелой, засаленной ермолке, сбитой в сторону и на затылок, в «пантофлях» на босу ногу и в рваном «лапсардаке», из-под которого мотался талисман-нический «цыцес». Лицо его было багрово и одутловато, а голова, почти без шеи, плотно сидела на коренастом, приземистом туловище. Это был сам корчмарь, реб Гершко Гершуна. Не надо было быть особенным специалистом, чтобы, взглянув на его лицо и фигуру, сразу и безошибочно определить, что естественная смерть реб Гершуны впоследствии не иначе как от апоплексического удара. Почтенный Гершко «по слабости здоровья» сильно придерживался чарки и каждый вечер был уже положительно, что называется, «готов». А на-

до заметить, что подобная слабость является редким исключением в среде евреев. Они, вообще, хотя и пьют, но очень умеренно и почти никогда не напиваются допьяна. Почтенный же реб Гершуна благодаря своей «слабости здоровья» сделался притчей во языцех и постоянным предметом пересудов между всеми окрестными соплеменниками; на него указывали, как на пагубный пример, как на позор во Израиле, прибавляя при этом с укоризной: а еще старозаконный! Реб Гершко при этом, как бы сознавая свое непотребство, обыкновенно вздыхал сокрушенно, поцмокивал языком, покачивал головою, почесывал в затылке и все сваливал на судьбу да на слабость здоровья, оправдываясь тем, что как же, мол, ему не пить, если он овдовел, а жена и не подумала о том, что, умирая, она оставляет на его вдовьи руки столько ребят мал мала меньше! Всему причиною, значит, неуместная смерть жены, которую он так оплакивает, так горько и чувствительно оплакивает, что только в вине и может топить свое горе. Добрые люди советовали было реб Гершуне жениться вторично, и он сам

был не прочь, но слава о слабости его здоровья шла столь далеко, что ни в ближних, ни в дальних местечках решительно не находилось ни одной охотницы связать себя супружескими узами со старым и пьяным Гершкой. Понятное дело, что при такой слабости здоровья гандловые дела и гешефты Гершуны шли очень плохо. Он имел возможность только кое-как перебиваться изо дня в день со своею детворою, но при всем этом не роптал ни на людей, ни на Бога и был человек положительно добрый, смиренный и общительный, который любил и угостить, и выпить в компании «с хорошим человеком». Поэтому нет ничего мудреного, что к солнечному закату реб Гершко всегда оказывался не вяжущим лыка. Теперь он вышел к нам вполпьяна и, очевидно, только что спросонья.

– Стакан воды, пожалуйста! И огня давай! – обратились к нему разом и майор, и Апроня.

– Ой, васше бляхгородю, у нас такой похганный вода з речку, сшто й пить не под лицо таким бляхгородни гасшпидам, – замахал рукою Гершко, скривив свою физиономию так, чтобы она самым наглядным образом выра-

жала отвращение. – А взже як ви так гхочете, то у мене есть миод на ледовня, гхаросши миод, лицец! То взже лепш викусшайте лицец!

– Давай чего хочешь, только поскорее! – согласились наши жаждущие.

– Велля! – повернувшись к двери, закричал реб Гершко.

В темном пространстве сеней как-то скромно и стыдливо показалась стройная фигура высокой девушки, которая тщательно кутала в большой белый платок свои плечи. Реб, отдавая приказание, торопливо затараторил что-то по-еврейски, в чем мы могли разобрать только одно: «айн липцес-бутельке..»

Пока я, соскочивши с седла, подтягивал подпруги, а реб Гершко, жалуясь на жару и духоту, подносил майору зажженную спичку, на двор высыпала вся ватага его замурзанной, ободранной детворы, которая осматривала нас с равнодушным любопытством.

– Все твои? – кивнул майор на ватагу.

– Уше мои! – с отеческой радостью ответил реб. – Уше Гершки и усше Гершту-нятки! Богх благхосшловил мене!

– А та мадам – жена твоя, что ли?

– Зжвините, она еще не мадам, а мамзжель, – с вежливой улыбкой проговорил Гершко. – И она зж не жжона мене, бо маво жжонка Богх узял до сшебе, а она мене цурка.

– Твоя дочь? – с удивлением спросил Апроня.

– Так есть, моя старсшая, сюдмнастый рок пайшел взже! И такой гхаросши еврейски девицу! Такой мондры, такой цноты, такой набозжни! – с родительской гордостью похвалялся Гершко.

– Что ж ты ее в девках-то держишь? Замуж бы пора уже! – заметил майор.

Реб скривил рожу, почесал в затылке.

– Ой вай! – цмокнул он со вздохом. – Каб якой гхаросший партый, ато партый такой ниеть!.. Тай она еще така млода и така глупя. «Ниеть, гховорить, татуле, я не гхочу замижъ, мине и так гхаросшьо!»

– Где ж она была у тебя прежде? Я что-то не помню ее... – заметил майор, пыхтя из своей коротенькой походной трубки.

Оказалось, что Велля до прошлой зимы жила и воспитывалась в Крынках [15] у своей тетки, но тетка умерла, не оставив ей ничего,

кроме кое-каких пустых нарядов, – и бедной Велле, не пожелавшей мыкаться по чужим людям в качестве «наймычки-батрачки», пришлось перебраться в Гродненскую пуцу, на отцовское «господарство». Можно представить себе, какова должна была показаться молодой девушке жизнь в этой лесной трущобе, на пустыре, да еще зимою, с оравой голодных и босых братишек и сестреночек и с вечно пьяным, беспечным и безалаберным отцом.

Между тем пока реб Гершко распространялся о Велле и ее тетке, сама Велля успела уже наскоро накинуть на себя белое с мушками ситцевое платье, в покрое которого сказывалась претензия на современные городские моды, и вышла к нам уже без тени смущения на лице, держа в руках подносик со штопором, бутылкой и двумя стаканами.

Теперь мы могли вполне разглядеть ее.

Это была красота поразительная! Хотя Велле только пошел семнадцатый год, но на вид, как и большая часть женщин азиатского типа, она казалась гораздо старше своего возраста. Вы бы сказали, что ей, наверное, уже стукнуло двадцать один или двадцать два го-

да. Представьте себе весеннюю розу в то майское утро, когда она, только что окончив ход своего естественного развития, вполне созрела, распустилась роскошным махровым цветком и вся еще скромно дышит силою нетронутой свежести – такова была Велля. Стройная, крепкая, с той плавной округлостью форм и движений, которые ясно говорят вам о сдержанной внутренней силе, о внутреннем огне, затаенном до поры до времени, и служат признаком несокрушимого здоровья и громадного запаса жизненных сил, эта девушка поражала еще и очаровательною прелестью своего лица, которое носило в себе характерный отпечаток чистого еврейского типа – но типа такого, какой встречается вам в лучших образцах искусства, воспроизводящих его на полотне во всей его библейской красоте и поэзии. Жаркий и несколько смугловатый тип лица, синеватый отлив черных курчавых волос, которые, казалось, отягощали своим изобилием ее голову, характерный прогиб бровей, яркие и несколько крупные губы – все это дышало силой и страстью; но огонь баядерки, горевший в ее глазах, умерял-

ся тенью длинных и скромно опущенных ресниц. Художник не нашел бы для себя лучшего типа, если бы вздумал писать библейскую Юдифь с отсеченной головой Олоферна. Вел-ля, как бы не замечая, что столько глаз любят-ются на нее с нескрываемым изумлением и восторгом, скромно потупив взор, показыва-ла вид, что она исключительно занята своим делом, и тщательно сбивала штопором сургуч с засмоленной бутылки. Ясный взор ее мимо-летно поднялся и сверкнул на нас на одно лишь мгновение в ту минуту, когда, напол-нив холодным медом стаканы, она поднесла их желавшим напиться. Но что это был за взгляд и что за очарование в нем светилось!

Бутылка была распита менее чем в мину-ту. Но тут случилось маленькое и неподви-женное затруднение. Оказалось, что никто из нас не догадался захватить с собою денег; да оно и понятно: на что брать с собою деньги, выезжая из дому просто себе прогуляться на какие-нибудь полтора-два часа времени?

– Сколько тебе следует, Гершко?

– Два злоты за бутелька, – с почтительным поклоном ответил еврей.

Мы объяснили ему наше затруднение.

– Ну, то ниц не шкодзе! [16] – предупредительно замахал он рукою. – Ниц не шкодзе, васше бляхгородю! Мы зже вас зжнаем! А як вам мой миодек пришелся до густу [17], то у мене завше [18] мозжно накипать скольке бутелькев. Когхда ви только сгхочете, то моя Велле будзить носить до вас на фольварок! И позёмку з лясу, и гржибы з лясу [19] так само зж мозжна носиц!

– Ну, вот и прекрасно! – подхватили чуть не все мы хором. – Пускай и меду, и поземки, и грибов, и всего пускай носит! Да побольше! Да почаще! Да присылай ее поскорее!

– Присылай сегодня же деньги получить! – крикнул в заключение Апроня. – И мы, сопровождаемые многочисленными поклонами реб Гершки, весело тронулись далее.

Тень зеленого, густого леса, навеяв тихую прохладу, видимо, освежила и оживила нашу компанию.

– Боже мой! И это – родная дочка пьяного, засаленного Гершки! – воскликнул Апроня.

– Просто оскорбительно! – сплюнул в сторону юнкер Ножин.

– Н-да! Редкостная красота! – раздумчиво согласился майор, посасывая трубочку. – И черт их знает, подумаешь, как это у них рождаются такие в подобных условиях жизни, а главное, как они могут развиваться в эту самую прелесть!.. Ведь, поди-ка, кроме «щилётке» да «цибульке» и не ест ничего, а вся так и пышет здоровьем!

– Ух, эту самую женщину да в Петербург бы!.. – не без азарта воскликнул юнкер, даже зажмурив глаза от увлечения. – Показать бы ее только в театре да на гулянье, так ведь и брильянты, и бельэтажи, и рысаки, и тысячи – все к ее ногам полетело бы! Концессии раздавать бы стала!

– Н-да! – все так же раздумчиво заметил майор. – А здесь вот и замуж ее никто не берет, потому – бедна! «Гроши не мае!» Так и завянет!

– Ну, по-моему, уж пусть лучше вянет, – высказался Апроня, – чем выйти за какого-нибудь грязного Шмульку в лапсердаке да наплодить с ним дюжину всяких шмуляток. Завянуть в глуши – это все же как-то поэтичнее!

– Просто оскорбительно! – энергически и

досадливо повторял наш юнкер.

Велля стала иногда показываться у нас на фольварке, принося каждый раз то грибов, то ягод, причем товар ее оплачивался щедрой рукою. Эта щедрая плата, вероятно, и служила причиною ее довольно частых посещений. За какой-нибудь кувшин земляники, вся цена которому десять грошей, ни один из нас, бывало, не скупился бросить лишний рубль, чтобы получить в благодарность застенчиво-радостную, прекрасную улыбку, — тем более что все мы очень хорошо знали, до какой степени дорог каждый грош этой бедной девушке и ее босоному семейству. Она являлась всегда по утрам, около того времени, как мы кончали наш завтрак, и скромно и терпеливо оставалась дожидаться нас на дворе около крылечка. Сколько раз, бывало, просили ее войти в комнаты отдохнуть, закусить — Велля всегда очень деликатно отнекивалась. Не отказывалась она только от стакана чаю, когда ей предлагали его, но и то выпивала этот стакан на крылечке, не переступая нашего порога. В этой девушке в особенности было замечательно, что она являлась к нам всегда в чи-

стенъком миткалевым или ситцевом платице, а это – надо заметить – большая редкость между евреями, не только бедными, но даже и весьма зажиточными. Можете быть уверены, что заурядная еврейка от шабаша до нового шабаша ни за что не наденет на себя чистого платья. Нельзя сказать, чтобы и наша Велля отличалась чистотою в своем домашнем обиходе: там на ней, конечно, были точно такие же грязные лохмотья, как и на каждой еврейской работнице, но к нам на фольварк она приходила всегда такая чистенькая, свежая и скромная, что казалось, будто, сознавая свою красоту, она не хочет портить изящного впечатления в людях, залюбовавшихся ею с первого раза. Каждый раз она просила позволения сорвать с куста одну или две розы и очень кокетливо украшала ими свою курчавую головку. Понятно, что с нашей стороны никогда не встречалось ей в этом отказа, а юнкер Ножин даже весьма обязательно набирал для нее целые букеты. Когда, бывало, начинали с нею шутить, она отвечала скромною улыбкой и не дичилась в разговоре; но чуть лишь эта шутка переходила предел

невинной скромности, обращаясь в легкое заигрывание, Велля вдруг вспыхивала, в характерных бровях ее показывалось тревожное движение страха и обиды – и, озираясь во все стороны смущенно-беспокойным взглядом, она торопилась уйти с фольварка. Это странное озирение по сторонам было такого свойства, что невольно казалось, будто Велля опасается какого-либо тайного и ревнивого соглядатая, который, вследствие допущенной ею вольности, имел бы право заподозрить ее чистоту и скромность. Поэтому после одного или двух опытов в подобном роде никто из нас уже не дозволял себе пускаться с Веллей в излишние вольности. Но эта пугливая и застенчивая скромность только увеличивала обаяние ее прелести. Нам, людям, заброшенным со своим эскадроном в глушь пустынного леса, где почти и не встретишь женского лица, – нам, без всяких целей и намерений, было просто приятно встречать иногда у себя на фольварке это светлое, молодое существо, во всей его несколько дикой и своеобразной прелести. Исключительная обстановка нашего существования «на травах», и эта пуца зе-

леная, и эти озера лесные, и это горячее лето – все как будто совокуплялось так, что утреннее появление дикарки Велли вносило в нашу лесную жизнь веяние чего-то поэтического. Юнкер Ножин без ума влюбился в стройную дочь реб Гершуны, Он просто бредил ею, называя ее в своем влюбленном восторге то Юдифью, то Иродиадой, рвал для нее пышные букеты, немилосердно истребляя красу наших роскошных розовых кустов и жестоко царапая себе руки колючими шипами, а в свободные часы исчезал на одинокие прогулки в глубину пущенских дебрей в тщетной надежде встретиться там со своею очаровательницей. Но, увы! – надо думать, что мечты и надежды юного Ножина не увенчивались ни малейшим успехом, потому что он возвращался каждый раз домой усталый, несколько смущенный и, видимо, обманутый в своих ожиданиях, избегая улыбок и расспросов добродушного майора.

9. Нечистая сила мутит

Как теперь помню, это было 23 июня, в самый канун Ивана Купалы. В той местности, где мы обитали, еще и досель сохранилось чествование купальского праздника во всей его древней аллегорической обрядности, а потому мы с Апроней собирались в эту ночь отправиться верхами в путцу, на берега озера Кагана, где должно было совершиться это интересное празднество, – уцелевший остаток языческих времен первобытного славянства.

Солнце начинало садиться.

Люди в урочный час под присмотром взводных вахмистров провели на недоуздках коней к водопою в ближайшее озеро. Для этого они обыкновенно, прибыв к берегу, вскакивают на спину своей лошади и с помощью шенкелей заставляют ее войти в воду саженей на пять, на шесть от берега, так как у самого берега дно слишком илисто и мелко, да и вода, взбаломученная копытами, тотчас же становится мутною. Вот уже вернулись с водопоя последовательно три первых взвода, а четвертый только еще направился к озеру.

Эта взводная очередь принята у нас для большего порядка, чтобы избежать на берегу лишней толкотни и суеты между людьми и конями – от одновременного скопления их целою массой, а также и для того, чтобы дать замутившейся воде отстояться.

Мы в ожидании чая сидели, по обыкновению, на крылечке, под навесом хмеля и дикого винограда, а в вечеряющем воздухе стояла такая невозмутимая, глубокая тишина, что до нас ясно доносились с озера и плеск воды, производимый движением входящих в нее коней, и понукания, и тот своеобразный мелодический посвист, столь хорошо знакомый кавалеристам, посредством которого всадник обыкновенно старается возбудить в своем коне охоту к водопою.

Вдруг этот плеск превратился в шум необычайных размеров. Послышались перепуганные, тревожные крики, восклицания, брань, голоса: «Держи! Лови!» Затем раздался все более и более приближающийся гулкий и сильный топот многочисленных копыт – и вдруг, через несколько мгновений, мимо нас, шагах в тридцати, вихрем пронеслось с гулом

и ржанием около десятка вырвавшихся на волю горячих коней. Это была чудная и своеобразно красивая картина! Распустив хвосты трубою и закинув гордые головы, с развевающимися гривами, с огненным взором, раздутыми ноздрями, эти скакуны без всадников, промчавшись несколько десятков сажений в одной тесной куче, вдруг ударились меж деревьями врассыпную, оглашая лес на далекое пространство своим гулом и звонким серебристым ржанием, которое подхватывалось перекатным эхом. Следом за этою ватагой неслись почти во весь опор остальные кони четвертого взвода; на большей части из них еще сидели кое-как всадники, тщетно стараясь одним недоуздкой сдержать бешеный пыл своих лошадей, которые, ошалев от какой-то неизвестной нам причины, то и дело взвивались на дыбы, давали «козлов» [20] и изо всей силы порывались вслед за умчавшимися скакунами. Из опрокинутых людей, кое-как успевших подняться на ноги, иной торопливо старался поймать конец недоуздки, другой бежал что есть мочи за своим конем, третий, подданный кверху ловким «козлом» и

сброшенный наземь через голову, к счастью успев не выпустить из рук недоуздок, силится реем корпусом, откинутым в упор, удержать вырывающуюся лошадь. И все это сопровождается криками и смятением солдат, бегущих вдогонку, – словом сказать, переполох поднялся ужаснейший!

Я был командиром 4-го взвода, и потому понятно, что происшедшая неожиданность касалась меня самым ближайшим образом.

Вдруг смотрю – бежит ко мне Слуцкий, мой взводный вахмистр, застегивая на ходу свой китель. Слуцкий – это ражий детина, чуть не косая сажень в плечах, с великолепными окладистыми черными баками и с голосом, который гудит у него как из бочки, вследствие чего в хор песенников Слуцкий всегда «слушает октаву».

– Ваше благородие! Беда! – еще издали вопит он впопыхах и в испуге. – Явите Божию милость!.. Надо доложить майору!..

– Как это у вас там случилось? – спрашиваю его.

– Да Банник под рекрутиком, под Пашиным, спужамшись чего-то, шарахнулся в сто-

рону, смял в воду и Пашина-то, а сам ударился в кучу коней, переполоху наделал такого, что просто ужаси! А за ним и все другие кони словно ошалели, тоже шарахнулись – эфтим манером и вышла вся каша!.. Явите Божескую милость, ваше благородие!

Я побежал к майору, который, вернувшись после обеда с лугов, прилег соснуть до вечернего чая. Узнав, в чем дело, он приказал сейчас же заседлать нескольких лошадей и послать на них наиболее смышленных и знакомых с местностью солдат разловить убежавших скакунов, а другую часть людей отправить с той же целью пешком. Так как происшествие случилось в моем взводе, то я счел обязанностью вместе со своими людьми тоже отправиться на поиски.

– Кстати, захватите трубача с собою, – посоветовал мне майор. – И велите ему время от времени играть сбор: на звук трубы кони легко и сами соберутся.

Человек восемь всадников отправились по разным направлениям леса; я со Слуцким и с трубачом – выбрав себе между ними направление, приблизительно центральное, – поеха-

ли прямо по лесной целине в глубину пущи. Где рысцою, где шагом, пробираясь между кустами и старыми деревьями, мы отъехали от фольварка версты на три, когда я приказал трубачу впервые подать сигнал. Амплеев приставил губы к трубе – и «сбор» зарокотал по пустыне леса. Как только замер в отдаленном эхе последний звук трубы, мы стали прислушиваться, и вдруг из двух или трех концов леса как бы в ответ на призыв сигнала послышалось вдали тонкое конское ржание.

– Ага, почуяли, значит! – заметил Амплеев.

Мы продолжали прислушиваться, стоя на месте еще в течение нескольких минут, но ржание не повторялось и среди лесной тишины ничто пока не служило признаком приближения лошадей. Отъехав вперед еще на версту, мы повторили «сбор», но результат остался столь же безуспешным.

– Ваше благородие! – обратился ко мне Слуцкий. – Не подать ли бы лучше «апель» вместо «сбора»?

– А что? – отозвался я.

– Да так; потому «апель», значит, конь за- всегда не в пример лучше чувствует.

– Дай «апель», Амплеев!

И лесная пустыня резко огласилась дребезжащею высокою трелью сигнала. Слуцкий соскочил с лошади и, не выпуская из руки трензельного повода, прилег ухом к земле и стал прислушиваться.

– Гудеть, ваше благородие! – с какою-то таинственностью, вполголоса, сообщил он через минуту.

– Что гудёт?

– Земля гудеть... значит, топот слышен.

– Далеко?

– Сдается так, быдто все ближе... все гулче становится...

Подать бы, ваше благородие, еще разок?

– Труби! – приказал я Амплееву.

И вот минуты две спустя после повторенного сигнала снова раздалось уже где-то недалеко серебристое ржание, а затем, через несколько времени, ясно послышался топот и треск сухого валежника, ломаемого под тяжестью конского копыта.

Мы внимательно напрягли и слух и зрение.

Через минуту на небольшую открытую ло-

цинку, лежавшую перед нами, выбежал конь Аслан и, остановясь от нас шагах в полтора-ста, чутко насторожил строгие уши, понюхал воздух и вдруг, испуганно шарахнувшись в сторону, в одно мгновение исчез куда-то вправо за густыми кустами.

Слуцкий живо очутился на седле и, пригнувшись к луке, чтобы защитить лицо от хлестких прутьев да от колючих сосновых ветвей, пустился – по мысленному предположению – наперерез Аслану.

Мы остались дожидаться на месте.

Опять послышался треск сучьев и топот, и опять выбежала на лощину лошадь, почти в том же самом направлении, как и Аслан, и – точно так же, как и он, – приостановилась, озираясь по сторонам. Видимо, усталая, она обмахивалась хвостом и отфыркивалась.

– Э, да это, никак, Бобелина! – шепотом заметил Амплеев.

И действительно, взглядевшись, я узнал в этой сухощавой длинношеей кобыле нашу кроткую Бобелину.

Лошадь, меж тем завидя нас, радостно заржала, высоко подняв голову, и вдруг напра-

вилаась прямехонько-таки к нам совсем покорно, смиренно и легенькою рысцою. Амплееву не стоило никакого труда шагом податься ей навстречу и, осторожно приблизясь, схватить ее за болтавшийся недоуздок.

Спустя около четверти часа вернулся и Слуцкий, ведя за собою Аслана.

– Где тебе удалось поймать его?

– А, ледащий конь, – проворчал он с неудовольствием. – Все лицо из-за него прутьем перещарапало! Нагнал уж я его вона где! В болоте! Никак к себе не подпускаить, хоть что хошь! Чуть я подойду эдак осторожно сбоку – он сейчас это в сторону и шабаш! Ничего не поделаешь! Умучил просто! И до тех пор не давался, пока его по брюхо в болото не втемяшило; уж тут только я мог взять его, да чуть было сам не утоп совсем! Вона как разубрался – страсть!

И действительно, Слуцкий и оба коня были мокры и покрыты зелеными прядями болотной тины.

– Амплеев, возьми Аслана с Бобелиной к себе в заводь, и пойдём далее! – распорядился я.

– Ваше благородие, вам угодно... вперед? – каким-то странным, подозрительным тоном спросил меня Слуцкий.

– Да, вперед, а что такое?

– Да оно ничего-с... а только... конечно... Кто его знаить!.. Как бы не спужаться вам, не ровен час...

– Что ты за чушь несешь! – с удивлением оглядел я моего взводного. – Чего я там буду «путаться»?!

– Виноват, ваше благородие! Есть воля ваша, а только... неладно там.

– Да говори ты, любезный, толком! Что такое не ладно-то?

– Конечно, ваше благородие, в добрый час сказать, а в дурной помолчать... А я к тому, собственно, изволю докладывать, что темно уже становится, – ну... а ночь-то нынче купальская-с.

– Так что же?

– Как угодно вашему благородию, но только я, значит, как вот стою перед вами, так точно сваими глазами видел... Там, ваше благородие, «оно» ходит...

– Пьян ты, братец, что ли?! Какое там еще

«оно»?

И, не дожидаясь объяснения, я сказал людям: «Шагом марш» – и тронулся далее.

– Кто его знает, ваше благородие, что «оно» такое, а только ходить... Сам, значит, видел, – на ходу уже продолжал докладывать мне Слуцкий. – Я, этта, крадусь к Аслану, а «оно» мне навстречу... И больше не будить, к примеру, как вон до того дерева – шагах в тридцати, значит, остановилось и смотреть на меня, и покажись мне, что жалостно так, во все глаза то-ись смотреть! А потом вдруг шась в сторону и пропало – ну, вот словно сквозь землю провалилось!

– Померещилось, может? – заметил Амплев. – В лесу это бывает об ину пору.

– Чего те «померещилось»?! Пьян я, что ли, и в сам деле?! – огрызнулся на него Слуцкий. – Говорят те, сваеми глазами, а он – «померещилось»!

– Какое же «оно» с виду-то? На что похоже? – спросил я с невольною улыбкой.

– Белое, ваше благородие, как есть все белое, и на голове, словно как у покойников, саван, алибо платок какой, не знаю уж, а толь-

ки что белое – это верно-с!.. И как быдто женска пола, ваше благородие.

– Ну, баба какая-нибудь пошла свенто-янския травы собирать, и только; а ты – солдат – испугался!.. Эх, брат!

– Есть воля ваша! А тольки не похоже «оно» на бабу деревенскую, хоша и точно, что скорее сдаеть на женский пол, одначе ж не баба, потому ежели баба – ту сейчас видно!

– А этта, ваше благородие, – помолчав минуту, снова заговорил Слуцкий таинственно понилсенным тоном, – я так думаю, что это никто больше как... французинка... та самая, что штабс-ротмистр анадысь изволили вам сказывать... Это она самая и есть!

«Ильяновская легенда!» – подумал я про себя.

– А разве вы еще не забыли про нее? – спросил я Слуцкого.

– Зачем забыть, ваше благородие! Нам, как тодысь про нея денщики сказывали, так очинно даже занятно!.. И мы часто потом промеж себя толковали, да и ночные наши тоже видели, как и я же вот теперь. Да и что ж мудреного! – несколько философски продолжал

мой взводный. – Места здесь самая подходящая! И лес, этта, и болота, и озера – вся эта нечисть любит ведь по таким труппам водиться, а нонче к тому же Аграфена-купальщица – вот и выползла, значит, на свет Божий. Сегодня ей шабаш!

– А что, Иван Антоныч, – не совсем уверенно обратился к Слуцкому Амплеев, – кони-то сегодня ни с того ни с сего разбежались – ведь это все, поди-ко, ёйныя же штуки! Пожалуй, что она все шkodит!

– А ты как понимаешь?! – как бы нехотя, но уверенно и авторитетно ответил ему Слуцкий и замолк.

Разговор прекратился.

Солнце давно уже село, и в лесу с каждой минутой становилось все более сумрачно и сыровато. Проехали мы вперед еще около версты от места нашей последней остановки.

– А ну-ко, Амплеев, подай еще «апель», – распорядился я, когда мы выехали на одну из лесных тропинок, которую можно было разглядеть еще в сумраке по двум глубоким колеям, проложенным крестьянскими возами.

Сигнал был подан.

– О-го-го-го-о-о! – долетел к нам издали человеческий голос.

– Леший!.. – проговорил Амплеев с какой-то странною улыбкой, которая послышалась в его слегка дрогнувшем голосе, так что выходило – не то в шутку сказал это, не то в самом деле рассказы Слуцкого оставили в нем свою долю суеверного впечатления.

– Дура! – буркнул на него взводный сквозь зубы. – Это, ваше благородие, должно, кто-нибудь из наших голос подает, – обратился он непосредственно ко мне. – Может, подождать прикажете? Авось подъедет!..

И мы придержали коней.

– А что ж, Иван Антонович, – с той же улыбкой в голосе продолжал Амплеев, – разве не бывает так, что «оно» нарочно заводит? Для того и голос по-человечьи подает!

– Ну и пуцай его! – нехотя и с оттенком неудовольствия проворчал Слуцкий. – «Заводить»!.. Выдумал тоже – «заводить»! Мы здесь теперича, братец мой, на торной тропе стоим, а она все куда ни на есть да выведет! Это не то что, как давича, по целине да по болоту! А здесь к тому же видко; даже горазд видчея,

чем там было.

В это время навстречу к нам по тропинке выехал всадник.

– Это ты, Андрей Васильевич?

– Так точно, ваше благородие! – ответил голос Склярова.

– Ну, что? Как там у вас? Разловили?

– Есть-таки. А у вас две?

– Две: Аслан и Бобелина.

– Ну и слава Богу! Восемь коней, значит, поймано. Одна Астролябия только отбилась в сторону, к Гершкиной корчме побежала, – объяснял вахмистр. – Ну, да туда за ней Вороненко с тремя солдатами погнал; надо быть, переймут и ее!

– А всех-то девять бежало?

– Так точно. Шестерых уж домой повели. Стало быть, и нам больше делать нечего. Поворачивай, ребята!

И мы, взяв себе в вожак Склярова, которому уже хорошо была известна эта тропа, направились по ней к Ильянову.

10. Ночь на Ивана Купалу

Через несколько времени влево от нас, в той стороне, где старорослый хвойный лес был несколько реже, я заметил вдали мелькающий между деревьями отблеск какого-то зарева, а еще спустя несколько минут до нашего слуха стал доноситься с той лее стороны гул людского говора и звуки песен. Женские голоса были слышнее.

– Ишь, у мужиков-то гульба¹ – заметил Скляр. – Купалу, значит, справляют.

– А что, Андрей Васильевич, – осведомился я, – не знаешь ты, штабс-ротмистр поехал туда или нет?

– Надо быть, поехали, ваше благородие, потому они приказывали тележку свою заложить, и мы уже закладывали даже, как случилась-то у нас катавасия эта.

«Стало быть, я, вероятно, найду его там», – подумалось мне, и потому, не желая более утомлять мою и без того уже утомленную лошадь, я сдал ее на руки Слуцкому, приказав людям следовать своею дорогой, а сам пешком отправился по тому направлению, откуда

слышались голоса и трепетным светом мелькало зарево.

Пройдя сотни три саженой, я очутился на возвышенном берегу озера. Густой, высокий лес со всех сторон окружал его, как стеною, и, опрокинутый, отражался в воде смутными черными тенями. На противоположном, более отлогом берегу раскинулась предо мною оригинальная картина. Там пылал громадный костер.

Вереницы искр, словно бы живые существа, какие-то фантастические духи, а не то — как будто огненные листья в осеннюю бурю — целыми снопами взвивались кверху, кружились в воздухе, длиною полоскою уносились далече или нее огненным дождем сыпались в воду, отражаясь огненными змейками в ее невозмутимо-спокойной глади.

Вокруг этого костра толпилось множество народа. Сюда из нескольких окрестных деревень Езерской волости сошлись крестьяне праздновать своего Купалу. Место около костра было украшено молодыми березками, воткнутыми в землю; в стороне виднелось несколько шалашей, покрытых зелеными

ветвями, и перед ними курились маленькие костерки, на которых «маладзёхны» [21] приготавливали яичницу – это излюбленное и необходимое традиционное кушанье купальского праздника. Старики со старухами сидели в отдельных кружках и угощались водкою и сыром. Вообще, на Купалу не употребляют мяса, выбирая для пиршественных угощений более растительную или молочную пищу. Вокруг костра, взявшись за руки и образовав хоро-водное кольцо, ходили справа налево и потом слева направо молодые «дзецюки» и «дзевчины». И те и другие были украшены венками и подпоясаны стеблями горькой полыни. Они пели купальскую песню про «рачка», про то, как

*Задумау рачок жаницця,
Тай пайшоу до жабци журицця:
«А у цебе, жабо, чарёво рябо!»
«А у цебе, раче, очи в тыле», –*

и все это сопровождалось неизменным припевом: «Ой, Купала! Купала на Ивана! То-то!»

Потом выборный коновод праздника, или так называемый урядник, отделил парней от

девушек и поставил одних по эту, а других по ту сторону купальского кострища – и вот по знаку его через пламя понеслась с разбегу прыгающая вереница. Сначала прыгали девушки, а парни хором подпевали при этом:

*Цеперь Купала, заутро Ян
Кидау дзевок праз баркан!*

А потом, когда стали прыгать парни, хор девушек заводил им тот же припев, изменяя только вместо «дзевок» – «кидау хлопцёу праз баркан».

Тут же, рядом с кострищем, стояла кукля, то есть чучело, смастеренное из разного тряпья и ветоши, из рогож, соломы, ветвей и конопляных волокон. Эта кукля, изображающая собою Купалу, будет под утро обожжена на костре и потом потоплена в озере.

Купальская ночь, по местным преданиям, есть ночь чародейская: река и вода в течении ее светятся особенным светом; деревья, и особенно старые дубы, таинственно ходят по лесу и разговаривают между собою; ведут свои разговоры также и звери, и вообще все животные, – и если кому удастся подслушать их

говор, тот считается «вяликим ведунцем на свеце».

Колдуньи и ведьмы тоже обнаруживают свою деятельность: они отнимают молоко у коров, собирая тайком росу на огородах у своих соседей, с которыми они в ссоре, и давая эту росу своим собственным коровам, после чего соседская корова должна уже меньше давать молока. В эту ночь расцветает папоротник, а бабы вообще собирают в лесах и лугах разные травы и зелья: руту, василь, дзяголь, богатки, папорац, иван-да-марью, перелеть, курослеп и лопань с ластовнем. Наутро они несут с собою эти травы в церковь, и там священник окропляет их святою водою, после чего зелья эти, получая название свянто-янских, хранятся в течение целого года, до следующего Купалы, и служат целебным средством в некоторых болезнях, или талисманом против колдовства, или же, наконец, приметами будущего благополучия. Так называемая "купальня*", или «купальщица» (*Ranunculus acris*), и «свянто-янская трава» (*Hypericum perforatum*) почитаются могущественным, неотразимым средством для воз-

буждения чувств любви и нежной преданности – да и вообще вся Купальская ночь, в силу древних преданий, есть ночь невозбранной, беззаветной любви и страсти для всей молодежи, которая вообще, во все остальное время года, отличается более целомудрием, чем распущенностью своих нравов. На рассвете Иванова дня даже и солнце показывает чудеса необычайные. По местным поверьям, оно, всходя на горизонт, «зайчиками играет по небу», разделяется на несколько малых солнц, которые сверкающими колесами кружатся и вертятся одно вокруг другого, разбегаются в стороны и опять соединяются в одно обыкновенное солнце. Но ранее этого явления вся молодежь должна непременно выкупаться в озере, после чего Купальская ночь со всеми ее волхвованиями, чарами и вакханалиями считается уже законченной, – и люди, как бы омыв, очистив себя от всей бесовщины и греха, спешат домой, чтобы нарядиться в чистые сорочки, в цветные уборы и идти в церковь с пучками цветов и разного зелья.

Вдоволь налюбовавшись чудною картиной, которая оживленно развертывалась пре-

до мною по ту сторону озера, вся озаренная светом громадного костра, я направился вдоль берега с намерением дойти до рыбацкой становки, чтобы переплыть в челне на ту сторону, где предполагал встретиться с моим сожителем Апроней и вместе с ним вернуться домой в его тележке.

Темная, звездная ночь охватила глубокое небо и посредством своего тусклого света превращала в странные, фантастические очертания каждый встречный пенек, каждый куст и громадные, вывороченные наружу, как бы лапчатые, корни деревьев, поваленных некогда бурей. Я шел в потемках, часто спотыкаясь о валежник и путаясь в кустах широкого папоротника, но мало-помалу глаз свыкся с темнотою: в нем изгладилось давешнее впечатление огненной яркости костра, раздражавшее сетчатую оболочку, и окружающие предметы стали приобретать для меня более определенные очертания.

Вдруг мне послышался шорох чьих-то шагов – и какая-то фигура быстро пошла мне навстречу. Я успел только заметить, что это было что-то белое, и остановился, поддавшись

странному, но вполне невольному чувству какой-то жуткости, охватившему на мгновение мое сердце.

Белое подошло совсем близко ко мне, словно бы я был для него знакомым и ожидаемым существом. Но вдруг, взглядевшись в меня и как бы сознавая свою ошибку, оно быстро метнулось от меня и побежало в сторону.

Но я узнал его.

– Велля! – закричал я, направляясь вслед за белой тенью. – Велля! Остановись! Не пугайся!.. Это я!.. Или не узнала?

Но белая тень продолжала бежать, не обращая внимания на мой голос. «Зачем ей быть в лесу в эту пору и что она может здесь делать?» – мелькнуло у меня в голове. И я пустился вслед за нею, совсем не думая о том, что мое присутствие, быть может, вовсе ей нежелательно. Вдруг она запнулась о какой-то корень и упала. В эту самую минуту я успел подбежать к ней и помог встать на ноги.

– Велля, успокойся, это я... Чего ты побежала от меня? Чего испугалась? – ласковым голосом говорил я, удерживая ее руки.

– Я ошиблась... извините... я не узнала, – смущенно пролепетала она своим гортанным еврейским голосом, стараясь пересилить испуг и волнение. – Я думала, это он.

И Велля недоговорила. Произнеся это слово «он», девушка как бы спохватилась и замолкла.

– Кто «он»?.. О ком говоришь ты? – спросил я.

– А разве ж я сказала «он»?.. Нет, нет, господин поручик, вы ошиблись, я не говорила этого... Может, вам так послышалось, а я не говорила! – торопливо принялась она уверять меня.

– Ну, Господь с тобою! Я не спрашиваю...

– Нет, нет!.. – напирала она на слово, стараясь придать ему силу убеждения. – Но, когда ж я клянусь вам в самом деле, я не говорила этого...

– Ну да, милая Велля, это все мне только так послышалось, я ошибся, я верю тебе; но скажи, Бога ради, что ты здесь делаешь одна-одинешенька в такую пору? Как тебя занесло сюда?

– Я гуляла... Нет! – перебила она вдруг са-

мую себя, порывисто схватив меня за руки. – Я вам признаюсь... Вы добрый, вы не захотите для меня злого... вы не будете насмеяться надо мною... я вам признаюсь... я нарочно ушла из дому... я убежала...

– Ты?! Убежала?! – невольно изумился я. – Зачем?.. Ведь отец у тебя добрый, он любит, он не обижает тебя, зачем ты убежала?

– Ах, я не знаю сама, что со мною! – в мучительной тоске шлепетала Велля, схватясь рукою за голову. – Да, он добрый и он не обижает меня, но он меня замуж выдает!.. Понаехали сваты из Камионки – реб Мордух Пиковер и Шлема Зильбер – и теперь сидят и пьют с татуле и пропивают меня за Орел Бублика, а я не хочу идти замуж!.. Не хочу и не хочу я!

– Да отчего? Разве Орел Бублик дурной человек такой?

– Нет, он не дурной, но я...

И Велля замолкла, опять не договаривая и словно осекшись на недосказанной мысли.

– Да что же ты... любишь кого другого, что ли?

– Ах, не спрашивайте меня!.. Несчастливая я – и пропащая моя голова!.. Когда б вы знали

только!.. Они все думают, что я набожная еврейская девушка... О, кабы они знали!.. Они проклянут, они херим на меня наложат!.. Они ни за что не простят меня!..

– Велля, нельзя ли нам помочь тебе?.. Мы все сделаем, что только возможно, мы приложим все старания...

– Оставьте!.. Никто мне в этом не поможет!

И присев на поваленное дерево, девушка закрыла лицо руками и зарыдала.

– Ну, что вы хотите от меня?! – вдруг поднявшись и снова схватив меня за руку, заговорила она в какой-то ожесточенной экзальтации. – Ну, да! Я люблю!.. Да люблю-то я, на мое горе, христианина!.. Они не простят мне этого!..

– В таком случае разорви с ними, принимай сама христианство и выходи за него замуж.

В ответ на это девушка засмеялась горьким и – как показалось мне – несколько истерическим смехом.

– Да он-то когда ж настолько любит меня?.. На что я ему?..

Вот, я одна, я жду его и мучаюсь, а он и не

думает! Ему и дела нет!..

И она снова зарыдала, отвернувшись от меня и прислоняясь головой к стволу старой ели.

Бедная Велля!

Я видел всю глубину ее горя; мне так хотелось бы утешить ее, хоть чем-нибудь помочь ей; хоть на сколько-нибудь облегчить ее кручину; но что я мог сделать для нее в данную минуту!.. Чувство понятной деликатности не позволило мне спросить об имени любимого ею человека, а сама она не называла его.

Минуты две спустя иарыдавшаяся Велля, словно бы очнувшись, вдруг подняла свою поникшую голову.

– Оставьте меня! – порывисто залепетала она, с умоляющим видом сложив свои руки. – Бога ради, уйдите отсюда!.. Уходите поскорей! Не надо, чтобы вы были со мною! Не надо, чтобы нас видели!.. Пожалейте меня!

– Велля, ты ждешь его? – решился я сделать ей последний вопрос.

– Да! – призналась она через силу. – Да, я жду его, он должен прийти сюда... Поэтому...уйдите отсюда... умоляю вас!

Дружески и просто пожав ей руку, я поспешил удалиться, смущенный этою неожиданной встречей и отуманенный грустью за горе бедной еврейки.

11. Разгадка

Шесть недель «травы» прошли быстро, почти незаметно. С 15 июля начинался общий сбор, или – так называемый у нас – осенний кампамент; поэтому 14-го числа нашему эскадрону надлежало покинуть Ильяновские веси и дебри.

Все последние дни, начиная с 9 или 10 июля, жара стояла убийственная, так что даже и густая, почти непроницаемая тень под лесными великанами не давала живительной прохлады. В раскаленном воздухе не чувствовалось ни малейшего ветерка, и если – бывало – взглянешь вдаль, за озеро, то ясно можешь наблюдать какое-то серебристое ряние и дрожащую струистость этого воздуха, что особенно становится заметным на сероватом фоне отдаленных сельских построек. По стволам сосен сочилась растопленная солнцем растительная смола, а в самом лесу стоял

такой сильный, такой густой, распаренный запах сосны и ели, что, пробыв в этой атмосфере около получаса, начинаешь уже чувствовать в груди и в голове какую-то наркотическую тяжесть.

В такую жару даже и не тянет на воздух. Выглянешь через силу на крылечко – все как-то пригнетено, замерло, затаилось и дремлет... Изредка разве по какой-либо нужде пройдет по двору расстегнутый солдатик такою размаянною, тяжелою походкой или понуро и лениво пробредет кудлатая собака, высунув язык; а куры забрались в тень под стеною сарая и для пущей прохлады повырывают себе в земле ямки и сидят в них неподвижно, не подавая голоса... Жарко, скучно... одолевает и лень, и сонливость... Ни за что не можешь взяться, ничего не хочется делать – ни читать, ни думать: и мысль, и тело подавлены тупою тяжестью. А солнце между тем все льет и льет с безоблачного, но какого-то белеватого неба потоки знойных лучей, которые до того накаляют почву, что если выйти на солнцепек и постоять на песке всего лишь несколько секунд, то ступне заметно стано-

вится жарко, даже сквозь толстую кожаную подошву. Только в комнате и можно еще кое-как дышать, да и то не иначе как с плотно закрытыми ставнями.

Даже вечера и ночи не приносили с собою пролады: в неподвижном воздухе все-таки стояла страшная духота. Но так как все же это было единственное время, когда являлась некоторая возможность отдохнуть от несносных знойных лучей, то мы и старались пользоваться им как можно больше, чуть лишь последние отблески багрового света померкнут на верхушках пущенских сосен. В том крае сумерки бывают непродолжительны, и как только солнце скроется за горизонтом, причудливо озарив на прощанье отдаленные, низкие облака перламутровыми переливами золотого, розового и фиолетового цвета, ночная тьма быстро начинает окутывать землю. В этот час, изнемогшие от дневного жара, мы всей нашей компанией выходили посидеть часа два-три на крылечке, побеседовать за стаканом чая и подышать хотя и душным, но все же не столь убийственно знойным воздухом. Наступала ночь; в траве подымался

неумолкаемый, непрерывный треск кузнечиков; ящерики и жабы выползали на дорожку; летучие мыши начинали черкать воздушные зигзаги неуклюжим полетом своих острых крыльев; медно-красный, почти кроваво-багровый месяц показывался в туманно-тусклой знойной мгле над чертой темно-сизого горизонта и, недолгое время низко проплыв над землею, снова скрадывался за тою же чертою. В эту пору вдосталь можно было любоваться красивыми зарницами, которые то там, то здесь беспрестанно вспыхивали трепетным огнем на отдаленных окраинах неба и бороздили его в разных направлениях излучистыми огненными змейками. Невольно так и вспомнились эти чудные стихи Тютчева:

*Не остывшая от зною,
Ночь июльская блистала...
И над тусклою землею
Небо, полное грозою.
Все в зарницах трепетало...
Словно тяжкие ресницы
Подымались над землею,
И сквозь беглые зарницы
Чьи-то грозные зеницы
Загорались порою...*

Но эти «грозные зеницы», чаруя взор великолепием своей гневной игры, невольно наводили на ропщущую мысль, что есть же где-то такие благодатные палестины, где в эту самую минуту рокочет гром и шумит обильный ливень, неся с собою жаждущей земле освежающую прохладу, тогда как у нас...

– Господи! Хоть бы гроза! Хоть бы на мгновение грянул гром и прыснул дождик! – неоднократно повторял каждый из нас, маясь в эти душные ночи. А благодушный майор все уверял и даже предлагал пари держать, что завтра – «ну, вот уж завтра, посмотрите, наверное будет вам гроза, и гром, и ливень такой, что не земле, а небу жарко станет!»

Но – увы! Пророчеству майора суждено было сбыться не завтра и не послезавтра, а как раз в то время, когда нам нужно было выступить из Ильянова.

Не желая напрасно мучить людей и лошадей томительным и довольно длинным переходом под полуденным зноем, наш эскадронный командир порешил выступить из Ильянова около полуночи, чтобы под утро успеть прибыть в подгородную деревню Каплицы,

где на время осеннего кампаента нам были назначены квартиры.

Вещи наши мы уложили и отправили на подводе еще с послеобеда, а сами, так сказать, налегке остались дожидаться ночи.

Часу в одиннадцатом, поужинав остатками холодной говядины и распив последнюю булылку вина из своего «травяного» запаса, мы оделись по-походному и вышли во двор, где рейткнехты ожидали уже с конями. Немногие из замешкавшихся солдат выводили последних лошадей из конюшен и пристраивались к своим взводам, фронтом к дороге. Вахмистр наскоро отдавал какие-то последние распоряжения.

– Садись!

Люди зашевелились, залязгали сабли, затропотали копыта, но менее чем в минуту эскадрон стоял уже фронтом как вкопанный.

– Песенники, вперед!

– Так-то все же веселее будет идти ночью! – с улыбкой обратясь к нам, пояснил майор свое последнее распоряжение.

– Направо, марш! Прямо – шагом!..

И масса вороного эскадрона, словно бы ряд

темных теней, тихо и плавно тронулась с места. Через минуту запаленные трубки-носогрейки, будто светляки, то там, то здесь мигали по рядам красно-огненными точками.

Воздух был насыщен электричеством. Густые массы свинцово-серых и бурых облаков еще в начале десятого часа медленно и грозно начали надвигаться с юго-запада, захватывая все шире и дальше пространство синего неба, а теперь они нахлобучились над лесом и заметно клубились одни над другими в своих причудливых, гигантских очертаниях..

Мы шли узкою лесною дорогой. Офицеры отделились вперед от эскадрона и тихо разговаривали между собою.

Вдруг ослепительно вспыхнула молния зеленовато-белым огнем и вслед за нею, почти без промежутка во времени, грянул трескучий удар грома. Лесное эхо в бесконечных, рокочущих раскатах понесло его по пространствам пуши и над озерами. Гром в просторном лесу – это нечто совсем особенное, что трудно передать человеку, который не был сам свидетелем такого поэтического и грандиозного явления.

– Ого, гроза, кажись, как раз над головою! – задрал кверху лицо и ни к кому, собственно, не обращаясь, заметил юнкер Ножин.

– Ну, вот вам и дождались наконец! – весело сказал на это майор. – Опустить пики! – крикнул он, оборотись к эскадрону. – Острием ниже к земле держи!.. Не распускать коней, ребята!

Держи в поводу хорошенько! Оглаживай чаще, чтобы не пугались!

Вахмистр осадил коня и, свернув несколько в сторону, стал пропускать мимо себя ряды, наблюдая, толково ли исполняют люди только что отданные приказания. Но эскадрон насчет толковости и дисциплины – не хвалясь сказать – был у нас образцовый.

Снова черкнула по небу молния, и снова зарокотали по лесу громовые раскаты, но дождя еще не было. Мы жадно ждали его первых живительных капель. Лес, как мертвый, стоял неподвижно и таинственно. После второй молнии, через несколько мгновений сверкнула третья, четвертая; а там еще и еще – и вот вскоре все небо затрепетало почти непрерывными огнями, которые вспыхи-

вали то там, то здесь, то одновременно в разных концах небосклона, так что не успевала потухать молния, как уже новый раздражающий свет озарял всю окрестность. Затем – снова мрак, который от этих резких и быстрых переходов к ослепительному свету казался еще гуще, еще темнее и непрогляднее. Были мгновения, когда в течение двух и даже трех секунд все небо пылало непрерывным светом, и что за дивные оттенки представляли тогда эти прихотливо клубящиеся массы облаков! В эти мгновения вполне ясно и отчетливо можно было различать и общую картину неба, и все окружающие предметы, и наш путь, озаряемый на далекое расстояние. Но ни единая капля дождя все еще не падала на землю. Это была сухая гроза – одна из самых страшных, когда-либо виданных мною в жизни. Гроза, соединенная с ливнем, который сразу вносит с собою в природу освежающее начало, действует на нервы в несравненно меньшей степени, да притом и не на всякие нервы; но при грозе сухой, когда сумма электричества, разлитого в отягченном воздухе, достигает своего максимума, оно влияет и на

душу, и на физический организм угнетающим образом: вы чувствуете какую-то безотчетную тоску и томление, вы испытываете даже бессильную, жалкую злобу червяка перед этою слепую стихийною силой, которая каждое мгновение может вас раздавить, уничтожить, тогда как при других условиях вы повелеваете над нею вашей разумною волей, подчиняя ее силе науки; но здесь, в данном положении, вы беззащитны, вы ничтожны перед нею – здесь уже не вы над нею, а она, эта стихийная сила, царит над вами. Люди, неоднократно лицом к лицу видавшие смерть в сражениях, сравнивают (и, как мне кажется, очень удачно) впечатление, производимое сухою грозой, разражающейся не вдали, а прямо над головою, – с впечатлениями пассивного боя, когда вы безмолвно и неподвижно стоите под пулями и гранатами, служа мишенью для неприятеля, а сами меж тем не стреляете, не имеете возможности развлечь внимание чем-нибудь посторонним и остаетесь в неизвестности – прикажут ли вам наконец броситься в отчаянную атаку, которая в эту минуту кажется вам блаженным и желаемым

раем сравнительно с угнетающим адом пассивного боя.

Вдруг, в одно из тех мгновений, когда трепетные молнии, словно бы раздирая небо в разных концах, непрерывно поддерживали свет на две, на три секунды, мы заметили направо, в двух шагах от нас и около самой дороги, обнявшуюся пару – мужчину и женщину, которые сидели под густолиственным раскидистым деревом.

– Велля! – почти в один голос воскликнули и я, и Ножин.

– Ба! Да и пан органыста с нею!.. – громко сказал майор, в немалом изумлении от такой неожиданности.

Настало мгновение полного мрака, а затем опять вспыхнула молния, но под деревом никого уже не было. Придержав коня и вглядываясь в ближайшую окрестность, я при одной из следующих вспышек не без труда мог смутно различить, как в глубину леса убегали два человеческих призрака. По крайней мере, в эту минуту при неровном и фантастическом освещении молнии они казались скорее призраками, чем людьми; но первое мгнове-

ние, озарившее их слишком ясно и близко от нас, и притом с достаточною продолжительностью, чтобы позволить разглядеть их положительным образом, не оставляло ни малейшего сомнения в том, что это были точно Велля с органистом.

– Вишь ты, пан добродзей! – добродушно смеясь и покачивая головой, проговорил майор, – Удачно выбрал место и время для любовных свиданий!

– Органист и Велля! Да что ж это, господа, такое?! – все еще не совсем приходя в себя, пожал плечами Апроня.

– Ты хочешь знать, что это такое? – с невольною усмешкой обратился я к моему сожителю. – Это разгадка Ильяновской легенды.

Вскоре послышался глухой, но все более приближающийся шум, и вслед за тем порывистый вихрь налетел на деревья, которые загудели и закачались под его неистовым напором. В лесу раздался треск ломающихся ветвей и тяжелый скрип нагнетаемых сосен, похожий иногда на старческое кряхтенье, а иногда переходящий в чисто человеческие протяжные стоны. Еще минута, другая – и

дождь хлынул, как из ведра, вместе с громом и бурей.

– Фу!.. Слава Тебе, Господи! Наконец-то освежать начинает! – обнажив голову, проговорил Апроня с облегченным полным вздохом, который просто с наслаждением вырвался на волю из его широкой, богатырской груди.

– Ну-тка, ребята, кто кого перешумит – выли бурю или она вас? – весело вызывающим тоном обратился майор к песенникам – и в ту же минуту на речитативный вопрос голосистого запевалы, который допытывал «солдатушек-ребятушек», где ж, мол, ваши деды, – дружный хор молодецких голосов вместе с громом и бурей отгрянул ему:

Наши деды – старые победы!

Вот где наши деды!

Когда под утро мы пришли в Каплицы, на нас буквально нитки сухой не было. Вода хлюпала в высоких сапогах, и вся одежда, начиная с кителя и до сорочки, была грузно отягощена впитанною в нее дождевою влагою.

12. Последняя встреча

Недели две спустя я проходил в базарный день по гродненской торговой площади, направляясь в клуб обедать. Вдруг чувствую из-за плеча, что кто-то опережает меня, почти касаясь моего локтя, и слышу чей-то знакомый хриплый и ласковый голос:

– Зждрастуйте вам!.. Зждрастуйте вам, гаспидин сперучник! Когхда ж ви не взжнали мне?

Оборачиваюсь, гляжу: ба! достопочтенный реб Гершко Гершуна, тебя ли это я вижу?!

– Я сшами, я сшами, в моем властней персону!.. Н-ну, и как зже-ж вас Бог милуе?

– Ничего, слава Богу, скверно.

– Ой, ф-фэ! Сшто ви гаворитю!

– Ну, а тебя как?

– Мне? Хвала Богху, мне отчин даволна гхарасшо! И Богх мне балшово радосштю пайсшлал... Когхда ж ви не зжнаитю? Я маво дцурке, маво Бельке, замуж видаю!

– Ой ли?.. За кого же? За Орел Бублика?

– Ну, то так есть! За Орел Бублик! За он сшами! А ви скудова зжнатию?!..

– Слухом земля полнится.

– Так, так, сшлюгхом по зземлю... Ну, и гхаросший партый падайшол. И я для того на гхород периегхал, зжеби пакупиц подарункев и розмайтых перипасов на весшелью [22].

– И что же, жених-то богатый?

– Уй, який бегхаты! Уй-уй!.. Дай Богх, каб я бил таки зждарови, як он бегхаты! С гхаросшаго дому, бо его папыньке сшваво заездна корчма мае на Камиионку, и гхаросши гандель крутить! Там не то сшто ув насш на Ильяново: там другий интерес!

– Ну, от души тебя поздравляю!.. Кланяйся Велле и пожелай ей от меня всякого счастья!

– Ой, благодару вам! Благодару вам, гасшпидин сперучник, на васшем сшлове ласкавем! – забормотал реб Гершко со своими обычными многочисленными поклонами, и мы расстались.

* * *

Прошло четыре года. Отряд наш был выведен на маневры по виленской дороге верст за пятьдесят от Гродны. На второй или на третий день маневров авангард нашей стороны, наступая на противника, занял местечко Ка-

менку, где и велено было ему расположиться на дневку. Наш эскадрон входил в состав авангарда, и потому вполне понятно, что мы, в лице своего разъезда, первыми вступив в местечко, сейчас же отмежевали себе, так сказать, львиную долю, то есть заняли лучшее место на площади под бивуак эскадрона и лучшую корчму под постройкой своих офицеров. Корчма эта стояла на той же площади.

Освободясь от пыли, пота и грязи, которыми в изобилии вознаграждены мы были за горячие движения этого дня, умывшись холодной водою и освежив на себе белье, мы с наслаждением растянулись вповалку на ворохе душистого сена в ожидании чая и закуски. Один только Апроня все еще не утомился, взясь и хлопоча о чем-то на дворе около нашей подводы, где он отдавал какие-то распоряжения своему взводному, пушил фурмана, приказывал что-то денщикам и вел о чем-то переговоры с хозяином корчмы, с кузнецом и с местным фактором.

Но наконец и он ввалился в комнату с довольным и размаянным видом человека, который хотя и чувствует себя очень усталым,

но в то же время удовлетворен сознанием, что он исполнил все, к чему был призван, все, что от него требовалось и что ему положено, – одним словом, рассудил, разрядил, внушил, обругал кого след, распорядился, всем озаботился и может теперь с чистою совестью опочить на лаврах, то бишь... на сене.

– А знаете, господа, ведь здесь наша старая знакомая есть? – объявил он, скидывая с себя всю амуницию вместе с запыленным кителем.

– Кто такая? – лениво повернул я к нему мою голову.

– Мадам Бублик.

– Что за Бублик такой? – отозвался майор. – Никакого Бублика не знаю.

– Господи Боже мой, да Велля! Помните Веллю Гершуна – нашу Юдифь Ильяновскую?

– Ба!.. Велля?.. Как не помнить!.. Да какими эж она здесь судьбами?

– Замуж за гасшпидин Бублик, – передразнивая жидовский акцент, пояснил майору Анроня. – И посшмотрите спижалуйста, сшто за гхаросши мадам з него вийшла! Ой-вай!

Любопытство превозмогло усталость. Я не

мог отказать себе в удовольствии повидаться с милою Веллей, в прошлый роман которой благодаря известной уже случайности я был посвящен более всех моих товарищей. Я хотел поскорее взглянуть на старую свою знакомку, на эту чудную библейскую красавицу, образ которой если и рисовался изредка моему воображению, то не иначе как в той поэтической обстановке, в какой я помню ее в лесу, в два ночные момента – на Ивана Купалу и под сухой грозой.

Но, Боже мой, что же это такое?

Я решительно не узнал ее с первого взгляда. Где же Велля? Где она – эта страстно-очерченная, своеобразно-грациозная, гибкая и сильная фигура баядерки с головой и взором Юдифи!..

Предо мной стояла раздобревшая и уже несколько обрюзгая, апатичная жидовка в парике, из-под которого болтались в ушах длинные серебряные сережки с фальшивыми камнями, а над париком возвышался скомканный чепец с бантами из замасленных лент. Поблеклое лицо ее, покрытое какими-то желтыми пятнами и веснушками, не сохра-

нило даже и тени прежней красоты и не выражало ничего, кроме апатии; большие же глаза, если и загорались порою, то уже не огнем поэтической страсти, а только беспокойством за барыш, только суетно-мелочной жадностью хозяйки-скопидомки. В четыре года супружества она умудрилась наплодить пять человек детей, из которых последние были двойни. Бог Авраама, Исаака и Иакова, очевидно, благословил ее плодородием пра-матери Лии. Супруг ее – гасшпидин Орел Бублик, находившийся под деспотическим началом своего отца, предстал пред нами в образе рыженького, тщедушного еврейчика, который всем смыслом фигурки своей являл полнейшее ничтожество и был замечателен только тем, что слыл между местным еврейским населением за человека очень набожно-го.

Велля – чудная, поэтическая Велля – в грязном, пахучем образе обыкновенной «мадам», обыкновенной жидовки, каких вы тысячами встречаете по городам и местечкам Западного края, – кто из нас мог бы четыре года назад вообразить себе подобную метаморфозу!..

«Просто оскорбительно!» – вспомнилось мне при этом выражение юнкера Ножина.

IV. Облава на уток

Рано утром пан Буткевич разбудил меня. Самый сладкий сон смежал мои веки, когда под окном раздался энергический стук в раму и показалась курчавая голова пана с засматривающим, улыбающимся лицом и с плотно приплюснутым к стеклу мясистым носом, отчего на самом кончике этого носа образовалось преуморительное плоское белое пятнышко в гривенник величиною.

– А ну-те бо! Вставайте, коли хотите ехать! – раздался из-за окна голос пана Буткевича. – Божьи птахи вже давно спявают, и качки [23] ждуть нас, а вы усе еще спочиваете! Вставайте-ко, вставайте!

Я живо вскочил с теплой постели и растворил окошко. Свежий утренний холодок сразу обвеял мне все лицо и отозвался бодрящей дрожью в теле.

Солнце только еще подымалось, и низкие, косые лучи его в легком золотисто-розоватом тумане пробивались между стволами и просветами деревьев, яркими косяками ложились по росистой лужайке вперемежку с

длинною тенью древесных стволов и бесчисленными блестками дробились в жемчужных каплях росы, обильно покрывавшей траву, ветви калины, листья кукурузы и яркие махровые шапки мака, которыми сплошь были испещрены клумбы и грядки запущенного палисадника. Птицы весело, громко и оживленно щебетали, перепархивая и путаясь в густых ветвях высоких раскидистых деревьев. Пискливые утята, то и дело шлепаясь желтоватым брюшком, на нетвердых еще лапках вперевалку пробирались следом за утицей по густой траве к небольшой сажалке. Гуси гоготали и пронзительно звонко вскрикивали, красивыми взмахами расправляя крылья. Длинноногий аист только что отлетел на болото за добычей. Уланы вели коней на водопой, то мелькая с ними на солнце, то заслоняясь тенью между густою зеленью. Бодрые кони шли тротом, резво играли и фыркали. Утро вставало светлое, свежее, бодрое. Прелесть, что за утро!

– Э, дал Бог погоду! – заметил пан Буткевич. – Надо так думать, добре полеванье [24] задастся, але ж и жарко будет, ой как жарко!

– Влезайте в окно, – предложил я пану.

– Не, я и так постою... И так побалакаем!

Вы только поскорейшъ!

– У меня живо!.. Бочаров! Одеваться!

Проворный вестовой, по обыкновению поднявшийся с петухами, не заставил повторять себе приказания. Сапоги, умывальник, кипящий самовар с чайником – все это явилось у него почти разом. Пока я одевался, пан Буткевич вкусно прихлебывал чай из стакана, поданного ему на подоконник.

– Не хотите ли водки на дорожку? – предложил я ему.

– Э, нет, благодарю вам! – отказался он. – Бо у мене вже такой порядок: как чай, то не водка, а как водка, то не чай. А мы з вами как приедем вже до места, то тогда поначалу хватим покилишку и закусим. Женка мне вже и закуску спрепаровала; только звыните – закуска так себе, простая, по-гультайску, по-охотницку. Ну, вы вже готовы?

– Как видите.

– Ну, то едемте. А то что даром время тратить!.. Едьмы!.. Помогай Боже!

Мы с ружьями уселись в легонькую повоз-

ку, пан Буткевич подобрал вожжи – и сытая рыжая лошадка повезла нас бойкою рысью по лесной дороге. Пара сеттеров рыскали и швырялись по сторонам, то и дело исчезая в кустах и звонким, веселым лаем оглашая лесную чащу.

* * *

Это было в середине июля, в то самое время, когда эскадроны отдыхают «на траве». Наш эскадрон обыкновенно уходит «на траву» в Ильяново, верст около двадцати трех от Гродны. Это – усадьба, брошенная в старорослом лесу, почти на самом берегу обширного Рыбницкого озера среди прекрасной местности.

Пан Буткевич – управляющий Ильяновской усадьбою – страстный охотник, милый человек и, конечно, «родовиты шляхциц», в котором, однако, замечательна черта, в высшей степени редкая черта в шляхтиче: отсутствие всякой кичливости своим шляхетским достоинством.

Мы направлялись теперь в местечко Езёры, чтобы там соединиться с партией охотников и ехать далее за Белое озеро к сборному

пункту охоты.

В Гродненской губернии есть три лесные пущи, которые своими вековыми зарослями приближаются к дикому и глухому характеру первобытных лесов. В центре губернии лежит самая важная и самая обширная из них – пуща Беловежская, на юге – Рудская и на севере – пуща Гродненская. Эта последняя, в недрах которой мы находились в данную минуту, заключает в себе 97 000 десятин и покрывает более 1/4 территории Гродненского уезда. Сосна является первенствующей породой во всех трех пущах. Но по более влажным и наземистым местам вы встретите кудрявую и разнородную растительность, где граб и осина, береза и ясень, дуб и вяз, ильм и черноклен мешаются между собою мягкими оттенками своей разнообразной зелени.

Песчано-каменистая почва возвышенностей способствует произрастанию сосны и отчасти ели; низменные же долины, залегающие между волнистыми выступами этих возвышенностей, представляют собою болотистый чернозем, и на сих-то последних местах растет вся кудрявая краса Гродненской пущи,

которая наполнена болотами в особенности в северо-восточном и южном концах своих. Эти болота, составляющие целую группу в северной части губернии, занимают до трехсот квадратных верст пространства и связаны между собою почти непрерывною цепью. Из них, например, Рыбницкое и Соболево тянутся на 15 верст в длину и на 8 в ширину; Святое болото тоже 15 верст в длину при ширине в 6 верст; Берштанское – 12 верст длиной и 8 шириною. Все они покрыты местами лесом Гродненской пущи, которая только в западной своей части, по берегу Немана, почти сплошь представляет сухую песчаную почву; местами же заросли густым, непроходным кустарником; часто бывают совсем непроходимы, и только по некоторым из них пролегают узенькие тропинки, с трудом доступные пешеходу. Из этих болот берут свое начало множество речек и ручейков, вливающихся в славную реку Котру или в приток ее Пырру. Обилие торфа и железной руды (отчего, между прочим, многие деревни, лежащие в железисто-болотистых местностях губернии, называются *Руднями*) составляет единственное,

но совсем не разрабатываемое богатство этих болот.

Второю характерною особенностью Гродненской пуци является длинный ряд лесных озер, которые всею группой принадлежат системе Пырры и Котры. Они соединяются между собою посредством протоков и таким образом составляют непрерывную цепь, представляя продолговатые фигуры соответственно направлению реки, иногда расширяющиеся до трех верст, а иногда суживающиеся до двух-трех десятков сажений и даже менее. Грунт и берега этих озер местами болотисты, но большею частью тверды и даже возвышенны. Самое большое из них – Белое, в 12 верст длиною, посредством протока Хомуты соединяется с небольшим озером Млотневым, а то, в свою очередь, с Запурьем и Лотом; из этого нее последнего берет начало свое очень быстрая и студеная речка Ратничанка, вливающаяся в Неман около Друзкеник и известная целительными свойствами своих струй, купанье в которых действует укрепляющим образом на нервы. Неподалеку от озера Запурье несколько лесных, болотистых ручьев слива-

ются воедино и образуют длинный, около 15 верст, проток Кальницу, который в виде узкого озера, от двух до одной версты шириною, вливается в озеро Каган, являющееся, впрочем, скорее заливом озера Белого; это же последнее сливается с Рыбницким, или Рыбницей, дающим начало речке Пырре, которая, как уже сказано, впадает в Котру, а Котра в Неман, и таким образом все это пространство, оцепленное рядом озер, дающих с двух противоположных сторон начало речкам Ратничанке и Пырре, представляет собою обширный остров, в котором с одной стороны в крайнем пункте лежат Друзкеники, а с другой, близ устья Котры, – деревня Комотова. Кроме этой водной цепи в северо-восточной части Гродненской пуци лежит озеро Берштанское, соединяющееся с Котрой, а несколько более на севере, в виде широкого протока, – озеро Грудь. Но все это составляет только сеть главных водовместилищ Гродненской пуци. Пространства же обширных болот между Пыррой и Котрой также усеяны озерами, как, например: Чёртово, Лебединое, Долгое, Гнилец, Щучье и другие. Берега их

топки, лесисты, а дно переполнено илом и тиной. Все эти лесные озера изобилуют рыбой, а в особенности Рыбница и Каган, где ловятся язи, судаки, окуни, налимы, карпы и угри, не говоря уже о карасях, пескарях, вьюнах, ершах и прочей мелкой рыбице. В прежние годы они давали добрый улов пиявок, но в зиму 1840 года пиявки почти все вымерзли, и с тех пор этот прибыльный промысел прекратился. Все это обширное пространство лесных озер называется Озерным, или Езерно, а потому и главный населенный пункт его – местечко, принадлежавшее до 1863 года помещику Валицкому, – носит то же самое характеристичное имя – Езеры. Но в равной степени с богатством рыбного царства эти места богаты и дичью. Не говоря уже о диких животных – о волках, на которых тут несколько раз в году устраиваются большие облавы, о лисицах, сернах и зайцах, здесь есть чем поживиться и охотнику на птицу; вальдшнепы, дупеля, бекасы, кулики, водяные курочки, камышники, различные виды коростелей, а главное – дикие утки, за которыми, собственно, и поднял меня в нынешнее утро пан Бут-

кевич, – находят себе привольные притоны по всем этим болотам и озерам. Но опытные езерские охотники говорят, будто по многолетним своим наблюдениям они замечают, что, несмотря на приволье здешних мест для птицы, она в них не держится равномерно. Иной год озера кишмя кишат пернатыми обитателями, а на следующее лето оказывается их очень мало; потом через год, а то и через два налетают снова в прежнем изобилии – и так повторяется периодически. Замечание свое езерские охотники относят преимущественно к уткам, так как промысловая охота, существующая по берегам пущенских озер, направляется исключительно лишь на эту птицу. Кулики да дупеля представляют, по мнению их, одну лишь «забавку», а не дело, и ради «куличья» езерские охотники никогда не соберут «облаву».

* * *

– Вы никогда не полевали з облавой? – спросил меня пан Буткевич.

– На заре случилось не однажды.

– Ну, а на качек?

– На качек, признаюсь, не доводилось, и

даже не могу себе представить, что это за облава.

– А вот забачите! Это только и есть на Езерах, – пояснил Буткевич, – бо у нас тут и самые места такие, что только з облавой можно. Коли вы никогда не видели, то это для вас будет любо пытно.

– А вот посмотрим! – промолвил я, стараясь вообразить себе заранее, что такое может быть на самом деле эта «облава на качек».

Между тем мы приехали в местечко Езеры, где присоединились к нам еще двое охотников из местных обывателей: отставной кавказский капитан пан Людорацкий, бодрый, красноносый старик лет шестидесяти, и пан органыста из езерского костела – молодой человек с закрученными усиками, очевидно, франт и сердцеед, что уже видно было из каждой его ухватки, из того, как кокетливо наде-та набекрень его легонькая и чуть ли не дамская соломенная шляпочка с развевающейся голубой ленточкой и как повязан его тоненький розовый галстучек. Пан Буткевич познакомил нас как будущих сотоварищей по охоте – впрочем, с паном капитаном я был зна-

ком уже раньше – и предложил обоим место в повозке. Мы потеснились. Людорацкий грузно бухнулся между нами в середину, а пан органиста ловко вскочил на облучок, спиной к лошади, свесил за борт одну ногу, упер, избежая, руку в ляжку и вообще рисовался, стараясь держаться в молодецки красивой и непринужденной позе и все время напевая себе под нос какой-то сентиментальный польский романсик. Мы узнали от новых наших сотоварищей, что несколько охотников еще гораздо раньше нас проехали уже к сборному пункту; поэтому и нам нечего было мешкать. Лошадка снова тронулась своею бойкою рысцою.

– Гей! Сштой! Сштой! – вдруг раздался за нами отчаянный и громкий крик. – Пане Буткевичу!.. Пане Буткевичу!.. Пане Буткевичу! Проше затршимац!.. Почакайте трошечку! Едну хвилечку, пане! Едну хвилечку!

Буткевич придержал лошадь. Мы обернулись. Что там такое? В чем дело? Смотрим – дует во все лопатки еврей Блох, которого зовут просто Блохою, и машет нам обеими руками.

– Пазжволте, слизжалуста, и мне з вами! – говорил он, снимая шапку и подбегая к повозке, весь запыхавшийся и красный. – Нех пане бендзе такой ласшкавий!.. Вазжмить и мене на полюваню! Спизжалуста!..

– А-ле-ж нет сесть где! – пожал плечами Буткевич.

– Увсше равно!.. Для мене то вшистка рувне, муй ласшкавы пане! – жестикулируя, убеждал еврей. – Ми як-небудь так!.. Притуллимсе, примостимсе избоку, альбо на задку... Я от как! – пояснил он, вдруг вскакивая на задок повозки и утверждаясь ногами на задней оси, а руками ухватясь за верхний край спинки, отчего вся фигурка его выпятилась задом, распялилась и вообще приняла преуморительное положение.

– Але ж коняка потомитсе! – доказывал ему Буткевич. – Пять человек – то вже за много будет! Коняка не вытягнет!

– Не, не! Я льехгки! Я отчин даволно льехгки, я вмею в сшоб толки двадцать п્યાць хунты! Сшто таково для гхоросшаго киняку двадцать п્યાць хунты?! Н-ну?!. Дали бухг так... Повертю!

– Ну его до дзябла! Нехай едзе! – попросил за него капитан Людорацкий – и благодаря его ходатайству Блоха остался на задке в своем распяленном положении.

– И ты тоже, Блоха, на охоту? – спросил я его.

– А то ж ниет, гасшпидин спиручник? – с чувством собственного достоинства возразил он мне. – Хиба ж ви не бачитю? Я из ружо-ом! Цала хфузея за плечима! Ой, я балшой агхотник! Отчин балшой!

Все, кроме меня, засмеялись, слушая эту похвальбу. Я же разглядывал нового нашего спутника. Я знал о Блохе только одно, что он – плут величайшей руки, потому что ухитрился одному из моих однополчан-товарищей, стоявшему у него на квартире, за шесть недель «травы» представить счет забранным у него в лавке и в заездном доме продуктам, по которому приходилось уплатить за одни только миндальные печенья, иногда подаваемые к чаю, – как вы думаете, сколько? – ни более ни менее как семьдесят пять рублей серебром!!! Один уже этот счет служил лучшей рекомендацией индустриальным способно-

стям «гасшпидина Блюха». В настоящую минуту у него за плечами висел старинный мушкетон с дулом, которое к концу шло широким раструбом, а сам Блюха был перепоясан ремнем, и у этого ремня болталось множество прикрепленных к нему веревочек.

– Что это у тебя за путаница? – спросил я, указав глазами на сей последний снаряд.

– О! Это в mine мой ягхташ! – похвалился Блюха. – Ми на него насши качки подвесшим!

Повозка катилась по очень тряской дороге, так что нашим бокам приходилось-таки испытывать порядочное колотье, но Блюха Цепко держался за борт спинки обеими руками. Зато лицо его изображало при каждом толчке преуморительные гримасы, в которых сказывались и страдания, и страх, и тягота настоящим своим, крайне неудобным положением, а сам он то и дело тихо вскрикивал:

– Ой!.. Ойх!.. Ой-вай!.. Уй-уй-юй!.. Огх!.. Уй, гевалт!

– Что с тобой, Блюха? Чего ты кряhtiшь так?

– Ой, жвините! Увсше кишки повитрасло!.. Каб ви, пане Буткевичу, трошечку поле-

гхче!

Но пан Буткевич, лукаво ухмыляясь про себя, еще пуще припустил свою бойкую лошадку.

* * *

Темный лес окутал нас своими зелеными объятиями. Изредка попадались по сторонам тропинки небольшие группы деревенских баб и девочек, собиравших грибы и травы в фартуки своих пестрядей и в берестяные котики. Одна из этих групп обратила на себя особенное наше внимание. Под деревом, бесильно прислонясь к широкому стволу спиной и вытянув ноги, сидела молодая женщина с очень испуганным бледным лицом. Ее с участием окружили три-четыре девушки, одна из которых, припав ртом к обнаженной ноге сидевшей товарки, казалось, высасывала ей что-то губами.

– Чъто-сь то случилось? – окликнул их Буткевич, приостановив лошадку.

– Гадюка пожалила, – ответили ему из группы.

– Э?! Кепськи интерес! Ну, але ж, хвала Богу, вчас и лекарство есть!

Пан Буткевич был человек крайне предусмотрительный и запасливый: он постоянно носил с собою всякие снадобья, ланцетик и пинцетик, и зажигательное стекло с трупом, и нитки с иголкою, и корпию, и карандашик с книжкою, и множество подобных вещей, Бог знает где и как у него укладывавшихся. На первый взгляд они невольнo рождали вопрос: на что, мол, ему нужно таскать с собою всю эту никуда не нужную дрянь? Ан, смотришь, придет экстренный случай – что-нибудь из этой дряни вдруг и понадобится да еще окажется крайне необходимым и полезным. Так было и теперь: пан Буткевич порылся у себя в широких, вместительных карманах и достал пузыречек с прованским маслом, которое было сварено с каким-то специальным зельем, как раз служившим целительным средством против укушения змей. Тотчас же налив на тряпочку несколько капель этого состава, он приложил его к опухшей ранке, перевязал ее головною хусткой и, растолковав, что дома надо тотчас же пить бузину, «жебы пропреть хорошенько», да смазывать ранку олеей, тронул вожжами и покати́л далее.

Вскоре между деревьями показалась белая хатка, в которой обитали лесные стражники. Узнав от жёнки одного из них, что «малойцы» все уже отправились к сборному месту, мы покинули на дворе на ее попечение нашу лошадку с повозкой и далее пошли уже пешком по узенькой тропинке.

Пройдя с полверсты, мы вдруг очутились на крутом, возвышенном берегу. Вода, как зеркало, сверкнула в глаза из-за зелени кустов и деревьев. Тропинка сбегала вниз к пологому узкому бережку, по которому были развешены для просушки мережки, невода, сети, сачки. Горьковато-едкий запах белого дымка доносился к нам снизу. Две корытообразные, долбленные душегубки наполовину были вытянуты из воды на берег. Перед шалашиком, сложенным из ветвей, дымился костерок. Тут же была вырыта в грунте возвышенного берега землянка, где хранились некоторые из принадлежностей рыболовства и ночевали очередные работники, а за нею далее в глубь земли шла «ледовня» – погреб, в котором на льду сберегалась наловленная рыба.

Внизу, около шалашика, мы уже застали целое общество охотников. Там было человек до пятнадцати и между прочими несколько лесных стражников из двух ближайших сторожек, которые все почти считались хорошими стрелками, так как более половины из них настоящее занятие свое переняли еще с детства от отцов, тоже бывших в свое время полесовщиками, а остальные определились на нынешние свои должности из отставных и бессрочных солдатиков. Иные из охотников налаживали себе ружья, другие возились со своею обувью, подкладывая бересту в лапти, чтобы менее забиралось в них илистой грязи, третьи закусывали хлебом с сыром и копченым салом или же так себе, просто болтали между собой, ничего особенного не делая.

Пан Буткевич, кряхтя от удовольствия, вытащил из ягдташа бутылку водки с чаркой, краюху хлеба и что-то съестное, по обыкновению, завернутое в синюю сахарную бумагу.

– От теперь и подкрепиться время! – назидательно заметил он, развертывая из бумаги жареную курицу и кусок свиного сала. – Пожалуйста! Прошу!

И, по обычаю выпив сам первую чарку, передал ее мне вместе с бутылкой. От меня она пошла к капитану и далее, пока не обошла весь наш маленький кружок. Обо всей остальной охочей братии мы с паном Буткевичем позаботились еще с вечера и заказали в Езерах полведра, которые теперь и были предоставлены сюда еще до нашего прибытия. Пока круговая чарка обходила всех охотников, пан Буткевич, опустясь на колени, кромсал складным охотничьим ножом жареную курицу, которая в настоящую минуту – Бог весть почему – показалась мне очень вкусною. Между тем, закусывая, мы не тратили даром времени, а держали между собою «раду». Самыми опытными и бывалыми в сих местах охотниками явились теперь между нами пан Буткевич с паном капитаном. Которому-нибудь из них надлежало принять на себя роль «маршалка». Оба великодушно уступали эту честь один другому, и Бог знает, до коих пор длились бы между ними эти деликатности, если бы пан органыста – тоже в некотором роде человек бывалый – не надумил их решить дело жребием, что, впрочем,

и всегда разрешает здесь недоумения в подобных казусных случаях охоты. Пан Людорацкий подкинул кверху первую попавшуюся палку и на лету схватил ее поперек рукою. Пан Буткевич охватил ее над рукою Людорацкого, плотно приблизив свой кулак к большому пальцу капитана, затем капитан перенес свой кулак выше Буткевича, а Буткевич выше капитана и так далее – пока верхний конец палки не покрылся рукою пана Буткевича, что и давало ему теперь неоспоримое право быть маршалком нашего полеванья.

Буткевич тотчас же сделал расчет людям: оказалось всех налицо девятнадцать человек. Он разделил нас на два отряда, в девять человек каждый, и приказал одному отряду занять противоположный берег озера, назначив за старших: в одном – пана органысту, а в другом – пана капитана. Еврей Блоха при этом в счет не принимался.

– А мне не до якого бржегу? – полушутя спросил он, видимо желая заявить и о своем «властном» присутствии.

– А хочь до дзябла! – махнул ему рукою распорядитель.

– Ну, то я лепш издес зостанусе! Издес выгодно!

– Покажи-ка, что это у тебя за допотопное ружье? – обратился я к Блохе.

– О! То есть шпаньска мушкета! – похвалился еврей. – Бардзо ценна штука! В сшвоем время мозже й за сшто рубли сштоило!

Я взял в руки эту «шпаньску мушкету», взглянул на нее поближе – и не мог не расхотаться: ни курка, ни замка не существовало и признаков, одна лишь собачка жалостно болталась.

– Как же ты будешь стрелять из этой штуки? – спрашиваю Блоху.

– А зачем мне сштрелить? – вопрошает он меня на это.

– Да ведь ты же явился на охоту.

– Ну, так! Я огхотник, алеж я не буду сштрелить, а я буду толки так примератьсе, бо у мене и без сштрелянье сшама мушкета такой сштрашний штука, и рот имеет увсшибе такой балшой, як у пушька!

– То есть, как же это, однако, примерятьсе? – спрашиваю его.

– А жвините, я буду изжделать от так! – И

Блоха взял да и прицелился очень грозно. – И как толки я буду так изжделать, – продолжал он мне свои пояснения, – то увсшеки птицу отчин будит мне сшпигатьсе, бо птицу будит мисшлять сшибе, как бидто я егхо хочу сштрелить, он того сшибе не зжнайте, сшто я толки так на сшутку лякаю та примераюсе [25].

– Так для чего ж тебе и примеряться, коли так-то?

– А для тогхо, каб увсшеки птицу мне даволно сшпигалсе!

– Но для чего ж нужно птиц-то пугать?

– А для тогхо, сшто я есть агхотник!

И Блоха действительно был охотник, но только совсем особого сорта – и это оказалось для меня самым наглядным образом в конце нашей охоты.

Между тем партия, отряженная на противоположный берег, спешно раздевалась и складывала одежду свою вместе с ружьями в одну из душегубок, в которой уже покачивался на воде молоденький рыбачек. Двое из тех, что не умели плавать, нашли способ утилизировать для переправы длинное бревно, неко-

гда прибитое к берегу: раздевшись донага, они уселись на него верхом и с помощью длинных шестов, которыми – один справа, другой слева – упирались в озерное дно, стали переплываться на противоположный берег. Остальные все пустились туда же вплавь вместе со своими собаками, а рыбачек перевозил им в душегубке порох, платье и их временно-го «довудцу», пана органысту.

Собачонки этих лесных стражников поистине весьма замечательны. Все они самой простой, плебейской породы, но умны и выдрессированы на свободе как нельзя лучше! Черные, с коричневыми подпалинами и с длинным туловищем на коротковатых ногах, они, несмотря на этот несколько неуклюжий склад, отличаются неутомимостью, проворством, достаточной быстротой бега и хорошим чутьем, так что полесовщики даже и не заводят у себя, кроме этой породы, никаких других псов более облагороженной расы. Эти же «чернушки» у них на все руки! Они и хату стерегут, и на обходе леса бегают с хозяином, и за зайцем погонятся, и по красному зверю поведут, и за утками в воду полезут. Словом

сказать – это, за исключением наружности, во всех отношениях прекрасные и очень практические собаки.

– Але вара, панове! [26] Наперод умова! [27] – крикнул, обращаясь ко всем вообще, пан Буткевич. – Опруч качки не бить а ниякого птаха! Бо то вже непорядок, и выйдет не полеванье, черт зна что!

Все дали обещанье, хотя в душе-то, быть может, и не каждый охотник подчинился уговору ввиду тех соблазнов, которые будут представлять собою кулики и бекасы, но... пан Буткевич был в своем роде педант и строгий, систематический охотник, который ежели шел на волка, то уже ни за что не стал бы в тот раз стрелять по зайцу. Как «голова всему полеванью», он с гребцом-рыбаком выехал в душегубке на середину озера и держался как раз против крайних звеньев цепи, занимавшей оба противоположных берега. Капитан повел нашу сторону, органист противную, и оба, как на действительной облаве, расставляли стрелков, назначая каждому свой номер, шагах в пятидесяти сосед от соседа. Оба довудца поместились на флангах, ве-

дущих в сторону предполагаемого движения, и когда цепи растянулись, каждая приблизительно шагов на четыреста, то довудцы голосом подали весть об этом на противоположный фланг главному нашему маршалку, и тогда по крику его «зачинай!» наша охота была открыта.

Пан Людорацкий, внимательно наблюдая прибрежные камыши, осоку, аир и вообще каждый кусточек, осторожно стал пробираться вдоль берега вправо. Я стоял вторым номером и подвигался непосредственно за капитаном. Жид Блоха вертелся все около меня со своею «шпаньской мушкетой», но не рядом, а несколько поодаль, держась более глубины леса. Очевидно, Блохе приятно было думать, что и он тоже на охоте и тоже ходит с ружьем и может «сшпигать птицов»; но, как кажется, приятнее всего была ему та мысль, что есть же таки на свете существа, которые и его могут бояться, и этими существами он в настоящую минуту воображал себе уток.

Густая листва широковетвистых деревьев, нагнувшихся стволами к воде, склонялась над нею прозрачно-зеленым навесом. Было

уже часов около восьми. Солнце стояло высоко, но под сыроватую тенью зелени еще не было жарко. Приходилось пробираться или по усеянному ракушками да улитками мягкому белому песку, по которому юрко бегали разыгравшиеся на солнце ящерики, или по топкому болоту, причем со всех кочек бултыхались в воду большие зеленые, жирные лягушки и жабы; то надо было карабкаться на крутой бережок, цепляясь руками за стволы и корни деревьев и кустарника. По низам – верболоз, а несколько повыше – кусты жимолости, крушины, берестняка и волчьей ягоды росли так тесно друг подле друга, что образовывали род живой изгороди, обрамлявшей собою озерные берега. Один только густой орешник да барбарис забирались подальше в глубь леса, выбирая себе места более сухие. Высокие, густые, сочные травы, возросшие на тучной, болотисто-черноземной почве, свежо дышали разными травяными запахами и цепко путали стеблями шагающую ногу. Но, кроме того, наш путь время от времени затрудняли еще колоды и вывороченные с корнями стволы, свидетельствующие о тех страшных бурело-

мах, которые повторяются в здешних лесах почти периодически в каждое десятилетие. Эти колоды, опутанные завитками дикого хмеля и веселыми побегам разнообразных павоев, кажется, самую природою брошены здесь как будто с умыслом, как будто для того, чтоб придать еще более красоты этим диким лесам, среди всей этой непроходной заросли разнообразных кустарников. Муравьиные кучи и миллионы насекомых, питающихся деревом, находят себе приют около этих колод и в самом стволе, а иногда под ним копошатся и змеи.

Вдруг где-то позади раздался выстрел. Эхо шарахнулось в противоположный берег и вдоль по воде пошло гулять по лесам стихающими раскатами. Выстрел в лесу, как известно, особенно громок, а над лесными водами он раздается каким-то особенно красивым звуком и тотчас подхватывается гулким и чутким эхом. По лесным вершинам вслед за этим выстрелом поднялась в птичьем мире величайшая сумятица. Гай-вороны тревожно закаркали и потянули куда-то вдаль, застрекотали вертлявые сороки, застонали чайки, и

вся мелкая птица тоже разными писками, выкриками и высвистами выразила свой испуг, смятение и опасения.

Пан Людорацкий приложился. Вдруг, смотрю – жид Блоха, который теперь находился несколько впереди меня, бросив свою «мушкету», весь съежился, скорчился, полуприсел на согнутые коленки и, заткнув себе пальцами уши, с тревожным ожиданием в искривленном гримасою лице следил за прицелившимся калитаном.

Ба-ба! – и Блоха весь нервно вздрогнул.

Я взвел курок и приготовился: вспугнутая стая диких уток, штук в пять, тревожно и торопливо тянула над водою и прямо-таки под мой выстрел. Вдруг...

– Ой, не сштрелите, гасшпидин спиручник! – раздается за мною отчаянно умоляющий голос еврея. – Дайте мне наперод отбегчи подальш! А то ви можете сштрелить в мене, куда я не гхочу!

– Ах, чтоб тебе, проклятому! – невольное сорвалось у меня слово, вызванное крайнею досадою. И в самом деле, можно ли было более некстати отвлечь внимание человека таким

глупым криком, да и крикнуть-то еще как раз под руку! Утки пролетели даром, что называется, мимо моего носа!

– Исчезни, окаянный! Провались ты отсюда! – пригрозился я Блохе.

Но Блоха, видя, что опасность звука моего выстрела для него уже миновала и, приготовясь удирать подалее, все-таки захотел несколько поправиться и поддержать свой гонор.

– Ви на мене, спизжалуста, не сшердитесь, – заговорил он убеждающим тоном. – Я, може, й сшам би сштрелил и даже бил би отчин гхрабры человек, каб толке оно не так гхромко гхуркотало!

– Исчезни, говорю тебе еще раз!

– Н-ну, гхарашьо, гхарашьо!.. – замахал он руками. – Зжвините, когхда ви такой сштрогий... Я же не зжнал... До сшвиданью вам!

И, подобрав с земли свой мушкетон, Блоха быстро юркнул от меня в зеленую чащу и исчез за кустами.

* * *

Мы двигались все далее и далее в недра пуши по берегу озера Кагана. Выстрелы то и де-

ло раздавались теперь над водою, и почти каждый из них отмечал собою новую добычу которого-нибудь из охотников. Если стая уток поднималась с нашего берега, то стрелок, против которого она вспугнулася, бил ее влет: одна или две лтицы падали, остальные по диагонали перелетали на тот берег и, значит, опять-таки против какого-нибудь стрелка, и тот уже встречал метким выстрелом желанных гостей. Та же птица, которая из-под выстрела тянула вдоль озера назад, либо падала под дробь далее стоявших охотников, либо натыкалась на Буткевича – и пан маршалек встречал ее метким ударом, стоя в своей душегубке. Если раненая или убитая утка падала близко к берегу, то наши сеттера и, главнейшим образом, полесовщичьи чернушки вытаскивали ее для своих хозяев; когда же падала она далеко или отлетала умирать в камыши, разбросанные индо посередине озера, то в этих случаях добивал ее уже Буткевич и складывал в свою душегубку.

Было уже за полдень. Буткевич приостановил охоту и подплыл к нашему берегу. Голубое небо дышало зноем. Ни малейшего ветер-

ка. Ветви и листья под влиянием этой жары бессильно опустились. Янтарная смола сочилась из сосен, которые наполняли весь воздух своим сильным ароматическим запахом. Почва распарилась, а в болотных местах далее курилась, и из этих последних мест подымался запах болотисто-водяной сырости, аира и свежей, сочной травы, который струями мешался с запахом хвойного леса. И носились над этими низинами рои мошек, мотылей, комариков, и с тонким звенящим жужжанием сновали лесные пчелы. Певчие птицы совсем примолкли. Изредка одни только иволги да дрозды лениво и вяло перекликались между собою.

– А замечаете вы, как эта птица странно разговаривает? – отнесся ко мне пан Людо-рацкий, растянувшись рядом со мною у корней раскидистого дуба на мягком бархатно-зеленом мху. – Я ее зову француженкой гувернанткой, – добавил он.

– Почему же так? – с улыбкою спросил я, озадаченный таким странным названием.

– А потому что – замечали ль вы? – она постоянно высвистывает так, как будто говорит:

ivite-vite-vite-vite, messien-ursb. Ну, вот ни дать, ни взять, как гувернантка мальчишкам!..

Я рассмеялся. Сравнение было оригинально, и высвист действительно очень походил на звуки, изображенные капитаном.

– А то есть еще другая птица – тоже по лесам и рощам обитает, – продолжал Людорацкий. – Так та несколько иначе свищет...

– А именно? – спросил я.

– А именно так, как будто поспешно спрашивает на бабий манер: «Послушай, послушай, послушай, Василий, Митька дома?»

И это у капитана тоже выходило очень похоже.

– У каждой птицы есть свой разговор, – продолжал он. – Это мы еще с товарищами на Кавказе замечали. Ведь уж известно, что индюк, например, все здоровкается по-солдатски: «Здравия желаем, ваше благородие!» А перепелки, так те настоящие пропойцы, и уж у них одно из двух: либо ругаются нехорошим словом, что и сказать нельзя, либо все пить приглашают: «пить так пить!.. пить так пить¹» – это самая любезная птица!

– Потому что пить зовет?

– А так! Потому-то я и люблю ее. Как слышу вечером в поле, так мне это сейчас и напоминает, что пора водку пить и за ужин садиться. Почтенная птица!

* * *

После получасового отдыха мы возобновили нашу охоту, длившуюся до четырех часов дня и в общем результате доставившую нам до сорока штук уток. На мою долю пришлось две кряквы и один чирок. "Облава*" собралась у того же самого рыбацкого куреня, от которого утром зачалась наша охота. Рыбные ловли на здешних озерах держит на откуп один костромской крестьянин, которого все зовут «русским». Он научил своих батраков варить русскую уху, о которой в Западном крае вообще очень мало имеют понятия.

Когда мы подошли к куреню, то застали там между рыбаками и нашего Блоху. Присев на корточки перед костерком, он с внимательным любопытством наблюдал, как варится рыба и закипает вода в чугунном котелке, подвешенном на треногу.

Есть нам хотелось не на шутку, а души-

стый пар ушицы, подымавшийся из котелка, приятно щекотал обоняние и раздражал аппетит. Вскоре поспело это рыбацье варево, и мы, раздобыв у батраков деревянные ложки, уселись в кружок на земле и из общего котелка стали хлебать вкусную похлебку.

Жид Блоха между тем обделывал себе «выгодные гешефты». Он скупал у полесовщиков битых уток, и скупал их по безделице, что-то вроде восьми или десяти копеек за пару. Стрелки охотно уступали ему свой излишек, и таким образом у Блохи оказалось до десятка пар, если не более. Тут-то и пригодился ему оригинальный пояс с «мутузочками»: каждую птицу он брал за голову и аккуратно подвешивал к этому поясу. Таким образом, через несколько минут Блоха весь обвешался битой птицей и предстал перед нами в гирлянде пестро-серых уток, которые висели вокруг его стана вроде коротенькой юбки с бахромою. В этом оригинальном убранстве, с мушкетонам за плечами, Блоха был уморителен до последней степени.

– На кой прах тебе столько птицы? – спросил я его.

– У гхород повезу до предазжи, – ответил он с таким достоинством, как будто все эти утки были трофеями его собственной охоты.

– И надеешься сбыть? – продолжал я.

– Увсше до одного!

– И поскольку думаешь выручить за пару?

– Огулем кипэйкув по шшорок.

– Выгодный гешефт! – одобрил Людорацкий.

– Когхда зж не вигодни?! Хо-хо!.. На то зж я есть и агхотник.

* * *

Когда часом позже, проезжая через Езера, мы высаживали капитана с органыстой, нас обступили несколько еврейчиков.

– Зжвините! Сказжить спизжалуйста, – любезно заговорили они, обращаясь ко всем нам, – чи насш Блюох еще на палюваню?

– На полеванье.

– А чому зж он не з вами?

– Оттого, что у него качек чересчур уже много набито.

– Уй?! Ви гаворитю, многхо качков?

– Много, много! Целый ворох будет!

– Пссс!.. И увсше сшам сштрелил?!

– Всех, до единой.

– От-то!.. И увсше зе сшвоей шпаньскей мушкеты?

– Все из нее!

– Пссс... Сказжить спизжалуйста! Насш?!
Насш Блюох?! От-то агхотник! О!.. Насш
Блюох! Ми наусшигда изжнали, што насш
Блюох ест человек отчин доволна гхрабры!

V. Что делает ворона

После весеннего кампанента 1872 года по недостатку офицеров, разъехавшихся в отпуск, я был прикомандирован ко 2-му эскадрону на время травяного довольствия.

Командировка эта была для меня тем приятнее, что я поступал временно под начальство человека, которого любил всей душою. Да, впрочем, наш длинноусый майор Данило Иванович Джаксон был общим любимцем полка и служить с ним было легко и весело. Кавалерист до мозга кости, попавший из аудитории Московского университета прямо на фронтную лошадь, он до самой смерти, всю жизнь, или всю службу (что в данном случае решительно одно и то же), провел в одном и том же Ямбургском уланском полку, который заменил ему дом, и семью, и все привязанности души и сердца.

Лихой службист и верный товарищ, душа полкового кружка, олицетворенное благородство и честность, с душой и жизнью на распашку, добряк, делившийся с товарищем-уланом последней копейкой, если таковая обре-

талась в наличности, первый и горячий голос за всякий благородный порыв, за всякое доброе дело и в то же время первый запевала на всякую лихую, остроумную и веселую штуку – таков был майор Джексон.

Дай Бог, чтобы подобные типы не переводились в русской армии!..

2-й эскадрон обыкновенно стаивал у нас «на траве» верстах в двадцати от полкового штаба, несколько в стороне от старой виленской дороги, занимая под свое помещение три-четыре сарая на фольварке Закревцизна, – место это тихое, укромное и напоминающее собою все вообще фольварки, разбросанные по Литве и Западной Руси. Заглохший пруд, покрытый белыми и желтыми кувшинками, осокой и аиром; на берегу – полуразрушенная водяная мельница, живописно поросшая темно-зеленым мхом, из-дод которого там и сям вырываются побеги ползучих растений, злаки и тоненькие отпрыски будущих деревьев. Низенький одноэтажный домик под соломенною кровлей, разделенный сенцами на две равные половины; густо поросший огород, от которого иногда до одури веет

укропом в распаренном воздухе; прямо пред глазами несколько великанов-сосен, где на каждой обитает семейство аистов. Такая-то неприхотливая картина окружает фольварк с его передней стороны; противная же сторона прячется в лесу, подошедшем своими вековыми деревьями прямо к стене нашего домика.

В этом лесу, если отойти с полверсты от фольварка, стоит древняя и крайне убогая православная церквушка, в которой давно уже не отправляется богослужение, а вокруг нее скучились заросшие бугорки да погнившие кресты забытого кладбища. Поперек леса, в одной стороне, тянется правильный земляной вал, и тут же встречаются два высоких бугра, поросшие вековыми деревьями. Местные жители называют их «шведскими могилами» и «шведским валом», рассказывая, что на этом самом месте при царе Петре, – когда тут еще не росло леса, а было чистое поле, – происходило «лобоиська» между шведамя и русскими и было пролито много крови, отчего де и самый фольварк, или усадьба, называется Закревцизною, то есть стоящею за кровью. Весь этот уютный сельский уголочек оро-

шается извилястою речкой Пыррой, берега которой в этом месте поросли высокими древними вербами, ольхой и чернокленом, и по стволам этих деревьев красиво завивается густейший хмель, а макушки унизаны шапками вороньих гнезд. Прибрежные луга кишат мириадами пестрых мотыльков, коромысл и кузнечиков, и все это реет в солнечных лучах и звучит неумолкаемым концертом, который вечером, во время заката, начинает сливаться с мелодическим урчанием и стонами жаб в заглохшем пруду и на соседнем болоте. В это же время целые тучи ворон и галок, крестиками рябя в глазах на страшной высоте, совершают вечерний перелет, кружась над строением и наполняя всю окрестность рассыпчатым карканьем...

Бывало, первое удовольствие у нас в эту пору – пойти на берег Пырры раков ловить. Возьмем с собою двух-трех солдатиков да денщика и где-нибудь на бережку костерок разложим. Едкий дымок отгоняет мошку. Солнце уже село. Ни один лист не шелохнется в своей ленивой, дремотной неподвижности. Все темней и темней становится в охлаждающемся

воздухе, и только белесоватый край потухшего неба сквозит в воде между совершенно черными отражениями толстых стволов и кустарника. Двое солдатиков – привычные наши ловцы – раздеваются и, наскоро перекрестясь, осторожно спускаются в речку. Все движения свои в воде стараются они делать как можно плавнее и тише, чтобы излишним шумом и всплесками не всполошить раков. Бережок у Пырры отвесный и глубокий: как только спустишься, так тебя сразу до грудь и охватит водою, – раки в этот час забрались уже спать в свои норки.

Наши ловцы, как бы крадучись, пробираются в речке вдоль бережка и внимательно щупают его под водою. Нащупают рачью норку, ловец острожно запускает в нее свою руку – и через секунду выброшенный на траву черный броненосец в смятении начинает дрыгать своим хвостиком, за ним другой, третий – так что только успевай их подбирать да в мешок укладывать! И глядь – через полчаса уже полная кастрюля начинает понемногу закипать над костерком на треножнике. Сейчас это – одевшимся людям по доброму

стакану водки за труды вместе с командирским «спасибо», а еще полчаса спустя и сами мы, тоже пропустив по чарке, тут же на берегу примостимся поудобнее на разостланном ковре и примемся за вареных раков, которых навалят перед нами полное блюдо горою. Так мы его и одолеем вдвоем промеж тихого разговора. И преотменные, превкусные это у нас ужины выходили!

Нередко, бывало, во время рачьего лова подойдет к нам проживавший по соседству еврей, Мошка Гусатый, который у Джаксона представлял сухой фураж для эскадрона, и тихо задумчивым тоном вступит с майором в хозяйственные разговоры. Этот Мошка, мужик лет тридцати пяти, в своем роде был человек весьма изобретательный. Впрочем, никто и никогда его Мошкой не называл, а был он в целом полку известен под именем Шишки – так и прозывали его все Шишка Гусатый. Такое несколько странное прозвание имело свою причину. Дело в том, что у Тусатого под левым глазом был довольно значительной величины мясистый шаровидный нарост, который он называл «гулей» и говорил, что эту

гулю ему «Бог дал»; уланы же за эту «гулю» и прозвали его Шишкой. Шишка да Шишка – и Бог весть с коих пор так уж и прослыл он Шишкой по всей окрестности.

Помню, однажды в послеобеденное время завесил я в своей комнатке раскрытое окно байковым одеялом, чтобы мухи не так донимали и, растянувшись на походной железной койке, принялся в мягком полусвете за чтение какой-то газеты, только что доставленной к нам из штаба с «летучею почтой» [28]. Данило Иванович между тем ходил по смежной комнате, служившей нам и приемною и столовою вместе, и насвистывал что-то вроде полкового марша. Вдруг слышу я – торопливо кличет он меня оттуда вполголоса, с оттенком какой-то особой таинственности в тоне, словно хочет показать нечто достойное особенного внимания и боится, как бы не опоздал я поглядеть на любопытное явление.

– Всеволод... а Всеволод!.. Ступай сюда скорее!..

– Чего тебе? – откликаюсь я лениво и нехотя.

– Ах, да ступай, говорю!.. Шишка идет!

– Ну так что ж, что Шишка?

В это время майор показался на пороге моей комнаты.

– Да вот, видишь ли, в чем дело, голубчик, – начинает он объяснять мне все тем же, отчасти таинственным тоном, – протранжирился я немного в Вильне, а он за деньгами идет.

– Гм!.. Денег у тебя нет, что ля?

– То есть не то что нет – деньги-то, положим, есть всегда; но лишних, как на грех, теперь не имеется, да и на другие надобности нужны по эскадрону, и потому отдавать ему теперь мне не хотелось бы.

– Так и не отдавай. Скажи, что после.

– Да пристанет ведь... а я отказывать не умею – боюсь, что отдам.

– И много должен ты?

– Нет, пустяки: всего только тридцать рублей.

– Ну, брат, на беду, и у меня пусто, – сказал я, раскрыв ему бумажник, где скудно засело каких-то пять или шесть рублишек.

– Э, да я не об этом! – перебил он, нетерпеливо махнув рукою. – Не в деньгах дело!

– А в чем же? – поднял я глаза в недоумении.

– Разговори ты его как-нибудь.

– То есть как же это, однако, разговоришь-то? – невольно рассмеялся я.

– Ну, как знаешь, так и разговаривай! Только устрой, чтобы он не приставал и отваливал.

– А ты как скоро надеешься отдать ему?

– Ну, недели через две, не позже... Как получу из ящика, так и отдам сейчас же. Разговори, голубчик!

– Ну, ин быть по сему! – согласился я. – Нечего делать, надо подыматься с постели... Фу! Жара какая, однако!.. Душно!

И я лениво направился в смежную комнату, а Джексон вслед за мною прошел в свою спальню. Низенькие окна стояли у нас настежь раскрытыми. Я облокотился на подоконник и высунул голову на двор. Смотрю – стоит мой Шишка под окошком в своей длиннополой залоснившейся хламиде; шапка, по обыкновению, съехала на затылок, на лице некий гнет ожидания изображается, стоит и тросточкой своею поигрывает. И видно, что

жарко, неумоготу ему жарко, сердечному!

– Здравствуй, Шишка! Что скажешь хорошего? Зачем ты?

– Нет, мы так... до гасшпидин майор, – уклончиво и как бы нехотя отвечает Шишка.

– А зачем тебе майора?

– Так... Сшвой интерес иймеем.

– Верно, за деньгами?

– Мозже и так...

– И очень получить желаешь?

Шишка хитровато усмехнулся.

– Зжвините, – начал он, – а когда зж ви зжнаите таково шаловек на сшвиту, который не ажалал бы того?

– Такого человека... хм!., не знаю.

– Ну, и я так само зж не зжнаю.

– Верно. А теперь и я тебя в свой черед спрошу: зжвините, а когда ж ви не знаете, что иногда не всякое желание исполняется?

Шишка недоверчиво глянул мне в яйцо и, ничего не отвечая как на явно невозможную вещь, вытянул шею и мимо меня стал заглядывать внутрь комнаты.

– Гасшпидинь майо-ор?! Гасшпидинь майо-ор?! – повторял он, ища глазами Джак-

сона.

«Чем же, однако, – думаю себе, – буду я его разговаривать долее?» – как вдруг попалась мне на глаза тоненькая книжонка, которую, возвращаясь вчера из Вильны, купил майор на железной дороге. Это было собрание каких-то анекдотов из еврейского быта, кажется, Гулевича. Сегодня за обедом мы от нечего делать перелистывали эту книжонку и находили в ней некоторые сценки довольно забавными.

«Вот оно, что выручит меня!» – подумал я, вспомнив из нее одну подходящую штуку.

– Напрасно, Шишка! – говорю еврею. – Не смотри, не заглядывай. Майора ты не увидишь и денег сегодня от него не получишь.

– Ну, да! – явно не веря мне, мотнул он головою, как на самые пустые речи. – От гасшпидинь майор каб ми да не получили сваво деньгувь!.. Чи можна тому бить?

– Да уж верно говорю, не получишь.

– Гасшпидинь майор?! – опять тянется и заглядывает Шишка.

– А очень хочется?.. Очень?

– Агх, осштавьте, спизжалуста, васшего

сшутку!.. Гасшпидин майо-ор?!

– Сказано, не заглядывай! А если уж так тебе желательно, то можешь получить от меня, но никак не от майора.

– Од вас?!

– Ну да, конечно, от меня, как будто не понимаешь!

– Н-ну, як од вас, то од вас!.. С балсшущим вдаволствием! – повеселел вдруг Шишка.

– Изволь, мой милый, но только с одним условием...

– Всшловиюм?.. Яке таке всшловию?.. И за чем тут всшловию?

– Затем, что без того невозможно.

– Невозможна?.. Хм!.. Так. Ну, гхарасшьо! – согласился он, додумав. – А какое всшловию?

– Самое пустое: я загадаю тебе одну загадку.

– Зжагадке?.. Зачэм зжагадке?

– Затем, что если отгадаешь, то сейчас же и деньги получишь, а не отгадаешь – приходи через две недели.

– Ну, ви знов на сшутке! – разочарованно махнул он рукою.

– Без малейших шуток; говорю тебе самым

серьезным образом.

– Эгъ! Асштавте спизжалуста!.. И сшто я вам буду сгадывать вашево зжагадке?.. Каб я бил який фылозов, чи то мондры чловек, то я б вас сгадал, а то зж заусем простой бедный еврей – сшто я знаю?

Вижу я, что не поддается мой Шишка на эту штуку, – надо взять на более существенную приманку – и иду к Джексону в спальню.

– Дай мне, пожалуйста, – говорю, – тридцать рублей, что ты ему должен.

– Ну, вот!.. Ведь просил же тебя разговорить его как-нибудь! – с досадой почесал майор затылок.

– Да ты не беспокойся, – говорю, – я тебе их все сполна сейчас же назад принесу; а ты дай только для возбуждения у него аппетита.

Достал мне Джаксон из шкатулки тридцать рублей, подхожу я с ними опять к окну и начинаю пересчитывать бумажку за бумажкой.

Просиял мой Шишка, будто и точно аппетит почувствовал. Ну, думаете, сейчас конец испытанию!

Пересчитал я бумажки и подношу к его но-

су:

– Понюхай.

– Н-ну, и сшто я вам буду нюгхать!.. Зачэм мне нюгхать?!

– Понюхай, чем пахнет.

Потянулся Шишка вперед носом и – нечего делать! – понюхал сложенную пачку. «Была не была! – думает. – Авось либо на этом уже и конец».

– Н-ну, и сшто таково с чэм пагхнеть! – рассуждает он. – Зжвестно с чэм пагхнеть! С бемажком пагхнеть!

– «С бемажком»? Ну, так отгадывай загадку.

– Ну, пфэ!.. Опьять ви из вашими зжагадком!

– Не желаешь?

– Я взже сшказал... Зжвините.

– Ну, как знаешь. Прощай. – И с этими словами я отошел от окошка.

– Але зж пасштойте, пасштойте трошечку, гасшпидияь сперучник! – мигом ухватился Шишка за подоконник, всовывая в комнату свою физиономию. – Сшто таково васше зжагадке?

Мозже, йон очин довольна трудний?

– Нет, самый пустяк!.. Малый ребенок и тот разгадает.

– И як я сгадаю, то ви атдаете мне деньгув?

– Сию же минуту.

– А як я не сгадаю?

– Так получишь через две недели.

– Н-ну, гхарасшьо! Гадайте васшево зжагадке! – с видом бесповоротной решимости махнул рукой Шишка и отцепился от подоконника.

– Изволь, мой милый. Слушай.

– Н-ну? – И он весь превратился во внимание. Я показал ему рукой на вороньи гнезда:

– Что делает ворона после того, как проживет два года на свете?

– Сшто-о-о? – чуть не с ужасом и в величайшем недоумении выпучил он на меня глаза свои.

Я отчетливо и вразумительным тоном повторил ему загадку.

– Пазжволте, пазжволте, – тревожно перебил меня Шишка. – Зжвините, как вы гхаворитю? Сшто начинает изделать верона... Та-

ак?

– Так, мой милый.

– Напосшлю того, як она будет переживать... Сшкольки годы, ви гхаворитю?

– Два.

– Ах, да!.. Двох годов... На своем жистю!

Так?

– Совершенно верно.

– Гхарасшъо!.. Сшто начинает изделать верона напосшлю того, як он будет переживать двух годов на своем жистю?

И, произнеся эти слова, Шишка принял сосредоточенную позу, вдумчиво приставил палец ко лбу, устремил прищуренный взгляд куда-то в пространство и, как бы отдавая себе отчет в каждом: слове, стал бормотать вполголоса: «Сшто начинает изделать верона на посшлю того...»

– Ну, а сшто такого будет он изделать? – совершенно неожиданно и притом, по-видимому, самым наивным образом обратился он ко мне с вопросом.

– Бот про то-то я тебя и спрашиваю, – возразил я, видя, что этим вопросом еврей думал было схитрить со мною.

– Каб я знал! – в недоумении и даже несколько амбициозно пожал он плечами.

– Подумай и догадайся, – говорю я ему, – на то и загадка.

– Хм!.. Зжагадке!.. Очинь доволна глупий зжагадке!

– Тем хуже для тебя, если ты – «мондры еврей», а догадаться не можешь.

– Але зж, зжвините... Пазжволте, я додумаю.

– Ну, додумывай – я не мешаю.

И снова – глубокомысленно палец ко лбу, снова прищуренный взгляд в пространство, и опять, бормоча вполголоса, с мучительным умственным напряжением, вдалбливает в себя Шишка каждое слово: «Сшто начинает изделать верона...»

– А! Зжвините... Додумал! – радостно сорвался он вдруг с места, уже заранее торжествуя свою победу. – Додумал, гасшпидинь сперучник! Додумал!.. Ага!.. Ну, а ви вже сабе мисшляли, сшто я такой глупий, сшто и зжагадке вашего не сгадаю?! Пфе!.. Пазволте деньгув!

– Да ты зубы-то не заговаривай!.. «День-

губ»! Ты разгадку скажи сначала, а потом уже «деньгуб».

– Ну, гхарасшьо, гхарасшьо... Слюгхайте, – начал он самым уверенным тоном, – он будет знов по-новому летать – так само зж, як дитю: бо когда дитю есть вже двох годов, то дитю начинает гходить. Чи то вирно?

– Нет, брат, не верно. Не угадал.

– Н-но! – мотнул он в сторону головою. – Як то вже не вирно, то сшто зж такого вирно?!

– А вот «додумай».

– И додумаю!.. Зжвините!..

И снова глубокомысленная поза.

– Додумал! – с новым торжеством восклицает через минуту Шишка. – Додумал! Он будет як-небудь знов по-новому карчить.

– Не угадал, дважды не угадал, брат: все также и летает, и каркает, как и прежде.

– Але зж пазжволте до трох разов! – вступился за себя Шишка.

– Сделай одолжение, я не препятствую.

И опять он задумался.

– Знайшол!.. Он будет сшто-небудь знов по-новому кушить. То тераз так? – приступил он ко мне, однако уже не с прежним торжеством

и уверенностью.

– Нет, не так, – объявляю ему со вздохом, – все ту же падалину жрет – не угадал, брат, и в третий раз.

– Ну, то я вже и не зжнаю! – с досадой развел Шишка руками. – То ви мне на смегх, бо такого и зжагадке ниет... И то одно глупство виходить! Зжвините! – совсем рассердился и даже разобиделся мой Шишка. – Пазжволте мово деньгув! – приступил он ко мне через минуту.

– Эге, брат! А условие?.. Забыл?.. Приходи через две недели.

– Гасшпидинь майор?! Гасшпидинь майор?! – опять тоскливо стал он тянуться на цыпочках и заглядывать в окошко.

– Верзилов! Проводи-ка, брат, Шишку за мельницу! – крикнул я проходившему мимо улану.

Ловкий солдатик подхватил еврея под руку и молча, но преважно повел его с фольварка.

* * *

На другой день, под вечер, около наших конюшен я занимался исправлением своей ло-

пади. Это был вороной жеребчик чистой арабской крови и чистый красавчик, но с одним величайшим пороком – причина, по которой он достался мне довольно дешево. Жеребчик мой имел привычку опрокидываться, а это, не говоря уже о вреде для него самого, является крайне опасным для всадника: кавалеристы очень хорошо знают, что этот порок нередко бывает причиной не только несчастных падений, но даже и мучительной смерти для неосторожного и неловкого всадника. Представьте себе, что лошадь, идущая под вами или даже стоящая на в совершенно спокойном состоянии, вдруг, ни с того, ни с сего, моментально взвивается на дыбы, становится, что называется, «свечкой» и затем столь же моментально опрокидывается навзничь; и если вы не успели уловить мгновения, чтобы соскочить с нее (что довольно трудно, ибо требует большой ловкости и сноровки) или же соскользнуть с ее крупа (что гораздо легче), то вы опрокидываетесь вместе с вашей лошадью, которая наваливается на вас всю свою тяжестью, и тогда передняя седельная лука очень легко может проломить вам

грудь, что грозит неминуемую смертью.

Вот от этого-то несчастного порока и надо было отучить мне моего жеребчика. Существует для этого в наших полках один стародавний способ, который всегда увенчивается полным успехом; но способ крайне жестокий, варварский, и притом весьма опасный для лошади. Состоит он в том, что один из самых ловких всадников садится на порочную лошадь, которую, разумеется, крепко держат в это время с обеих сторон под уздцы. Когда всадник уселся и разобрал поводья, ему подаются кувшин или бутылку с водою и затем пускают лошадь на волю. Штука вся в том, чтобы в самый момент, как только начинает лошадь взвиваться на дыбы, сильным ударом разбить у нее на темени сосуд с водою. Ощущение непредвиденного удара сверху вместе с ощущением внезапно пролитой воды, конечно, ошеломляет лошадь, и она невольно опускается на передние ноги. Этот маневр, проделанный несколько раз сряду при малейшей попытке животного стать «свечкой», очень скоро отучает его от дурной привычки, но риск при этом заключается и том, что – не

ровен час – вы или покалечите лошадь, поранив ее осколками стекла, или же повлияете силою удара на состояние её мозга. Поэтому-то я и не хотел подвергать моего жеребчика таким жестоким экспериментам. Надо было изобрести что-нибудь более подходящее или по крайней мере менее опасное. С этою целью мною и был придуман способ, который беру на себя смелость рекомендовать кавалеристам, так как результаты его на практике оказались самыми успешными. Я придумал заменить кувшин и бутылку свежим гусиным яйцом. При попытке взвиться на дыбы всадник с достаточною силою разбивает на темени лошади яйцо, содержимое которого обливает ей своею клейкою жидкостью всю голову и морду. После этой операции рейткнехты немедленно уводят лошадь в конюшню и, расседлав, оставляют ее в таком виде до следующего дня. Понятное дело, что неприятное ощущение 'клеенных волос, на которые садятся и пыль, и насекомые, и в особенности надоедливая, неотвязная муха, в конце концов служит Достаточным и продолжительным наказанием животному за его по-

рок: это ощущение действует ему на нервы. На следующий день, перед повторением того же сеанса, лошадь должна быть хорошенько вычищена, освежена, голова и морда ее тщательно вымыты, Чтобы дать ей почувствовать всю приятность облегчения от клейких яичных потеков. После этого, промяв ее на корде, повторяйте ваше испытание, и ручаюсь вам, что трех-четырёх уроков будет совершенно достаточно для отучения лошади от опасной привычки: она уже будет знать и никогда не забудет, что при малейшей попытке подняться на дыбы там наверху, над головою, есть что-то такое, что неизбежно разобьется об ее темя и обольет всю морду клейкою жидкостью, со всеми суточными последствиями столь неприятного сюрприза. Этот способ сам по себе уже достаточно внушителен, а главное – совершенно безопасен для здоровья лошади и удобен в том отношении, что стоит весьма дешево. В крайнем случае гусиное яйцо можно, конечно, заменить и куриным, но первое надо считать предпочтительнее по количеству изливаемой жидкости.

Итак, на другой день, под вечер, в то время, как я занимался исправлением жеребчика, а Джексон, наблюдая за успешным ходом этой операции, прогуливался по двору со своею крючковатого палкой, идет к нему навстречу Шишка Гусатый.

– Ты чего? – спросил его Джаксон.

– Нет, ми не до вас... Ми до гасшпидинь сперучник, – ответил Шишка, мотнув на меня головою.

– Ко мне? – откликнулся я. – Никаких дел и отношений с тобой не имею ни по овсу, ни по сену; а впрочем – к твоим услугам. Что скажешь?

– Зжвините, – начал он с тою сладко умиляющей миной и ужимкой, которые обыкновенно употребляет еврей, если хочет показать вам высшую степень вежливости и деликатности. – Зжвините, гасшпидин сперучник... будьте такой ласковый, скажите мне спизжалуста – сшто таково он будет издевать?

– Кто? – спросил я, не разобрав хорошенько вопроса.

– Он, – повторил Шишка с наивысшей де-

ликатностью.

– Да кто такой «он»? Говори толком!

Еврей помялся и в затруднении повел головой и плечами, как бы колеблясь внутренно – сказать или не сказать?

– Верона... – произнес он наконец тихо и отчасти смущенно, словно бы и самому ему стало конфузно за свой «бардзо дэликатный» вопрос.

Я понял, но ввиду этой Шишкиной «дэликатности» довольно комического свойства притворился, что не понимаю.

– Что такое? – переспрашиваю его снова.

– Верона...

– Какая ворона?

– Тэн сшами, сшто будет переживать двох годов на своем жистю, – вымолвил Шишка, окончательно уже сконфузясь.

При виде этой фигуры и по свойству самого вопроса мы с майором не выдержали и оба покатались со смеху.

– Хм!.. Ито вас увсшмегх! – с укоризной покачал еврей головою. – А каб ви побили в моя сшкара, то вам би било не до сшмегх!.. Бо ви жзнайте, гасшпидин майор, – приступил

Шишка к объяснению, – ви зжнаете, как стадали они мне того сшваво зжагадке, то я иду сабе по шляху [29] до дому, а сшам увше того мислю в сшвавом глову иймею: «Сшто таково будет он изделать?» И я недодумал. И нала- том, як прийшол я вже до дому и сядал до ко- ляцьи [30] и мне моя зжонка поставила ца- лу миску ляпши, але зж я ниж адней лиожки не скушал, бо увше думаю того сшмаво ми- слю: «И сшто таково будет он изделать?!» И я недодумал. Ну, и напатом лягал я сшпать, але зж так мне нудно, так нудно под бебехем... и увше того сшмаво мислю, як бы сшвердло у глову: «Н-ну и сшто зж таково будет он изде- лать?! Богх мой, сшто таково?!, сшто тако- во?!!» И я недодумал. И то мне даже в стыд, бо я думаю сабе: я зж не глупый чловик и не могу додумать сшмамого прастово зжагадке! Н- ну и сшто таково?! Ну, гхарасшьо, – обратил- ся он вдруг ко мне самым решительным то- ном, – ви отдаете мне деньгув праз двох неделюв, и я на тым сшпакойний, бо они у гасшпидин майор в шкатулке як у Богха за пазухем. Ну, и хай будет так. Я сшагласшний. Але зж, гасшпидин сперучник... зжвините, не

нудьте мне... скажите спизжа-луста: што таково будет он изделать?.. Ну, и сшто вам сштоить!.. Ну, и когда зле я вас прасшую!.. Бо мне зж так нудно, так нудно... ой-вай, як нудно!.. Спизжалуста! – И он в заключение скорчил самую несчастную, умоляющую рожу.

– Ну, уж так и быть, – согласился я со смехом, – в уважение твоих мучений я тебе открою. Слушай.

– Н-но?! – просиял вдруг мой Шишка.

– Ворона...

– Н-но-но? – с плутоватой поджимкой подставил он ухо.

– После того, как проживет два года...

– Н-но??

И он весь преобразился в нетерпеливое, жадное внимание и любопытство.

– Начинает жить третий год, – докончил я прерванную фразу.

Предоставляю вам самим вообразить себе то громадное смущенное удивление, которое запечатлелось и как бы застыло в эту минуту на озадаченной физиономии ошеломленного Шишки. В первое мгновение, словно бы в ис-

пуге, он схватился обеими руками за кончики своей рыжей бородки и, не выпуская ее из пальцев, уставился в меня выпученными глазами.

– Та-ак?? – произнес он наконец после минуты в своем роде эффектнейшего молчания.

– Так, мой милый, – подтвердил я в тон ответственному настроению Шишки.

– Пфсс... Гхарасшьо-о...

– Нравится?

– Гхарасшьо-о!..

– Доволен?

– Очень довольный... Благодарю вам, гасшпидин сперучник.

За ужин Ну и, значит, теперь, умудренный опытом, убирайся и приходи за деньгами через две недели.

* * *

Наконец пришел и он, этот срок, назначенный мною. В течение этого времени Шишка хотя и появлялся иногда у нас на фольварке по какому-либо делу, но о деньгах не заикался больше, В назначенный день, получив из ящика свои деньги, Джаксон не только расплатился с Шишкой, но и дал ему еще сколь-

ко-то десятков рублей в счет будущих поставок. Расчет этот происходил как раз перед обедом. Миска ботвиньи с розоватого лосося, только что привезенною майором из города, аппетитно манила к себе взоры, и мы уселись за стол.

Шишка тщательным образом пересчитал все бумажки, аккуратно уложил их в свой бумажник и, самодовольно спрятав его за пазуху, отошел к дверям и поместился у косяка.

В совершенном молчании, которое свойственно проголодавшимся людям, принялись мы за нашу ботвинью, как вдруг Шишка фыркнул у двери, видимо сдерживая смех.

Мы взглянули на него с некоторым недоумением, однако не сказали ни слова.

Но глядь, через минуту опять то же смешливое фырканье.

– Чему ты? – обернулся на него Джексол.

– Зжвините, гасшпидин майор, зжвините! – в каком-то неудержимом восторге замачал он руками, словно бы подлетая на цыпочках к нашему столу. – А зжнаите ви, сшколки пурцентов озаработал я сабе на тых деньгах?

– На каких это? – спросил я.

– На тых сшамих, сшто ви сказали мне «получи праз двох неделюв».

– Да как же это, коли они лежали у майора в шкатулке?

– Ну так, так! Они лягали у гасшипидин майор ув шкатулке, а ми на них пурценты сабе работали. Ага?!

– Молодец, коли не врешь. Но каким же образом?

– Додумайтю! – с торжеством предложил мне Шишка.

– Черт тебя знает! – пожал я плечами. – Я уж тут ровно ничего не понимаю!

– Ага?! Не нанимаете?.. Ну, то этое одзначае, сшто натиперь то есть маво зжагадке!

– Расскажи, пожалуйста, это любопытно.

– Ага, то теперички ви любопытний! А як я бил любопытний, то ви как мне нудили?.. Ага?.. Ну, гхарасшьо! Я буду добрейше од вас. Сшлюхайте!..

И, встав в несколько торжественную позу, Шишка наскоро и ловко, одним мимолетным движением заворотил себе обшлаг на левом рукаве и приступил к рассказу.

– Зжвините, – начал он «бардзо дзликат-

не», – сшколки неделюв переходило од вашого зжагадке?

Две недели, – отвечал я.

– Так. Двох неделюв. Вирно. А сшколки на том времени било ярманкув [31]?

– Ну, уж этого, брат, не знаю.

– Ну, то я вам буду говорить. Било чатире ярманке: бил базар на Сшкиделе, бил базар на Езиоры, бил на Крынки и на Ендуря [32].

И мы егхали сабе до увсших чатирых ярманкув; ми заходили до корчмы, где много есть з насших и много увссякого народу, и ми до увсших до них говорили так: "Гасшида, зжвините! Вымайте каждый чловик одного десентке [33], а я буду выймать одного сшиненькаго бемазжке [34], и напатом я вам буду сгадовать одного зжагадке. И гхто маво зжагадке сгадае, хай той берет сшиненькаго бемазжке; гхто маво зжагадке не сгадае, я буду брать у того одного десентке. Гхарасшьо?" «Гхарасшьо, – говорать, – хай будет так!» Н-ну, викладали они мене сшвоих десенткув; викладал я им маво сшиненькаго бемазжке и напатом говору: «Зжвините! Сшто начинает изделать верона напосшлю того, як она будет

переживать двух годов на своем жистю?» Ну, и сшто ви сабе думаетю!.. Азж ии адин сшволочь не сказал мине, сшто такого он будет изделать!.. Забирал я натогда тые десентке, забирал сваво сшиненькаго бемазжке и таким сшспособом од чатирых ярманкув заработал сабе дванадцать рубли пянтъдесюнтъ кипэикув чистаго пурценту!.. Благодарю вам, гасшпидин сперучник!.. Благодарю за науке!

И торжествующий Шишка отдал мне глубокий поклон с видимым наслаждением.

После этого долго еще, при каждой встрече, он деликатно и таинственно останавливал меня тихим вопросом:

– А сшто, чи нема у вас еще какого зжагадке про верона?

– Про ворону? Нет, брат, – говорю, – не имеется.

– Ну, то як нема про верона, то мозже есть про какого другого сшкатица?

VI. Полковые приживалки

1. Бессловесные

В больших барских домах, в особенности в домах бывшего времени, как и в большинстве наших полков, существовали, а кое-где еще и до сих пор существуют особого рода приживалки, столь органически входящие в самый склад быта и жизни, к которым они присосались, как улитки к коралловому рифу, что без них иногда даже невозможно представить себе подобного дома или подобного полка, в особенности, если это полк кавалерийский. Приживалки эти бывают разные: и в образе человеческом, и в образах бессловесных – собак, козлов, иногда птиц и т.п.

Еще в моей «Истории Ямбургского уланского полка» я должен был отметить любовь к животным как выдающуюся особенность, искони присущую нашим солдатам. И действительно, поднять на улице в грязи несчастного голодного щенка, принести его в эскадрон и там выкормить и выходить – это

была и есть одна из самых характерных черт нашего солдатского добродушия. Такой выкормыш становится уже эскадронной собственностью. Рядом с любовью к собакам шла любовь к козлам. При конюшне эскадронного командира в былые годы всегда жила эскадронный козел, общий любимец и забавник, состоящий тоже на общественном иждивении. Подразнить в шутку козла, схватить за рога, закрутить его и заставить бодаться – это всегда было и есть одно из первых удовольствий солдата в досужую минуту. В последнее время козлы в кавалерийских полках, к сожалению, начинают выводиться из обычая, но в прежние годы эскадронные козлы, так же точно как и собаки, бывало, делают с эскадронном все походы, идут на ученья, на маневры и даже выходят на смотры и парады. И кажется, не было еще примера, чтобы удалось согнать с плаца этих неизменных солдатских спутников: ни козел, ни собака ни за что не отойдут от своей части; куда часть, туда и они: часть несется в атаку – и они лупят за нею; часть проходит церемониальным маршем – и они тоже парадируют впереди, либо

в замке, либо на одном из флангов. Как тут ни бейся полицейские блюстители, как ни старайся прогнать их с плаца, все равно ничего не поделаешь: продерутся снова сквозь толпу и лягут на свое надлежащее место, – так что уж волей-неволей полицейским приходится терпеть этот исконный беспорядок, мириться с ним. А сколько этих верных псов погибло в последнюю войну от пуль и осколков под Плевной, па Балканах... Они и там были, и там переносили все труды и невзгоды вместе со своими эскадронами и ротами.

Справить псу хороший ошейник в складчину, да если еще с бубенчиком, как это любо солдатам! В Ямбургском полку в тридцатых годах при трубачской команде жил на конюшне огромный и очень красивый козел, наделенный от природы прекрасною волнистой белою шерстью. Бывало, перед каким-нибудь большим праздником трубачи сводят его в баню, вымоют, вычешут и выкрасят: один раз сандалом, другой – синькой или иным каким-нибудь «крашевом» – и вот на завтра гуляет себе по Бежецку трубачский козел, весь розовый или голубой, на рогах раз-

ноцветные ленты развеваются, а под длинною бородою бубенчики позвякивают...

В те же годы служил в Ямбургском полку офицер, поручик Скворцов, который в совершенстве умел подражать всевозможным птичьим крикам и высвистам. Он был страстный любитель пернатых и завел у себя большой птичник, где у него воспитывались и голуби, и сороки, и галки, и дрозды, и разная мелкая певчая птица. Он имел замечательный дар приручать к себе птицу и делать ее послушною своему голосу. Идет ли гулять или па конюшни – прикажет раскрыть клетки, свистнет, и птицы всею стаей слетаются к нему, щебечут, садятся на него и сопровождают во время прогулки. Бывало, когда 3-й эскадрон, в котором состоял Скворцов" идет весенним походом с зимовки в Бежецк, его весь поход сопровождают выпущенные на волю скворцовские птицы певчие, которые вьются над эскадроном, перепархивают от одного всадника к другому, безбоязненно садятся на лошадей, на плечи, на шапки, на пики и поют, поют неумолчно всеми разнообразными своими голосами. Крестьяне попутных деревень с изум-

лением сбегались глядеть на это диво дивное; иные даже набожно крестились и замечали, что «видно, эти солдатики чем ни есть Богу угодили, что их всякая птица Господня эдакто любит».

Помню тоже, в 1868 году был кампамент под Скиделем (местечко Гродненской губернии), и кампамент продолжительный; затянулся он что-то около двух с половиною месяцев. Нашему эскадрону довелось стоять в деревне Глинянах, а это совсем скверная, убогая чернорусская деревушка, брошенная в глубокой пыли, на солнцепеке, среди песчаной почвы, у голого глинистого бережка какой-то тощей речонки; травка там самая скудная и такая блеклая, что даже жидовские козы брезгают ею; нигде поблизости ни одного деревца и с утра до вечера ни малейшей тени, разве что от хат короткими косяками ложится она на землю, но – уввы! – не дает оживляющей прохлады... Пыль, жара, духота и скука неисходная – вот какова была милая стоянка! Вернешься к полудню с продолжительного ученья домой, усталый, размаянный от жары, отдохнешь немного, а затем – куда деваться?

Разве г Скидель отправиться? Да больше, пожалуй, и некуда. Что ж, оно бы ничего: до Скиделя лишь около четырех верст будет, казалось бы, и немного, но... дорога такая скучная, унылая, облыселяя со всех сторон, что как подумаешь о ней да о том, что по такой песчаной голи придется сегодня снова четыре версты туда да четыре обратно жариться на солнце и глотать густую пыль, так и в Скидель ехать вся охота отпадет, хотя там и тени вволю найдется в старом парке князей Четвертинских да и развлечения существуют в виде набитого офицерством «заездного дома» с кривым бильярдом, где задает концерты на гитаре какой-то заезжий итальянец, прозванный кем-то и почему-то «le rара», в сообществе с двумя потертыми безголосыми певицами. Но как раздумаешься, то и там, в сущности, все то же, все давно знакомое, надоевшее даже. *Vanitas vanitatum et omnia vanitas!*.. А между тем лень и скука доходят просто до одурения. Что бы такое выдумать?.. Читать бы, что ли? Но уж мы от нечего делать все книжки, какие нашлись у скидельского батюшки, все старые газеты и в них все качев-

ские объявления с «дождались» и проч., все капсули Матико, все малъц-экстракты Иоганна Гоффа – все это сплошь я вдоль и поперек перечитали, чуть ли даже не наизусть их вызубрили, так что и чтение под конец противно становится. Правда, существует одна всеобщая панацея от скуки – карточный стол; но у нас в эскадроне, как на подбор, собралась все такая компания, что из пяти человек только двое умели играть в карты. Засядут они в пикет, а остальным трем от скуки да от мух все же погибать приходится.

Только и было развлечение, что к вечеру, как спадет несколько жара, ожидаем мы, пока не придет тот или другой из денщиков доложить, что, мол, «ваше благородие, череда йдеть». Это значит, домашний скот, а главное – овечья отара глинянская на ночлег домой возвращается. Выйдем мы тут все, сколько нас ни есть, к околице, навстречу череде, а двое денщиков сзади чумбуры несут. Стадо волов и коров с телятами и поросят со свиньями пропустим в околицу беспрепятственно; овечью же отару, пока проходит весь этот скот, денщики да охочие солдатики тщатель-

но от ворот хворостинками отгоняют, чтобы преждевременно ни одна овца вперед не со-валась. А чуть пройдут воловье и свиное ста-да, тут сейчас денщики в воротах натягивают чум бур в виде барьера четверти на две от земли, и тогда начинается наше ежевечернее единственное развлечение: старый круторогий баран-передовик подойдет к чумбуру и здесь, наткнувшись на неожиданное препятствие, упрется перед ним лбом, а потом вдруг отчаянно скок через чумбур – и если скачок совершился благополучно, баран не запнулся, то за ним все стадо начинает правильную скачку через барьер справа по одному, галопом. За неимением лучшего и это сходило за потеху.

Но вскоре к сему скудному развлечению прибавилось еще и другое.

Как-то раз под вечер входит к нам вах-мистр, только что возвратившийся на артель-ных лошадях из Скиделя, а сам что-то под по-лою бережно держит, и на лице его изобража-ется нечто чрезвычайное, многодовольное, почти торжественное.

– Их высокоблагородию, господину майо-

ру, ж вашим благородиям, – говорит он, – от скидельского батюшки сосунка привез. Они мне наказывали, значит, что кланяйся-де от меня господам и скажи, мол, батюшка в подарок шлют.

И, достав из-под полы торбу, вахмистр вытряс из нее на пол молодого поросенка.

Прекрасный оказался поросенок! Рыльце розовое, хвостик винтом, взгляд олицетворенной невинности и беспечалия, а сам весь пестренький: белая шерстка и по ней мелкая черная крапинка, словно кистью брызнута.

– Вот и жаркое назавтра! – воскликнул наш майор, вообще склонный глядеть на весь мир Божий с самой прозаической точки зрения.

Но мы всем огулом стали протестовать против такого радикального решения.

– Как можно так безжалостно заколоть столь прекрасное и невинное создание!.. Жаркое какое ни на есть завтра, во всяком случае, будет, а сосунок... сосунок едва ли три недели как узрел свет, и ему, вероятно, жить еще хочется... Младенец!.. И во внимание ко младенческому возрасту его надо пощадить, и тем

более что он такой красавец, такой чистенький! Нет, заколоть сосунка решительно невозможно! Пусть его живет и наслаждается жизнью! Будем его отпаивать молоком, будем его кормить, холить, дадим приличное воспитание, выдрессируем его, и пусть он живет пока в утешение всем нам от скуки, а со временем пускай будет эскадронного свиньею!

Так было решено общим мнением субалтерн-офицеров, и майор легко сдался на общий голос, тем более что и вахмистр, со своей стороны, соблазнял видами на будущее:

– Очинно уж хорошее порося! Словно как дите малое! Жалко-с!.. Пуцай уж, ваше высокоблагородие, около эскадронного котла покормится пока на кухне, а там, даст Бог, выкормим – по крайности, окорок да колбасы здоровыя выйдут, и притом свои же, не купленные! Оно и людям приятно будет разговеться, да и господа покушают.

Одним словом, решено было оставить сосунка в живых на воспитание – и таким образом у нас неожиданно был обретен источник нового развлечения среди неисходной глинянской скуки.

Прозвали его офицеры Сусом, от латинского Sus, но солдаты – уж кто их знает почему – сами по себе дали вдруг Сусу кличку, по-видимому, совершенно не подходящую и для многих почтенных людей, быть может, даже небезобидную; тем не менее нам пришлось им уступить в этом деле, так как наше «Сус» оказалось на практике окончательно непригодным, и даже до такой степени, что сам поросенок никогда на «Суса» не откликался, не затрудняясь, однако, идти на две несравненно более сложные клички, данные ему солдатами. Выдумали они вдруг называть его то Прокуратом, то Аблакатом. Почему так? Почему непременно Прокурат или Аблакат, а не иначе как? Разгадка в том, что у нас в эскадроне с давних пор существовали два коня хорошей езды, и тело держали прекрасно, только не особенно казистые: было в их наружности нечто свиновидное, и эти-то два коня по эскадронному конскому списку числились под случайными названиями Прокурат и Адвокат. С этого и дошла у солдат кличка поросенку. И что же? К общему нашему удивлению, поросенок охотно шел и на Прокурата и

на Аблакату, а зовешь его, бывало, Сус, он, что называется, и в ус себе не дует, словно бы эта последняя кличка вовсе не к нему относится. Таким образом, поневоле пришлось и нам звать его Аблакатом. И вот, в самом непродолжительном времени этот Прокурат или Аблакат сделался общим любимцем как солдат, так и офицеров. Впрочем, он и жил пока преимущественно на офицерском дворе, где ему ежедневно преподавались уроки надлежащего воспитания и дрессировки. Этим последним предметом занимались преимущественно денщики да конюхи, к которым, впрочем, нередко присоединялись и солдаты в свободную минуту. Стали они учить поросенка «манежной езде» и мало-помалу выучили ходить всеми аллюрами, по команде – шагом, рысью и даже собранным курцгалопом. Прodelывал у них поросенок – по-своему, конечно, – даже траверсы с ранверсами и чуть ли не всю манежную премудрость себе усвоил. Бывало, командуют ему: «Рысью!» – идет поросенок рысью. «Вольт направо, марш!» – делает вольт направо. «Вольт налево!» – делает вольт налево. «Направо назад», «налево назад», «прини-

май направо», «принимай налево», «через манеж» и прочее – поросенок все это проделывает самым исправным образом. Было же, подумаешь, у людей и терпение, и охота от скуки!.. Выучили они его прыгать сначала через подставленные кольцеобразно руки, как кот, потом через палку, через обруч и вообще научили отлично брать всякий барьер, вышиною сообразный, конечно, поросенчьему росту и складу. Прошел с небольшим месяц, а уже наш поросенок по вечерам идет, бывало, через чумбур в околицу первым номером, впереди всей овечьей отары. Необыкновенно понятливое животное оказалось. Вахмистр даже в умиление приходил.

– Ах, ваше благородие! Если бы этое поросенка, к примеру сказать, англичанам да в цирк продать – большой бы деньги дали!

Все солдаты были того же убеждения. Приезжал однажды к нам в гости и батюшка скидельский, нарочно за тем, чтобы взглянуть на свой подарок, о необычайных свойствах которого и до него дошла стоустая молва. Заставили солдаты поросенка и перед батюшкой явить свое искусство. И явил, выдержав этот

экзамен с тоlikою честью, что батюшка только руками развел и заявил нам, что «подлинно сказать, феноменальный поросенок... даже можно сказать, гениальный поросенок».

– Ах, батюшка! – вмешался вахмистр. – Я вот и докладую господам, что кабы это порося да англичанам...

– Англичанам? – подхватил батюшка. – Это правильно. Англичане его сейчас бы в газетах пропечатали, портрет поместили бы, а потом на всемирную выставку и медаль ему золотую пожаловали бы «за преуспение и искусство»... Есть така медаль, «Honoris causa» прозывается.

– Нет, что медаль! А я говорю, что деньги большия дали бы! – доказывал вахмистр.

– Да-а, это точно, и деньги, непременно деньги! – соглашался батюшка. – Потому что у них первым делом дари! Сейчас пари на этого поросенка, и кто выиграл пари, тот и получает куш фунтов стерлингов.

– А я, батюшка, так думаю: что, кабы нам этого Прокурата, к примеру сказать, по начальству представить при депорте, что нот, мол, как достигают, стараются в 1-м эскадро-

не, дескать, не токмо что лошадей, а и поросят выезжают... Ведь только подумать: вся манежная езда, как есть вся – шутка сказать! Поросяенок... Я так полагаю, что может и поощрение какое вышло бы...

– Ну, это уж дело, от нашего разума не зависящее, – развел руками батюшка. – Потому ежели что до начальства, то это надо на предварительное рассмотрение господ офицеров повергнуть; а что англичане – ну, это другое дело! Это точно что! Тут и медаль, и деньги большие!

Между тем время шло, и, пока вахмистр прикидывал умом то насчет англичан, то насчет начальства, Прокурат показывал дальнейшие успехи в развитии своего искусства. Но высшая школа, высший предел или, так сказать, венец всей его премудрости оказался в том, что юный Прокурат, по собственной своей инициативе, никем не побуждаемый, вдруг чрезвычайно возлюбил бегать с денщиками в корчму за водкой. Чуть лишь завидит, что денщики с посудиною направляются к корчме, он со всех ног пускается вдруг в карьер и с торжествующим визгом лупит впер-

ди них туда же. Оказалось, что шинкарка, тоже облюбившая нашего Прокурата, каждый раз, как придут к ней денщики, прикармливала его картофелем-недородком – бывает такой мелюзга-картофель, величиною не более как с вишню, который в Западном крае идет исключительно на корм убойным свиньям. Прокурат же повсюду бегал за денщиками совершенно как собака, и что замечательно – ни с одной из глинянских свиней не хотел знаться, пренебрегал их компанией и вообще не желал иметь с сородичами никакого совместного дела, даже и по части землеройства в навозных кучах, предпочитал уединение.

Кончился наконец долгий и скучный кампамент; наш эскадрон пошел на два месяца в полковой штаб для караульной службы, потом отправился в глушь, за сто верст от штаба, на зимние квартиры. Прокурат все это время оставался при эскадронной кухне, вырос, растолстел, возмужал – словом, сделался настоящею свиньею, но – увы! – с ходом возмужалости его необыкновенные способности к «манежной езде» и вообще острота понимания стали все более и более притупляться, а

вместе с тем и природные привычки его прародителей постепенно возобладали над привитыми качествами эскадронной культуры и цивилизации. Даже сам вахмистр разлюбил наконец Прокурата и все чаще и чаще стал подумывать об окороках да колбасах на предстоящие святки.

– Ваше высокоблагородие, с Прокуратом надо бы порешить, – докладывал он майору. – Сами изволите видеть, какой с него прок! Никакой забавы, а жрет за добрых троих свиней, поди-ка. Всю манежную выездку позабыл, как есть всему разучился и, тоись, ни вольтов не понимает больше, ни барьера не берет, ни команды не слушает – ну, ничего, как есть ничего знать не желает. Одно слово, заколоть его – и вся недолга!

Но не пришлось мяснику наложить руку на эскадронного вскормленца и некогда общего любимца. Прокурат погиб хотя и трагической смертью, но не от ножа мясника. Как-то раз, в ростепель мягкого зимнего утра, гуляя, по обыкновению, на улице, забрел он за околицу, в поле, и там был загрызен полесовщичьими собаками. Только к вечеру, да и то

случайно, узнали в эскадроне о печальной судьбе, постигшей Прокурата, и приволокли на салазках окоченелый труп его, весь истерзанный, искусанный, с перегрызенным горлом... Таким образом, не сбылись и надежды вахмистра на вкусные окорока и колбасы.

* * *

На эскадронном иждивении живут иногда орлы, ястребы, совы, барсуки, волчата, медведжата. О собаке нечего и говорить: это неизменный друг эскадронной и офицерской жизни. Между друзьями последней категории в особенности вспоминается мне прекрасный белый пудель Коньяк, принадлежавший одному из наших однобригадцев, Владимирского полка штабс-ротмистру барону Унгерну.

Во время больших лагерных сборов к нам всегда наезжала «в усиленном составе» какая-нибудь провинциальная драматическая труппа, которая открывала ряд представлений в городском театре. Главнейший доход театру доставляло, конечно, многочисленное офицерство, являвшее собою почти исключительный контингент театральных посетителей. Эти спектакли далеко не блистали изя-

ществом и выдающимися талантами, недостаток которых «усиленный состав» труппы обыкновенно старался восполнить разными трико, откровенными дебардерами, декольтированными плечами и еще более декольтированными куплетами, равно как и отчаянным канканом, который являлся неизбежным заключением каждого представления. Несколько однобригадцев, и в том числе барон Унгерн, обыкновенно абонировались на крайнюю литерную ложу бенуара, низенький барьер которой выходил прямо на сцену. В числе посетителей этой ложи неизменно являлся и пудель Коньяк.

Уж чего-чего, бывало, не делал с ним барон Унгерн, чтобы отвадить его от театра!.. И гнали-то его из ложи, и полицейским-то поручали надзирать, чтобы Коньяк не пробирался с подъезда в театральные коридоры, и хлыстом, и пинком выпроваживали из этих коридоров, и дома-то пытались оставлять под замком – ничто не помогало! Оставят его на попечение денщиков, Коньяк ухитрится как-нибудь тайком убежать от них и явится-таки в театр; запрут, бывало, его в квартире, Коньяк

подымет такой неистовый вой, что переполошит всех соседей, а раз было даже выбил стекло в окне и с окровавленными лапами и мордой прибежал-таки к середине спектакля. Прогонят, бывало, его из ложи, он обежит кругом, проникнет театральным двориком через задний ход мимо бутафорской и уборных на сцену и прошмыгнет-таки из-за кулис в литерную ложу; отгонит его полицейский от главного подъезда, он все же найдет возмолсность как ни на есть прокрасться в коридор и осторожно постучится лапой или мордой в запертую дверь заветной ложи. Офицеры, предполагая, что это кто-нибудь из товарищей, откроют дверь, и Коньяк стремительно врывается к ним и занимает свое место. Тут уже мудрено было выпроводить его, не подымая шума. Меры кротости оказывались бессильными; меры строгости вызывали визг, и вой, и рычание. И добро бы, это была в нем такая привязанность к своему хозяину, которого Коньяк действительно очень любил, но нет, тут действовала неудержимая страсть к самому театру, к зрелищу. Если бы Коньяком руководило только первое чувство, то он,

достигнув цели своих стремлений, конечно, удовольствовался бы тем, что, заползая под стул барона Унгерна, свернулся бы там в комок и спал себе преспокойно до конца спектакля; Коньяк лее, напротив, чуть лишь попал в ложу, как стремился сесть на стул и на виду всей публики принимался внимательно созерцать все происходящее на сцене.

Обычная театральная публика так уж привыкла видеть Коньяка в числе зрителей, что присутствие его на обычном месте доставляло ей только одно лишнее развлечение, не лишенное своей веселости. И в самом деле, не безынтересно было взглянуть порою, как умные глаза красивой собаки внимательно и с такою сосредоточенною серьезностью следят за действием на сцене. Когда начинали аплодировать и вызывать актеров, Коньяк тоже присоединялся к публике и отрывистым лаем выражал свое одобрение. Впрочем, к этому тоже все привыкли и потешались собачьими бис и браво.

Но иногда не обходилось и без более крупных, хотя совершенно невинных скандалов, доставлявших собою зрителям источник весе-

лого смеха. Так, например, в одном водевиле, который носит название что-то вроде «Амишки» или «Мимишки», должна появляться комнатная собачка – любимица героини водевиля. При появлении этого действующего лица из бессловесных Коньяк первым делом прыгнул через барьер на сцену и, как галантный кавалер, тотчас же стал знакомиться с хорошенькою болонкой по всем правилам собачьей вежливости. В публике, конечно, взрыв веселого хохота, между актерами замешательство. Принимаются гнать Коньяка со сцены, и он, не протестуя, покорно удаляется в свою ложу, преспокойно садится на свой стул и как ни в чем не бывало продолжает с прежним вниманием созерцать пьесу.

В другой раз шел какой-то водевиль, где храбрый любовник в одних чулках прячется от ревнивого мужа под стол, покрытый ниспадающею до пола скатертью. Ревнивый муж вне себя от ярости с палкою в руках мечется по сцене, отыскивая своего соперника, заглядывает во все углы и все не находит его, как вдруг на помощь ревнивому мужу является из ложи Коньяк и начинает делать перед сто-

лом стойку, как бы указывая недогадливому своим ворчаньем и лаем, что вот, мол, где находится тот, кого ты ищешь. Храбрый любовник, чувствуя, что зубы Коньяка могут угрожать его пяткам посущественнее сценических ударов палкою, выскакивает из-под стола и – давай Бог ноги – поскорее со сцены! Торжествующий Коньяк за ним. В публике, разумеется, хохот, аплодисменты и крики: «Браво, Коньяк, браво!» Коньяк, прогнав со сцены храброго любовника, поворачивается к зрителям и, став перед суфлерскою будкою, принимается лаять на публику, как бы выражая свою собачью благодарность за ее единодушные поощрительные вызовы.

С тех пор уже, бывало, как только на сцене идет какая-нибудь суматоха или начинают выплясывать канкан, Коньяка приходится сильно держать за ошейник, а то так и гляди, что прыгнет на сцену и пустится отличатся в танцах, гоняясь за юбками декольтированных актрисок.

За эту-то замечательную страсть к театру Коньяк и получил прозвище «великого театрала».

Кроме собак, молодых зверенышей и хищных птиц офицеры нередко заводят у себя черепах, которые угрюмо обитают в каком-нибудь темном углу офицерской комнаты, по долгу не употребляя решительно никакой пищи. Рассказывают, что один из наших юнкеров однажды сделал даже очень удачный опыт приручения и дрессировки ужа, который долгое время жил с ним вместе в его квартире и особенно любил покоиться в теплом кармане мехового халата. Достался он этому юнкеру в подарок еще маленьким ужонком, не более трех вершков длиною: дядька в свои именины преподнес его завернутым в чистый платок вместо именинного кренделя в надежде получить рубль на водку, так как знал, что юнкеру давно уже хотелось иметь у себя ужа; нарочно ради этого поймали в парниках и представили. С тех пор началось воспитание ужонка, которого года за полтора жизни вытянуло в длинную плеть, около аршина.

– К чему вы держите у себя такую гадину? – спросили как-то воспитателя.

– Отличное средство противу кредиторов! – отвечал юнкер. – Сами вы знаете, господа, что в мире нет ничего несноснее лавочницы или факторши-еврейки, которой вы имели несчастье задолжать несколько рублей за табак или за сахар. Ходит она, ходит, и можете быть уверены, что каждое утро непременно застанете ее у себя в прихожей, как неизбежное *memento mori*. "Не ходи ты ко мне, мадам, – говоришь ей, – нет теперь ни копейки! Подожди, ведь сама ты лучше меня знаешь, что к такому-то числу мне всегда присылают из дому деньги, – ну и подожди неделю!? Еврея – того всегда можно урезонить; но еврейка ничего этого не хочет понимать: ей просто наслаждение какое-то доставляет прийти к вам каждое утро, надоедать своею особой, смотреть, что вы делаете, сколько стаканов чаю выпиваете, какую сорочку надеваете; слушать, что вы говорите; видеть, кто и зачем к вам приходит, и в то же время назойливо повторять вам со вздохами: «А кеды зэк я з вас моих деньгув получу?.. Я зж такая сшлябая на зждаровье, а ви гхочите, каб я увсше до вас гходила!» Вы согласитесь, что это наконец

может надоесть до смерти.

Вот тут-то юнкер и решился завести у себя радикальное средство. Как появится эдакая надоедальщица и начнет приставать, не слушая никаких резонов, он ей сейчас и говорит:

– Так вы, мадам, непременно желаете получить сию же минуту?

– Дайте, сшто мозжетю!

– Ну, извольте! Все, что могу, и все, что имею, отдам с удовольствием! Держите пригоршни!

Та и рада: подставит обе руки и ждет, а тот ей из кармана и выложит перед самым носом живого ужа.

– Извольте, мадам! Получайте!.. Все, что имею!

Уж, конечно, изовьется, раскроет пасть, засипит, а мадам как заорет благим матом, да давай Бог ноги!

– Хай им черт! – говорит. – Позаводили у сшибе ув квартэру зжмеювь и увешякаго трэфу – болшь и гхадить до них не мозжна!

Только этим и избавился юнкер.

Потом, как прислали ему из дому деньги, встречает он эту мадам на улице. «Получай-

те, – говорит, – мой долг за сахар» – и дает ей деньги. Куда тебе! Мадам и слушать ничего не хочет:

– Нить, нить! Ви мне зжмеюв, а не денегув будете давать! Не гхочу!

Насилу разубедил, да и то только с помощью соблазнительного вида синеньких ассигнаций.

С тех пор, вообще, когда приходили к нему кредиторы «з насших», то наперед, осторожно всунув кончик носа в чуть-чуть приотворенную дверь, осведомлялись у человека:

– А сшто, чи зжмеи васши дома?

– Дома, – говорит, – дома!

– Ну, то до сшвиданью вам!.. Сказжить, сшто ми загходили!

А сами уж и не дерзали переступить порог юнкерской комнаты.

2. Дон Сезар де Базан

В числе приживалок, принадлежащих к роду, известному в зоологии под названием *Nomo sapiens*, две личности особенно выдаются в моей памяти, хотя ни та, ни другая не имели между собой ничего общего, если не считать самое приживальство, как *raison d'etre*, как способ и цель самого их существования. Один был поляк, другой – русак закоренелый; один старался походить на маркиза Позу, другой был, в сущности, Ноздрев, но Ноздрев, пришибленный жизнью; одного мы прозвали в полку доном Сезаром де Базаном, другой сам себя называл башибузуком. Оба они достойны были сострадания, не знаю только, который больше.

Дон Сезар де Базан, дворянин испанский, иначе Юзио (его крестное имя Юзеф), был жертвою той злосчастной эпохи, которая создала польское восстание 1863 г. и его последствия. Он был шляхтич «родовиты од потопу», но бедный, и захудалость его произошла не по его собственной вине, а перешла к нему в виде наследства от родителей; но у

него сохранились родственные связи и словесные отношения с некоторыми из тузов местного дворянства. Он получил светское воспитание, недурно владел французским языком, недурно играл на рояле, недурно пел, хорошо декламировал польских поэтов, отлично вальсировал и полькировал, превосходно плясал мазурку, обладал природным стремлением к «хорошим привычкам», изящному костюму, гастрономическому столу и тонким винам, к «воздуху светских гостиных» и, вообще, к «хорошему тону». Все эти блага сопровождали его детство, и всех оных благ лишился он с расцветом юности: смерть отца круто и сразу произвела роковой крах, который вынудил его бедную мать и молодую красивую сестру идти жить «в люди», на хлеба из милости, в незавидном зависимом положении бедных родственников; сам же Юзио... Увы! К чему послужили все его задатки светских приятных талантов и способностей!.. Юзио очутился в беспомощном положении. Вчера еще неслужащий дворянин, молодой сибарит, местный лев и денди, сегодня он, неспособный ни к какому положительному,

упорному труду, познал вполне, что такое значит существование бездомной собаки. Впрочем, на первый раз вытянули из омота собачьей жизни и поставили его на ноги все те же сословные отношения и родственные связи с местными тузами. Тузам удалось втиснуть его чиновником для письма в губернаторскую канцелярию, а потом, с выслугою в чин, они устроили ему даже положение губернаторского чиновника для особых поручений, причем и его светские приятные таланты легко могли бы найти себе достоподобное применение. Чиновник для особых поручений – это уже было нечто, с этим соединялись виды на будущую карьеру, на кусок хлеба, на самостоятельное существование, быть может, даже на небезвыгодную женитьбу. Но тут, на беду, подоспело восстание. Юзио был настолько благоразумен, что «не утек до лясу», равно как и, оставаясь на коронной службе, не сделал никакой подпольной каверзы на пользу «свентей справы»; он только, так сказать, приник долу, затаился в расчете, что авось либо меня не вспомнят, пока не пронесется вся эта буря, – и вот, в силу такого пас-

сивного отношения к «общему делу» его сочли «дурным патриотом»; знатные «рода-ки» от него отшатнулись, а при новых административно-политических порядках он не мог остаться на своем служебном месте, как католик. Правда, существовало одно средство, которое весьма много и успешно эксплуатировалось в то время: стоило лишь сделаться «паном Пшепендовским», то есть «на-вротцитьсь на православье», но Юзио не прибегнул к нему и был оставлен за штатом.

Вот когда началось для него каторжное, истинно собачье существование! В край понаехали новые люди из России, которые чуждались его как поляка; свои же чуждались как «злемыслёнце-го», и бедный Юзио, без почвы, без поддержки, повис в воздухе между теми и другими. Положение ужасное, роковое!..

Но тут, на его счастье, вскоре пришел из Великороссии наш полк, двинутый в состав 7-й кавалерийской дивизии в Западный край на смену частям, чересчур уже долго застоявшимся в этом краю. Офицеры – в большинстве своем народ добрый, покладистый, мало думающий о политике или, лучше сказать,

вовсе не занимающийся ею, за исключением, конечно, людей опытных, искушенных жизнью и научившихся относиться к ней серьезнее беззаветной молодежи. В воображении этой последней Западный край представлялся в стародавних образах златокудрых разбитных паненок, в грохоте размашистых фигур лихой мазурки, в раздолье поэтических «маювок» [35], в «романсованьи» с милыми польками, а также в образе услужливых евреев-факторов, которых иногда можно для острастки потаскать за пейсы; представлялся этот заветный край и в виде прекрасных охот на «сарн» и «дзиков» [36] в девственных пущах, и в виде веселых поездок в гости по помещикам, по местечковым ярмаркам, и, наконец, кроме всех этих прелестей, мелькала в умах приятная надежда на возможность новых военных экспедиций, то есть, иными словами, на возможность подраться с какими-то там повстанцами, отличиться, получить крестик и т.п. Вообще, представления нашей молодежи о новом для нее крае были розово-поэтичны, а потому, конечно, крайне неосновательны. Нечего и говорить, что на

первых же порах для нее последовал ряд разочарований во многом и многом; но таково уже свойство нашего военного люда, что, куда бы ни занесла его военная служба, в каких бы условиях ни очутился, он всегда очень быстро сумеет освоиться с новой обстановкой, примениться к ней и, насколько возможно, зажить себе, что называется, припеваючи.

Злосчастный Юзио сразу сообразил, что судьба весьма благосклонно посылает ему в некотором роде клад в лице нашей офицерской молодежи. Надо, значит, к ней пристроиться. Как пристроиться? Это нетрудно. Чуть ли не в первый же вечер по приходе полкового штаба на новую стоянку, войдя в трактир вслед за офицерами и подсев на кончик общего стола, Юзио скромно вступил в разговоры с одним, с другим, с третьим, сказал несколько любезностей, выразил свое удовольствие по поводу прибытия «кабалерии», в которой, как ему «досконально» известно, служат все джентльмены, «порадочны люди, муи пане», что в полку, место которого мы теперь заняли, у него было много, много истинных друзей и приятелей, например, князь такой-то,

майор и полковник такие-то (отчего и не прилгнуть немножко?), – и вот знакомство на первый случай завязано. Завтра продолжается та же история. Бедный Юзио – чтобы недорого стоило его скудному карману – тратится на один лишь куфель пива, который дает ему приличную возможность просидеть в трактире сколько вздумается. Затем начинаются любезные с его стороны поклоны при встрече с офицерами на улице; затем, в первый же праздничный день, когда польская публика расходилась из костела и наше офицерство группами слонялось тут же на площади, глядя на горожан и, конечно, любопытствуя знать, кто такая эта интересная блондинка, или та скромная шатенка, или эта пышная брюнетка с молитвенником на руках? – наш пан Юзио тут как тут и услужливо развертывает в неумолкаемом рассказе длинный биографический свиток каждой пани и паненки: сколько за такою-то приданого и какой нрав у ее матери, кто в нее был влюблен, кто делал предложение и почему получил отказ, и в кого была влюблена пани такая-то, и можно ли ухаживать за этою интересною вдовушкой, с

успехом или без успеха, – словом, в два-три дебюта своего знакомства с офицерами Юзио показался им хотя и ничтожным, но добрым малым, совсем не похожим на тех поляков, что злобно хмурятся и отворачиваются при встрече с «пршеклентым москалем». Кроме того, Юзио оказался неоценимым человеком и до части знакомства с условиями жизни в городе: где что достать, где выгоднее купить, у кого дешевле взять мебель напрокат, кого поостеречься как шулера и пройдоху, где удобнее нанять квартиру сухую, теплую, недорогую, – все это он знал в совершенстве и так любезно предлагал каждый раз свои бескорыстные услуги, что вскоре вполне расположил к себе сердца молодых офицеров. Все это делалось с известным тактом – Боже избави, чтобы кто мог подумать, будто Юзио факторствует! Нет, он лишь из расположения, из любезности, из желания оказать приятельскую услугу! Притом же надо сказать, что и самолюбию бедного полячка, отринутого своими «компатриотами», доставляло немалое утешение и даже гордость то обстоятельство, что он знается с офицерами, – «с кабалерией,

муй пане!» – что его постоянно встречают с ними на улице, в трактире, на гулянье. Юзио как будто вырос на несколько вершков в своих собственных глазах, и – казалось ему – будто точно так же он вырос и в глазах посторонних. Так были проложены им первые шаги к новому положению в жизни, которое должно было дать ему наконец какую-нибудь точку опоры, какую ни на есть почву под ногами. Служил у нас в ту пору некто Черемисов, разжалованный из гвардии штабс-ротмистров в солдаты с переводом в наш полк за дуэль, наделавшую в свое время немало шуму в Петербурге. К нам же в полк был он впоследствии произведен и в офицеры. Это было детски ясное, добрейшее из добрейших и вместе с тем безалабернейшее из безалабернейших существо, какое только доводилось мне встречать когда-либо в мире. Идеальная честность, незлобивость голубиная и крайне простосердечная доверчивость к людям. Для Черемисова всякий встречный-поперечный, особенно же при случае выпивший с ним, безразлично был «хороший человек», а хорошие люди, судя по дальнейшим степеням их симпатич-

ности, делились у него на «прекраснейшего человека», «первый сорт человека» и «душа-человека». Надо было учинить нечто очень гадкое, чтобы Черемисов решился сказать: «Да, ошибся, брат, ошибся... дрянь-человек, выходит!» С одной стороны, подобные качества, с другой – «все нипочем, все трын-трава, все спустя рукава, вали через пень колоду, авось да небось, день мой – век мой, последняя копейка ребром, для милого и даже для немилото дружка – сережка из ушка, последняя рубашка в дележ» – из таковых-то свойств и особенностей слагался характер Черемисова. Добрый малый был богат и тароват, а потому без пути сорил своими деньгами и писал на себя жидам векселя да расписки в пятьсот рублей за сто. Есть у него деньги – иди к нему всякий и бери займы, хоть без отдачи, потому что он не напомнит, а не напомнит потому, что сам на другой же день позабудет, кому и сколько выдано; нет у него денег – он сам займет, и тоже без отдачи, коли не напомнить, потому что точно так же позабудет, у кого взял и сколько. Записных книжек, памятных листков и счетов – ничего по-

добного у него никогда и в заводе не было.

Состоял при нем дядька и пестун из бывших крепостных дворовых, по имени Нестор. Вечно небритая рожа с жучьими глазами и черными усищами, косая сажень в плечах, красная рубаха, вид атамана волжской разбойничьей шайки, а вдобавок ко всему нередко загул и непробудное пьянство, причем на счет барина или, как Нестор называл иногда, «барского дитяти» забирались во всех погребках и лавках вина, водки и закуски – таков был этот достойный дядька и дестун. Загуляет Нестор, отлучится на сутки, на другие – и наш Черемисов сидит, как дитя малое, беспомощное, без чаю, без свечей, без свежей сорочки, не зная, как и к чему приложить руки, пока не кончится Несторов загул. Совершенно под стать этому пестуну как-то сами собою подобрались у Черемисова и кучер, и конюх, и разухабистая телега с росписною дугой и персидским ковром на сиденье, и бешеная тройка саврасых с породистым рысистым коренником и в крендель вьющимися пристяжными, в наборчатой русской сбруе, с колокольчиками и бубенчиками. И вот к этому-то

непутевому Черемисову примазался под крыло бедный Юзио.

Первым делом он произвел Черемисова в князя.

– Але ж вещь то, коханы, – внушительно говорил он при всяком удобном случае каждому жиду-фактору, каждому торговцу, трактирщику, извозчику, заимодавцу, – вещь то, же мешкам тераз зе ксенжем Черемисовым? О! То вельки магнат москевьски! Досконалем! И таки пенензны, як тень Ротшильд! [37]

Князь да князь – так и пошел Черемисов за князя, так и прослыл в целом округе, потом по целому краю. И все это помимо его воли и ведома учинил один пан Юзио. Кончилось тем, что и сам Черемисов привык наконец к этой кличке.

Нанял Юзио для Черемисова помещение на Купеческой улице, в заезжем доме, который у жидов слыл под именем «Казанскаво гасштиницу», и занял Черемисов под себя весь этот одноэтажный дом, где имелось всего лишь пять комнат для приезжающих, с конюшнями, сараями и садом. Как-то само собою, незаметно и вполне естественно устрои-

лось так, что Юзио поместился тут же. Катаются они с «князем» во весь дух на бешеной тройке, причем Юзио с серьезным видом любителя-знатока отыгрывает вожжею левую пристяжную; ходят они вместе в трактир обедать, причем, конечно, и обед Юзио записывается в «общий счет» на имя «князя»; ходят вместе гулять на музыку, причем Юзио все так же галантен и любезно-иредупредителен со всеми офицерами; ходят вместе в театр, где Юзио красуется, конечно, в ложе «князя». Все, бывало, только и слышат от него: «мы с князем», «у нас с князем», «наш милый князь», «князь был со мною там-то», «мы с князем купили себе то-то, сделали то-то» – словом, отношения установились такие, что ни Черемисова без Юзио, ни Юзио без Черемисова даже и представить себе нельзя было. Приделся Юзио мало-помалу и приобулся; и цепочка к часам, и запонки золотые у него появились, и тросточка с серебряным набалдашником и, наконец, для пущей важности завел он себе даже форменную дворянскую фуражку с красным околышем. Все эти «багательки» были, конечно, подарками «милого князя». Юзио за-

нял у Черемисова положение приятеля-мажордома; завел во всем его обиходе некоторый порядок, взял на себя ведение расходных счетов, расплачивался в трактире и в лавках за покупки, вел переговоры с заимодавцами, с портными, сапожником, прачкой и т.п. Все это, конечно, крайне не нравилось Нестору и прочим челядинцам.

– Вишь ты, учетчик какой еще объявился! Погоди ж ты! – злобно ворчали они себе под нос.

А Юзио и в ус не дует, тем более что сошелся с Черемисовым даже на «ты», что, впрочем, было вообще нетрудно.

– Я же ж только твои интересы оберегаю... Мне все равно, деньги не мои, но мне тебя же жалко, – убедительно доказывал он своему патрону – доказывал совершенно правильно, потому что бесшабашных трат у Черемисова действительно стало несравненно меньше против прежнего. Если и случалось Юзио чем-нибудь попользоваться лично для себя, то он был настолько добросовестен, что всегда просил или предупреждал об этом приятеля: мне, дескать, нужно свежие перчатки или

новый галстук купить; можно пока приза-
нять у тебя? Отказа, конечно, никогда не бы-
ло.

Придут к Черемисову товарищи в гости – Юзио хлопочет составить партию в вист, уго-
щает сигарами, пуншем, откупоривает бутыл-
ки, подливает в стаканы; наблюдает насчет
завтрака или ужина, чтобы все было пода-
но в порядке, и в то же время занимает го-
стей, разыскивает польские и иные анекдоты,
немножко сплетничает, конечно, насчет раз-
ных интересных пани и их благоверных,
«деклямует» Мицкевича, поет чувствитель-
ные романсы или бренчит на разбитом фор-
тепиано какую-нибудь мазуречку. Когда недо-
стает четвертого партнера, присаживается к
карточному столу, разумеется, не кто иной,
как тот же Юзио и играет с «апломбом», с
приятностью, «як се подоба пожондному чло-
веку». Проиграет малую толику, сейчас же: «
Cher prince, prete moi quelque roubles! Будь та-
кой ласковый, заплати пока за меня, пожа-
луйста, потом сочтемся». А выиграл Юзио –
деньги, конечно, прикарманит, потому что
это уж такое его счастье – «фортуна, муй па-

не».

И вот, таким образом, стали заводиться кое-когда у Юзио и «свои собственные» карманные деньжишки. Тогда Юзио отправляется обыкновенно в кондитерскую Аданки, играет с мелкими чиновниками на бильярде, а кого можно, то даже и угощает перед буфетом коньяком, что умеет проделывать иногда и не без покровительственного тона, и тут же на виду у всех – непременно на виду – расплачивается наличными «своими собственными» деньгами – дескать, не думайте, что у меня нет их!

– Мой друг, князь Черемисов... – обыкновенно начинает он тут по какому-нибудь поводу рассказывать чиновникам. – Ah, а propos! Вы знаете, что сделал недавно мой друг Черемисов?.. Charmant garçon! Ah, comme je l'aime!.. Но только я ему говорю:

«Послушай, милый князь, ты ж понимаешь, ты знаешь, как мы все тебя любим и уважаем...» – и т.д. в подобном же роде.

Чиновники пьют за счет Юзио коньяк, слушают его рассказы и, видя его постоянно «с князем», убеждаются, что он действительно

друг его, а это уже, так сказать, «позирует» нашего Юзио, дает ему кое-где некоторый вес, даже некоторый блеск на него налагает.

– Вы знаете пана Юзефа такого-то? – спрашивает, например, кто-либо.

– Нет, не знаю. Кто это – пан Юзеф?

– А это друг князя Черемисова.

– А! Вот как!

– Да-а! Как же, они друзья неразлучные.

С течением времени у Юзио перед посторонними, то есть вне офицерского кружка, явилось и в тоне, и в выражении лица, и в самой походке даже нечто самостоятельное, исполненное некоего достоинства и значительности. Вот что значит создать себе положение «княжеского друга»! С этим вместе изменился и взгляд весьма многих «родаков» и «компатриотов» на Юзио – он перестал уже быть отверженцем, и перед ним снова растворились двери некоторых польских домов, еще недавно закрытые для него столь презрительно. Казалось бы, теперь, когда он окончательно сошелся с москалями, даже живет на счет одного из них, добрые патриоты должны бы были еще более чураться бедного Юзио, но... По-

встан-ские времена отошли в вечность, страсти поутихли, а положение «княжеского друга» и возможность познакомиться через этого друга с самим «князем», богатым женихом, хоть и москалем, но зато человеком «со связями в столице», заставили некоторых маменек и молодых вдовушек сделаться в отношении Юзио не только любезными, но даже иска-тельными.

И действительно, Юзио познакомил с некоторыми дамами своего «друга». Бывало, Черемисов влюбится слегка в какую-нибудь пани или паненку, а Юзио страдает – страдает вдвойне: и за него, и за себя, потому что и со своей стороны, как друг, считает своим долгом тоже влюбиться, и притом в ту же самую особу, но, конечно, всякое первенство, всякое преимущество в чувствах великодушно уступает милому князю, «для того, что он же ж такой милый», – а сам ограничивается только вздохами, чувствительными романсами, платоническими восторгами и разговорами с другом «о ней», о том, сколь она прелестна, интересна, как выразительно посмотрела на Черемисова тогда-то, как улыбнулась, с ка-

ким оттенком сказала то-то и прочее. Это была у него болтовня неистощимая, ибо Юзио никак не может обойтись без того, чтобы не «конфидентовать» – «така юж натура, муй пане!». Но кроме тем для болтовни периоды черемисовской влюбленности всегда доставляли ему новый источник забот и хлопот, сопряженных с беготнёю по лавкам и ездой на извозчиках: надо идти с князем «до костелу», чтобы встретить там «ее», надо заказать букет и отвезти его к «ней» от имени князя, надо выписать из Варшавы ее любимые «цукерки», и «пястечки», и «конфетуры», устроить веселую «ма-ювку», на которой «она» была бы царицею, передать по секрету иногда записку, иногда какое-нибудь многозначительное слово по поручению друга... Но это еще не все. Если Черемисов отправляется на тайственное свидание с "нею*", то и Юзио идет вместе с ним, но, конечно, так, чтобы «она» этого не знала, и пока у князя длится интересное тет-а-тет, Юзио скромно стоит где-нибудь в сторонке, зорко и чутко карауля, чтобы никто и ничто не помешало спокойствию его друга, – стоит и мучается, и терзается, и взды-

хает, но утешается сознанием, что если, мол, не я, то он – он, друг мой, по крайней мере счастлив!

Иногда случалось, что какая-нибудь особа вдруг, ии с того, ни с сего, разонравится Черемисову, и он круто оборвет Юзио, продолжающего болтать и бескорыстно восхищаться ею.

– Убирайся ты к черту! – скажет ему, бывало. – И чего это ты, в самом деле, пристал ко мне с нею?! Нет у тебя разве другого разговора?

Такое неожиданное замечание было для Юзио все равно что «цук» для занесшейся лошади.

– Mais, mon cher... ведь ты ж... то есть она ж, ведь... она же нам так нравится? – озадаченно, заикаясь, начинает он оправдываться.

– Нравится? Никогда она мне не нравилась. Все ты врешь, сочиняешь!

– От-то штука!.. Але ж прошен! Я ж любопытный знать, как же ж то так?

– Да так, что замолчи, и баста!

Юзио в первую минуту очень озадачен: как же это так, в самом деле? Но если так, то, казалось бы, теперь он смело может убрать в

сторону свое великодушное самопожертвование ради друга, дать полную волю своему собственному чувству к этой особе и ухаживать за нею уже ради самого себя, эгоистически; но нет, ничуть не бывало!

Чувство Юзио в таких случаях как бы считает своим долгом тоже вдруг испариться.

– Parbleu! – пожимая плечами, говорит он спустя сутки, другие. – Говорят, что эта пани Пшепендовьска хорошенькая... Mais, au fond, ничего в ней нету такого особенного... И я даже не понимаю, что такого могло нам в ней нравиться...

– То есть, не нам, а тебе, скажи лучше, – внушительно поправляет его приятель.

– Va! Voila la chose! – И Юзио при этом удивленно выпучивает глаза. – Н-ну! Finisse, mon cher! Quel Je blague! – отмахивается он. – И никогда же она мне, а ни Боже мой, никогда даже не нравилась! То ли дело пани Пшездецька!.. А ведь ты, cher prince, ты недаром проходил вчера с нею целый час по аллее!.. Я ж таки кое-что подметил... Ну, признайся! Будь другом! Ведь так?.. А?.. Досконалем!.. Але и что ж то за прелестна женщина!.. Бог мой!

И Юзио, как ни в чем не бывало, совершенно искренно начинает заряжать себя новыми чувствами к пани Пшездецькой – и опять идет у него рядом с болтовней и восторгами хлопотливое шныряние на извозчиках, беготня по костелам, по бульвару, за букетами, конфетами и т.п.

– Cher prince, прикажи, пожалуйста, этому грубияну Нестору (я из ним даже и говорить не хочу!), чтобы он заплатил за четыре конца извозчику, – для тебя лее все старался! Устал как собака какой!.. А за букет заплатим потом... я пока на кредит приказал... Mais quelle femme! Dieu, quelle femme!.. И не будь ты мне другом, – н-ну, князь! – я бы, кажется, а-никому н-никогда не уступил бы такого честию!.. Тай Боже ж мой! Я бы и до дуэлю пошел! До Сибири!

Офицерство наше вообще относилось к Юзио не только снисходительно, но даже весьма любовно и прозвало его доном Сезаром де Базаном; зато денщики сильно его недолюбливали, и все это с легкой руки Нестора, который восчувствовал к нему с первого раза непримиримую ненависть и пре-

зрение за то, что «уж больно он барскому добру учетчик непрощеный, и ни то он тебе на барском, ни то на лакейском положении, так что даже совсем непонятный человек, – так себе, какое-то полублагородие выходит!»! Вообще, денщики, где можно, не упускали случая сделать ему какую-нибудь грубость, выказать свое презрение, и хотя им нередко порядком-таки доставалось за это от «господ», но – увы! – никакие «разносы в пух и прах» не могли изменить денщикьих чувств относительно нашего дона Сезара де Базана.

Между офицерами был один только человек, питавший к Юзио неодолимую антипатию и потому не упускавший случая зло подшутить над ним, поставить его в какое-нибудь смешное или критическое положение, поддразнить его, пустить на его счет какую-нибудь шпильку, выдумку, больно задеть его самолюбие, и – замечательное дело – этот упорный враг, к удивлению нашему, был сам поляк, земляк, «компатриот» Юзио, от которого этот последний, казалось бы, мог ожидать наиболее сочувствия и поддержки. Но Юзио выносил все его выходки и пристава-

ния с редким благодушием и смирением, хотя при этом и принимал каждый раз «благородный» вид холодного, сдержанного и молчаливого презрения – дескать, я все-таки слон в сравнении с этой москвой.

Так прошло несколько лет, в течение которых он сжился не только с Черемисовым, но и с полком настолько, что уже стали считать его какою-то неотъемлемою полковою принадлежностью. Бывало, с 1-м эскадронем, в котором состоял Черемисов, он и на «траву», и на зимние квартиры едет в «хвосте» на офицерской повозке, с легавыми щенками; в ней же разъезжает за разными покупками по поручению офицеров и в ней же возвращается с эскадронем в штаб на кампамент. При этом на голове его всегда красуется форменная фуражка с кокардой, и Юзио, видимо, очень доволен, когда встречные крестьяне и евреи снимают перед ним шапку, принимая его тоже за офицера. Он с важностью и благоволивым достоинством поднимает руку к козырьку и слегка кивает в ответ на подобные приветствия.

Если Черемисову случалось уезжать в от-

пуск, Юзио на это время обыкновенно при-страивался на житье к кому-нибудь из офицеров, и все уже давно привыкли смотреть на это как на самое правильное, законное дело, потому что куда ж ему иначе деваться? Вышел впоследствии Черемисов в отставку, уехал к себе в казанское имение, но Юзио неизменно, как и прежде, сохранился при полку, переходя время от времени от офицера к офицеру, как бы по наследству. И офицерство им не тяготилось: проживет несколько недель, а то и месяцев у одного, перейдет к другому, к третьему и т.д., пока не совершит известный цикл по офицерским обиталищам. Им не тяготились, потому что лишний человек не объест, а где сыты двое, там хватит и на третьего. Юзио был-таки сибарит по своей природе: любил сладко поесть, мягко и много поспать, лениво поваляться по диванам с сигарой в зубах, весело выпить, но не огорчался, если и подолгу не доводилось ему вкушать от всех сих благ; только в рассказе или при воспоминании о них на его лице появлялась блаженная улыбка, и губы начинали вкусно причмокивать, в чем, собственно, и обнаружива-

лись его сибаритские наклонности и симпатии. Но вообще, при слабости к сибаритству, он мог и умел, когда надо, быть очень покладистым, неприхотливым и невзыскательным, спать где и на чем придется, есть что случится – от трюфелей и бекасов до «железной» солдатской каши на постном масле, – и ничего себе – благодарение Богу, только здоровеет наш дон Сезар и постоянно сохраняет беззаботное, веселое настроение духа.

Бывало, посторонние люди неоднократно, при случае, спрашивают у офицеров с некоторым недоумением:

– Скажите, пожалуйста, что такое этот ваш Юзио?

– Добрый малый, – отвечают им, – услужливый, иногда очень приятный в обществе.

– Но при чем он, собственно?

– Как при чем? При полку, разумеется.

– То есть что же он при полку изображает собою?

– Так себе, ничего... Юзио, да и только, иначе дон Сезар де Базан – и все тут; иного ничего не изображает.

– Но... что он делает? Род его жизни, на-

пример, занятий там, что ли?

– Он? Как вам сказать... Он, собственно, проживает при Ямбургском уланском полку. И больше ничего.

– И в этом проживании, стало быть, заключается все его общественное положение?

– Исключительно в этом.

– Ну а если война? Или если просто двинуть ваш полк отсюда куда-нибудь на новую стоянку? Тогда же с ним как?

– А очень просто. Тогда, конечно, и Юзио двинется вместе с нами. Это ведь для него легче легкого: весь его багаж таков, что встал и готов! Куда же ему иначе деваться!

И действительно, вне полка для бедного дона Сезара де Базана нет места, нет существования на свете.

3. Башибузук

Когда, как и по какому случаю он впервые появился в полку – этого никто не знает и не помнит.

Юзио – тот, по крайней мере, как пристал к нам, так уже у нас одних и держится безотлучно; если иногда он и совершает перекочевку, то все в полку же – из эскадрона в эскадрон, от офицера к офицеру. Он, так сказать, животное домашнее, оседлое (*bestia domestica*). Башибузук – совсем наоборот, появляется исключительно лишь налетами, внезапно, как снег на голову, когда его и не чают; мелькнет, как метеор, повертится там-сям, пошумит, подебошит (если возможно), непременно займет у того другого малую толику деньжишек и исчезнет столь же неожиданно, как и появился, – и опять о нем на несколько месяцев ни слуху ни духу.

Помню я мою первую с ним встречу.

Я еще недавно был произведен в офицеры и, побывав в Петербурге, возвращался в полк из отпуска. На одной из железнодорожных станций, чуть ли не во Пскове, где пассажир-

ский поезд останавливается поздним вечером почти на час времени, сел я за общий стол и спросил себе поужинать. Против меня уселся какой-то старик, лет около шестидесяти, в мохнатой кавказской бурке и в черной черкеске, с кинжалом за поясом. На седой, плотно стриженной голове его небрежно и лихо была накинута заломленная как-то разом и набекрень, и на затылок потертая офицерская фуражка с малиновым околышем, про которую можно сказать, что, судя по всем видимостям, она таки повидала виды на своем веку. Но и про физиономию, украшенную этой фуражкой, можно бы было с уверенностью подумать то же самое. Физиономия эта выражалась в следующих характерных штрихах и бликах: серые, полинялые глаза с самоуверенным, почти наглым, но в сущности безалаберно-добродушным выражением; густые, как щетки, шершавые брови – совершенно бутафорские, вроде тех, что наклеивают себе в иных характерных ролях актеры; сивые длинные усы с подусниками и нос, похожий на кактус, – нос замечательный: большой и припухлый, с лоском, словно бы упитанный

или наливной изнутри чем-то сочным, сизо-багрового цвета, с прыщами и жилками, – нос, не оставляющий никакого сомнения в сильном и хронически упорном пристрастии его обладателя к крепким напиткам. «А ведь это Ноздрев в старости! – невольно подумалось мне при взгляде на фигуру моего почтенного визави. – Совершенный Ноздрев, только одетый вместо архалука в черкеску!»

Спросил он себе тоже чего-то закусить, разумеется, с водкой – и пристально уставился на меня вопрошающим взглядом.

– Вы, кажется, Ямбургского уланского полка? – обратился он ко мне с тою «приятною» катаральною хрипотою в голосе, которую иные почему-то называют «майорскою» хрипотою.

Я отвечал утвердительно.

– Как же это вас не знаю?.. Верно, произведены еще недавно?

– Да, недавно.

– То-то я и гляжу, что лицо незнакомое... А то я ведь весь ваш полк – слава те Господи! – наперечет, как свои пять пальцев, знаю. Как же! Все друзья-приятели!.. Что Джаксон?

Здравствует? Кардаш, Бушуев, Друри, Антон Васильевич?..

И он почти залпом выпалил мне около десятка имен моих однополчан-сослуживцев.

– Все, – говорю, – слава Богу, живы и здоровы.

– Ну и слава Богу!.. Кланяйтесь, пожалуйста, от меня всем, скажите, что скоро заверну к вам в полк – всех навещу, никого не обойду, никого невниманием не обижу, со всеми как следует выпьем и закусим и по душе потолкуем.

– А от кого именно прикажете кланяться? – спросил я.

– То есть это вы насчет имени?.. «Что в имени тебе моем!» – сказал поэт наш знаменитый. Имя, пожалуй, вы позабудете, а скажите просто, что Башибузук-де кланяется, – они уже знают. Да и вам, я чай, эта кличка моя небезызвестна, хотя бы по слухам.

– Н-нет, признаюсь, не слышал.

– Не слышали?! – И старик выпучил на меня удивленные глаза.

Мне показалось, что он не только озадачен, но и как будто даже несколько задет за

живое таким неожиданным обстоятельством.

– Не слышали?.. Может ли это быть?! В вашем-то полку и вдруг не слышали о Башибузуке-то!.. Нет, да вы вспомните, вы, верно, позабыли. Ба-ши-бу-зук, говорю. Наверное, слышали!

– Да нет же, не слышал, – возражаю я.

Старик отчасти даже огорчился.

– Ну, может быть! – сказал он со сдержанно-обиженным вздохом. – Не смею не верить... Должен верить, когда мне говорит офицер... Обязан верить. Но каковы же друзья-приятели, а?.. Каковы?!.. Значит, ни разу о Башибузуке и не вспомнили... Из глаз вон – из сердца вон... Да! «Тот любви скажи прощай, кто на три года вдаль уедет»... Да и я-то, старая скотина, тоже хорош! Других корю, а сам-то! Сам не то что носа не показал, а и полстрочки никому не черкнул за все время... Но нет, в самом деле, давненько же, значит, не навещивался я в ваш полк, если в молодом его поколении – вот, как в вас, например, – даже и предания, и самая память о Башибузуке исчезли... Впрочем, ведь я у вас – шутка ли сказать! – больше двух лет не бывал, все стран-

ствовал далече... Но и носило же меня, я вам скажу, черт знает где по святой Руси, то есть буквально «от финских хладных скал до пламенной Колхиды»... А по этому поводу и ради столь приятной встречи не выпить ли нам чего-нибудь, а? Как вы думаете?.. Выпьем!

– Да вот, я пью красное – не прикажете ли?

Мой собеседник поморщился и прищурился на бутылку.

– Красненькое? – сказал он, как-то зябко поеживаясь и потирая руки. – Что ж, пожалуй, будем пить и красненькое; хотя, знаете ли, у этих мерзавцев, станционных буфетчиков, французское вино всегда поддельное... Но я не прочь! Для компании отчего же, с удовольствием!.. Хм... А лучше бы... тово, – медленно произнес он, как бы в раздумье, неопределенно глядя куда-то в пространство, – лучше бы... если уж хотите угостить старика, то... знаете, как в песне цыганской говорится, прикажите-ка" батенька, «чтоб согреться старичку, поднести рюмку коньячку» – оно посущественнее будет... А потом уж и красненького можно... Вы, голубчик, извините меня, старика, что я так бесцеремонно...

Это ведь только потому, что я у вас в полку свой человек, и как увижу эту самую вашу форму, так вот, верите ли, словно бы нечто родное, ажио все сердце сполыхнется... Ей-богу!

– Вы, стало быть, прежде служили в нашем полку?

– Нет-с! Вся моя служба на Кавказе прошла. – И, произнося это с оттенком некоторой гордости, старик как бы невзначай распахнул пошире бурку, очевидно, с намерением дать мне заметить висевший на его левых газырях солдатский Георгиевский крестик. – Весь век на Кавказе-с, – продолжил он, – и преимущественно в Нижегородском драгунском... Впрочем, служил и в пехоте – не по своей охоте... Но вся беда моя в том, что мой роковой предел – это чин капитана. Точно-с! И верите ли, как дойду до этого чина проклятого, так и шабаш.

– Почему же шабаш? – спросил я.

– Как «почему», говорите вы!.. Понятно почему! Потому что провалюсь!.. Провалюсь – неизбежно, фатально, словно бы мне это на роду написано!.. Помилуйте, товарищи мои

давно уже в генерал-лейтенанты метят, а я только капитан в отставке! Вот и разочтите!

– Что же так?

– Не везет-с!.. «Счастье – глюк, говорит, надо клюк, говорит». Как дойду до капитанского чина, так меня сейчас по шапке – и разжалуюсь по сентенции в солдаты-с!.. И не подумайте, чтобы за что-нибудь этокое неблагородное, марающее честь мундира, вроде рас-трат или солдатских денег там, что ли, нет, это – Боже избави! Этакой грязи никогда!.. А все только по своей необузданности, или, вернее сказать, по роковым стечениям обстоя-тельств. Раз, например, не в меру строго с на-чальством обошелся; другой раз, будучи де-журным по караулам, приказал молоденько-му караульному прапорщику под мою ответ-ственность благородного арестанта выпу-стить на честное слово ради ночного свидания с дамой его сердца, а тот, каналья, возьми да удери!.. А в третий раз... ей-богу, я уж и сам не знаю, как и за что, и почему это в третий раз угодил я в солдаты!.. Думаю, просто пото-му, кажись, что судьба такая, – ничего не по-делаешь! «Счастье – глюк, говорит, надо

клюк, говорит». Выпьем!

И старик, так сказать, «вонзил» в себя сразу принесенную ему большую рюмку коньяку.

– И вот-с, – продолжал он, – дослужился я наконец, и в четвертый раз на своем веку до капитана. Не-ет, думаю, дудки! Шалишь, кума, больше не надуешь! Стар уж я стал солдатскую-то лямку в четвертый раз тянуть сначала! И как только прочел в приказе о своем производстве – сейчас же, то есть не медля ни единой минуты, подал рапорт о болезни вместе с прошением об отставке – в чистую! И чтобы подальше от какого-либо соблазна, принял себе этакое намерение никуда не выходить, ни с кем не сталкиваться и для того наглухо заточился в своей квартире... Потому – враг ведь силен! И кто ж его знает, может, вдруг нечаянно наткнешься так, что и в четвертых угодишь под красную шапку... Тяжко мне было заточенье-то это, потому я человек общительный; но, думаю, как-никак, а уж на этот раз выдержу характер. И перехитрил-таки судьбу свою, злодейку! Нос ей наклеил – да какой! – и, могу сказать, счаст-

лив! Потому – многого не желаю, а добрых друзей на святой Руси на век мой хватит – с меня и довольно! Ведь у меня, батенька, на Руси знакомство-то какое! В каждом крае, в каждом почти городишке паршивом найдется кое-кто из старых приятелей, из сослуживцев, однобывачников, односумов – и Бог ты мой!.. Да и вся кавказская знать меня знает; к самому князю Александру Иванычу, к фельдмаршалу, вхож, иногда в Скерневицы наворачиваюсь – и ничего себе, не брезгает старым солдатом: к собственному столу приглашает и накормит, и напоит, да еще с некоторой субсидией отпустит. «Спасибо, – говорит, – старый товарищ, что меня, старика, не забываешь!» А я ему-то стишком: «Пусть прежде Бог меня забудет, когда решушь тебя забыть!» Правду говорит пословица: «Не имей сто рублей – имей сто друзей», а у меня и точно: «не красна мошна рублями, да красна душа друзьями». Все друзья, везде друзья – и на Кавказе, и в Белокаменной, и в Питере, и в Вильне, и в Варшаве... А полков, полков-то одних сколько, где меня и знают, и принимают, и рады-радешеньки, когда приду; по-

жить-погостить оставляют.. И ничего себе, кое-как живем, хлеб жуем, Господа славословим... Я теперь – точно как у нас в песне в одной кавказской поется:

*Мне Царь белый – отец,
А Россия – мне мать,
И в родстве, наконец,
Вся российская рать!*

– Где же, собственно, вы теперь обитаете? – спросил я.

– Мм... то есть как вам сказать на это?.. Везде и нигде! Потому, видите ли, как вышел я в отставку, так с тех пор, собственно говоря, постоянного приюта или, так сказать, пьет-а-тера нигде не имею, а странствую себе по всей Руси широкой – где на чугунке, где на обывательских либо на почтовых при случае, а где и на своих двоих, пешком и мешком, пока ноги ходят, – больше все по полкам разным... Ну, иногда, впрочем, как уж докладывал вам, и к милостивцам, к прежним односумам, ныне уже звездоносцам, завернешь – благо не брезгают, да и помощь иногда окажут. И ничего себе, живу, не ропщу на Создателя. «Можно жить, не тужить и царя благода-

ритель!..» Могу сказать, даже счастлив и доволен, потому что сердце чисто, дух мой ясен, ум и крепок, и покорен! Такова то, господин корнет, моя философия, почерпнутая мною, могу сказать, долгим опытом из моря житейского.

– А теперь куда вы направляетесь?

– Теперь-то?.. Да как вам сказать?.. В точности пока еще и сам не знаю – может быть, в Вильну, может, в Варшаву, а может, и к вам заверну, смотря по тому, как куда шатнет... Взяли мне питерские друзья билет пока до Вильны; но, очень может быть, подумаю еще и высажусь в Динабурге или с Режице – там у меня тоже старые приятели есть, а в Динабурге к тому же и полк знакомый квартирует... Так что, куда, собственно, еду я – это еще вопрос, покрытый и для меня самого мраком неизвестности,.. Вообще говоря, батенька мой,

*Я много езжу по Руси,
От Керчи до Валдая,
И пью притом не мало сивалдая.*

Так-то-с! Не обессудьте старика на такой

моей солдатской откровенности!

Вскоре у выходной двери пронзительно зазвенел условный ко-юкольчик и полусонный голос дежурного сторожа выкрикнул монотонным речитативом:

– Динабург, Вильна, Варшава – первый звонок!

Я поспешил расплатиться и простился со своим случайным знакомым.

– Так не забудьте же в полку-то поклониться! – кричал он мне вдогонку уже на платформе. – Так и скажите всем: Башибузук, мол, кланяется, вскоре набег на вас учинит. Прощайте!

* * *

Прошло несколько месяцев. Я успел совсем позабыть про мою случайную встречу, как вдруг однажды, зимним вечером, раздается в прихожей звонок, вслед за которым чей-то незнакомый, но авторитетный голос вопрошает: «Дома?» – и затем, не ожидая денщицкого ответа, в комнату вваливается некто, в кавказской бурке, покрытой мокрым снегом, и в папахе, низко нависшей над бровями.

Смотрю и не могу признать, кто такой мог

бы это быть.

– Здравствуй, дружище! – радостно восклицает между тем на ходу незнакомый гость. – Аль не узнал старика?.. Помнишь, на станции?.. Башибузука-то? Он самый и есть перед тобой, как лист перед травой! Здорово!

Тут я, конечно, узнал его, но только думаю себе: когда же это мы с ним успели сойтись на «ты»? Он, однако, не дал мне раздумывать, а приступом, с налету, заключил меня в свои объятия и трижды звонко облобызал мои щеки, измазав их мокрыми усами.

– Позволь, голубчик, хоть отогреться чуточку! Приюти на часок, Христа ради! Измок, иззяб, устал – просто до лихоманки! И есть хочу, как сорок тысяч братьев хотеть не могут!

Просит человек приютить на часок – не отказать же ему в такой безделице, и тем более в его положении!

– Милости просим! – говорю. – И обогреем, и накормим.

– О! Благодетель!.. Вот душа-человек! Вот кунак-то! Это, что называется, по-кавказски, по-нашему!.. Ну, спасибо, солдатское мое спасибо тебе за это!

– Какими судьбами вы к нам? – спрашиваю его.

– То есть кто это «мы»? – переспросил он с некоторым недоумением. – Я один, со мной никого нет больше.

– Да я про вас-то самих и спрашиваю.

– Ах, про меня! – спохватился он, как бы догадавшись. – Так зачем же тут это «вы» церемонное? Чего же это мы будем выкататься! Не подобает! Ей-ей, не подобает! Я человек простой – вся душа как на блюдце. Коли я полюбил человека – не могу с ним на «вы» быть! Так вот и тянет по старой привычке кавказской сейчас же на «ты» перейти. Душа моя! Кунак! Говори мне, пожалуйста, «ты» без церемоний! И я тоже буду! Так гораздо удобнее.

– Ну, это как кому, – заметил я, невольно улыбаясь на наивное нахальство моего гостя. – Мне, например, вовсе неудобно; я с непривычки часто ошибаться буду.

– Это ничего! – снисходительно успокоил он меня, пожимая руку. – Ошибка в фальшь не ставится. А для закрепления дружбы мы при первом же случае выпьем на «ты», и шабаш тому делу! О чем, бишь, ты спрашива-

ешь?.. Да! Какими судьбами я попал сюда? Очень просто, голубчик: был в Варшаве, был в Скерневицах у фельдмаршала, с поклоном – с русским поклоном к нему, понимаешь? По-кавказски!.. Ну, был потом в Ченстохове, опять в Варшаве, в Новогеоргиевске, в Ивангороде, в Люблине, оттуда в Брест, из Бреста в Белосток, из Белостока сюда – вот и весь маршрут мой. Все по полковым штабам гостил у друзей-приятелей. Но черт его знает – судьба моя такая! Только что ввалился в вашу окаянную Гродну – грязь, слякоть, снежище валит... Я сейчас извозчика... Ах, кстати, голубчик! Совсем из ума вон! Ведь у ворот мой извозчик ждет. Прикажи, пожалуйста, рассчитать его – завтра сочтемся... Ну-с, так вот, беру извозчика. «Вези, – говорю, – к майору Джексону». Привозит. «Дома?» – «Никак нет, в эскадроне». Э! Черт возьми, досада какая! «Вали, – говорю, – к Друри. Дома?» – «В отпуску-с». Тьфу ты, канальство! Я к Черемисову – в театре. Я туда, сюда, стукнулся еще к двум-трем – никого! То в театре, то в клубе, то «в гости ушли-с». Экие безобразники! Никто дома не сидит! Незадача, думаю. Как тут быть?.. Про-

дрог ужасно; с холода рюмку бы водки, да чаю стакан, да отдохнуть с дороги, потому устал, говорю тебе, ужасно, а они, черти, по клубам да по театрам! "Ну, – говорю извозчику, – пошел теперь куда знаешь, я уж тут ничего больше не могу придумать, думай ты за меня". Едем по этой улице, видим свет в окнах; извозчик мой и остановился. «Надо быть, – говорит, – дома, потому светло». «Да здесь кто живет-то?» – спрашиваю. Он и назвал тебя. Ба, думаю – вот оно где мой спаситель обретается!.. Ну, конечно, сейчас же сюда, а остальное ты уж знаешь. Так вот, друже ты мой, еще раз в ножки кланяюсь тебе – приюти старика на одну ночку, а там завтра к Джексону в эскадрон проберусь – и вся недолга! Но теперь дай мне, Христа ради, рюмку водки и хотя чего-нибудь куснуть на голодные зубы!

– Все это будет сию минуту, – утешаю его. – Но где же вещи ваши? Надо приказать внести их сюда.

– Какие вещи? – вопрошает Башибузук с недоумением.

– Ну, чемодан или сак там, что ли?

– «Че-мо-да-ан»! Фи фю-ю! – присвистнул

он, махнув рукою – Бот еще какие нежности! Никогда отродясь, друг мой, у никаких чемоданов не бывало. Я, как Диоген, – *omnia mea mecum porto* [38]! Чай, знаешь песенку:

*Аристотель о-о-о-оный.
Славный философ.
Продал паотало-о-о-о-оны –
Ходит без штанов!*

Так и я, брат, точно! Жив Бог – жива душа моя, а с голоду на Руси, говорят, еще никто не умирал. Зачем мне вещи? Только лишнюю тяжесть таскать за собою да платить за багаж на дорогах? Нет, брат, я этой глупой моде не следую. *Omnia mea mecum porto* – и все тут!

Нельзя сказать, чтобы Башибузук особенно обременял кого-либо собою. Когда он совершал свои «набеги», то это были «набеги» действительно на целый полк, а не на того или другого из офицеров. Тяготы своего пребывания в полку он поровну разделял между всеми, как подушную повинность. Сегодня случай привел его ко мне, завтра он точно так же случайно останется ночевать у другого: где захватила его ночь, там и остался. Здесь привелось позавтракать, там пообедать, тут у

такого-то чаю напиться, в четвертом месте поужинать – он и счастлив, потому что всегда вертится в «компании», всегда с «друзьями», с «кунаками». Любит он поговорить, побалагурить – только не мешай ему языком болтать; и действительно, болтун он неистощимый, и все это с прибауткой, со стишком, с пословицей, с неизменным рефреном ко всякой теме: «а вот-де у нас, бывало, на Кавказе», – и как попадет на этого кавказского своего конька, то только пошли Бог терпения слушать! В особенности он любил рассказывать про Нижегородский полк, его быт, его боевые подвиги, про полкового песенника-запевалу и пьяницу Малышку – и в эти минуты одушевлялся искренно, без напускного пафоса, и непременно цитировал полковую песню:

*Старый полк наш двести лет
Ходит в бой.
Много знает он побед
За собой.*

И, заканчивая какой-либо подобный рассказ, точно так же непременно приведет стишок из той же песни:

*Так наш старый полк живет
Двести лет,
Молодея каждый год
От побед.*

Когда, бывало, просят его к водке и закуске, он, весело и приятно потирая руки, сейчас же скажет стишок:

*Эх-ма! Служба тяжела.
Часом просто не находка!
А была чтоб весела,
Что драгуну нужно? – Водка!*

И, по обыкновению, разом «вонзает» в себя рюмку, в заключение чего опять-таки стишок:

*Знать, драгуны таковы,
Свой завет не позабудут:
Могут быть без головы,
А без водки уж не будут.*

И откуда только у него брались эти стишки! На всякий случай, на всякое обстоятельство непременно ответит стишками.

– Ну, брат, и наклюкался же ты вчера! – дружелюбно корит его кто-нибудь утром, – Даже под стол свалился!

– А что ж! – отвечает он. – Это как следует!

*Счастлив тот, кто в вихре боя
Иль в пирушке громовой
Славной смертью пал героя,
Хоть под стол, за край родной.*

Потрепал он как-то двух жидков за какую-то мошенническую проделку. Те – жаловаться полицеймейстеру. Выходит, понимается, история, из которой надо выручать Башибузука.

– И зачем ты рукам волю давал? – корят его приятели.

– А что ж! – говорит. – Мы, брат, кавказцы! Мы таковы! Мы –

*В дело, будто на охоту,
С радостью идем,
И черкесскую когорту,
Словно зайцев, бьем.*

– Да ведь это, – возражают ему, – не черкесы, а жиды.

– Жиды? Тем паче!

*Уж Шамилевой фаланге
Мы потачки не дадим,
Я у нас на левом фланге*

Мало пользы будет им!

– Им-то, разумеется, мало, потому что взять с тебя нечего; но и тебе немного: нарвешься когда-нибудь так, что и в кутузку засадят!

– Кого? Меня?.. Никогда!

*С нами Бог и Фрейтаг с нами,
С нами Фрейтаг – с нами Бог!*

Как я сказал уже, Башибузук, кроме того, что было на нем надето, не имел никакого имущества. Если черкеска его приходила в крайнюю ветхость, кто-нибудь из друзей, сам или в складчину, дарил ему новую – и Башибузук опять на несколько лет был «экипирован». Один, бывало, подарит ему старые, но еще крепкие сапоги, другой – рейтузы, третий – сорочку, четвертый – пару носовых платков, и Башибузук счастлив, «Я богат, я очарован, я опять экипирован!» – в восторге восклицал он в этих случаях.

Но вздумали однажды приятели снабдить его бельем в полной мере, так, чтобы всех принадлежностей было у него по полдюжине, – Башибузук, к удивлению, отказался:

– Нет, господа, куда мне с этим возиться! Все равно раскрадут, или растеряю. Мое правило такое: одна сорочка у прачки, другая на себе, и все тут! Износится, приятель даст новую. А эти полдюжины – это ведь уже целое имущество, под него и чемодан нужен, и счет вести надо, заботиться надо... Нет, уж Бог с ним, а вам – сердечное спасибо!

Так и не согласился принять наш подарок.

Между прочим, замечателен был рассказ его о том, каким образом однажды избавился он раз и навсегда от всех своих долгов и кредиторов.

– Это было незадолго до выхода моего в отставку, – рассказывал нам Башибузук. – Долги меня одолевали, а вы сами, чай, знаете, как делаются долги нашим братом. Нужно тебе, положим, сто рублей, а услужливый жид или армянский восточный человек дерет с тебя вексель в триста – по десяти, а то и по двенадцати процентов в месяц; а не заплатил в срок – переписывай вексель с сопричтением процентов на проценты, по двенадцати же в месяц... Пройдет несколько месяцев, и твой сторублевый долг вырастает чуть ли не в ты-

сячный!.. И вот, таких-то дутых долгов по векселям накопилось у меня до десяти тысяч, и все это тут же, у себя дома, в штабном районе, благодаря разным промышленным карапеткам, каспаркам и шмулькам, осаждающим у нас, на Кавказе, штаб каждого полка не хуже, чем здесь, в Западном краю. Разница только та, что вы здесь имеете дело с одними жидами, а мы и с жидами, и с армянами, и с греками, и с персами, чего и врагу пожелать грешно, в особенности относительно греков. Десять жидов из одного грека выкроить можно! Судите же сами, кому легче – вам или кавказцам?

Вижу я наконец, что исхода нет никакого: чем дальше в лес, тем больше дров; чем больше переписываешь векселя, тем все туже мертвую петлю на себе затягиваешь. И знаю, что придет наконец день мой судный, подадут ко взысканию и... чего доброго, даже до капитанского, до рокового моего чина не дадут дослужиться. Между тем действительных моих долгов, если положить их даже с двадцатью четыремя годовыми процентами, было менее чем на три тысячи. Но и то тяжело.

Откуда возьмешь вдруг три тысячи, когда ни движимого, ни недвижимого не имеется, да и нет к тому же ни дядюшки, ни тетушки, ни бабушки, которые могли бы нечто оставить по наследству? Поэтому для меня, в сущности, было все равно – три ли тысячи, десять ли тысяч: и так, и этак одинаково скверно выходило.

Но вдруг судьба мне улыбнулась. Приехал к нам в штаб интендант открывать цены, а денег у интенданта много, потому что уже давно в интендантах служит и почитается наипытнейшим. Сам он, как водится, из поляков, на руках драгоценные перстни сверкают, при часах массивная золотая цепочка, без шампанского обедать не садится и в собственной щегольской коляске разъезжает; остановился в гостинице, три номера подряд, что ни есть из лучших номеров, – один под себя занял, квартирмейстера и нужных офицеров шампанским угощает – ну, особя, да и только. Случился в те же поры у нас в Царских Колодцах наездом окружной – большой мой приятель, лихой малый, умная голова, из старых кавказцев, – и любил он меня очень, и знал

хорошо мои скверные обстоятельства. Даже, могу сказать, обязан ему благодарностью за то, что он неоднократно сдерживал плотоядные насчет меня порывы и аппетиты моих кредиторов. Встречает он меня как-то на улице и зовет к себе – в гостинице тоже был остановившись: «Приходи-де вечерком на пульку, интендат будет». Ладно. Собрались мы у него на чай, кое-кто из наших, интендант тут же, брильянтами своими сверкает! После пульки обычным манером закусили, поужинали, выпили, а тут и предложи кто-то, чуть ли не сам же интендант, в «любишь не любишь» перекинуться. Идет! Кто же от этого в доброй компании откажется! Заложил интендант банчик. Облепили его понтеры, словно мухи просыпанный сахар. Играют. И не прошло еще часу, как игра поднялась уже большая, серьезная. Я поглядел-поглядел да и соблазнился – рискну-ка на счастье! – и стал понтировать. Поставил карту – дана, другую – дана; я «на пе» – взял и «на пе». Везет, думаю, везет! Понтируй дальше, не робея; гни даму, гни туза-злодея!.. Вперед! Вперед!.. «Жизни только тот достоин, кто на смерть всегда готов»!.. И

есть же анафемское счастье! Раз в жизни только такое и приходит – большое, глупое, слепое счастье!.. Что вы себе думаете? Менее чем в четверть часа, ни разу не сорвавшись, взял я кругленький кушик в три тысячи рублей. Хочу понтировать дальше, только вдруг чувствую: наложил кто-то на плечо мое руку. Оборачиваюсь – приятель окружной.

– Брось-ка, – говорит, – на минуту: мне тебе нужно два слова сказать.

– Отстань! – говорю. – Постой! Потом! Видишь, везет как!

А он мне таково-то настойчиво, внушительно:

– Бастуй, – говорит. – Довольно! – А сам так выразительно на плечо нажимает.

«Ну, – думаю, – верно, неспроста».

Забастовал я, получил чистоганом три тысячи, пересчитал и золото, и бумажки, набил ими все карманы и отошел от игроков.

– К чему ты, – говорю ему, – остановил меня? Ведь как везло-то!

А он мне на это:

– Надо, – говорит, – и честь знать, а то посади свинью за стол, она и ноги на стол! Может

быть, – говорит, – это всеблагое Провидение милость свою к тебе ниспосылает, так ты и чувствуй, и не искушай его без нужды; умеи отстраниться вовремя, а то, не ровен час, и три-то тысячи спустишь, да еще, гляди, на несколько тысяч дашь на себя реваншу, а расплатиться-то нечем... Ну и что ж тогда благородному офицеру делать? Пулю в лоб?.. А ты, говорит, возблагодари всеблагое-то Провидение да давай-ка деньги сюда, ко мне в шкатулку, здесь они поцелее будут; а теперь ступай спать с легким духом и чистым сердцем; завтра же утром приходи ко мне, потолкуем, какое наилучшее приспособление дать этому капиталу.

Вижу я, говорит человек так серьезно, убедительно, словно отец родной, отдаю ему деньги – он пересчитал и при свидетелях запер в шкатулку.

– Пусть, – говорит, – дело начистоту будет.

Ладно. Прихожу к нему после ученья, утром, как было установлено, а там, гляжу, сидят уже в гостях двое моих сожителей. (Я, видите ли, жил с двумя товарищами; особый такой маленький домочек мы занимали.) Хо-

зьяин мне навстречу.

– Ну, – говорит, – капиталист, добро пожаловать! Сперва закуси, а потом поведем серьезную беседу. Я, – говорит, – и обоих твоих сожителей нарочно пригласил на совещание.

Закусили мы, трубки закурили, все как следует... Окружной и говорит мне:

– Как же ты, друг, намерен капиталом своим распорядиться?

А я только плечами пожимаю.

– Не знаю, – говорю, – такими мыслями пока еще не задавался. Именья на такой капитал не купишь, а и купишь, так все равно за долги отберут, да и долгов-то всех не уплатишь. Что им три тысячи, тварям-то этим! Только аппетит их скаредный еще пуще раздразнишь! Поди-ка, еще сильнее напирать начнут: заплатил-де три – значит, можешь и остальные!

– Вот в том-то и сила, – возражает он мне, – в том-то и фортель, что надо теперь же воспользоваться счастливым случаем и расквитаться со всеми, то есть буквально со всеми кредиторами.

Я ажно глаза выпучил.

– Христос с тобой! – говорю. – Как же так расквитаться, коли всех долгов у меня до десяти тысяч?

– Да уж как-никак, а расквитаться надо.

– Но каким же способом?

– Таким, чтобы заплатить деньги и получить назад векселя, все до единого. Я, – говорит, – распорядился уже пригласить всех твоих главнейших заимодавцев, назначил им время – вот через полчаса соберутся – и скажу им, что желаю заплатить за тебя и жертвую на это три тысячи.

– И ты воображаешь, что эти хриstopродавцы согласятся?

– Вот попытаем... Не согласятся, тогда у нас еще другой способ остается в запасе.

– Что за способ такой? – спрашиваю.

– Есть уж! Не беспокойся! Самый радикальный! Коли ты сам ничего не придумал, то мы подумали за тебя и выдумали нечто.

Вот собрались наконец кредиторы: два армянина, полтора жида и один целый грек. Предлагает им окружной сделку. «Так и так, – говорит, – видя безвыходное положение приятеля, желаю ему помочь и плачу за него по

силе своей возможности; более трех тысяч пожертвовать на это не могу, но с вас-то, в сущности, и этого вполне довольно, так как сами вы знаете, что векселя ваши дутые, и вы теперь получаете за них в возврат весь действительно данный вами капитал, да еще сверх того по 24 процента. Сделка – хорошая, и, говоря по совести, согласиться можно».

Куда тебе!.. Те и слышать ничего не хотят.

– Мы, – говорят, – уже знаем, что штабс-капитан вчера три тысячи в штос выиграл; пусть их нам и заплатит, а мы новые векселя ему за то согласны переписать и подождем со взысканием. Может, Бог пошлет ему еще другой такой же куш выиграть, а может, и больше – за что же мы свое-то станем терять!

Словом сказать, как ни уламывали их – не соглашаются. Уперлись на своем, и баста! Нечего делать, пришлось окружному прогнать их к черту.

– Ну, друг любезный, – говорит он мне, – сам ты видишь, хотел я помочь тебе, старался, убеждал – не пробирает!.. Теперь тебе ничего больше не остается, как только умереть.

– Как умереть?! – удивился я. – Что за вздор

ты мне предлагаешь!

– Отнюдь не вздор, – говорит, – надо умереть, тогда мы ликвидируем твои дела; тогда все эти хриstopродавцы поневоле пойдут на сделку, мы скупим все твои векселя, и ты выйдешь чист и свеж, как бутон, паче снега убедишься и вздохнешь наконец свободно. Вся штука в том, что умереть надо. Умри-ка и в самом деле денька этак через четыре!

Я гляжу, как шальной, то на того, то на другого, то на третьего.

– Воля ваша, – говорю, – а только я ровно ничего не понимаю. Шутите вы надо мною, что ли?

– Нет, – уверяют они, – мы тебе предлагаем это самым серьезным образом, как единственно возможный и даже выгодный для тебя исход.

– Ну так вы, друзья, извините, стало быть, с ума сошли!

– Нет, – говорят, – пока еще, слава Богу, в здравом рассудке, а только сам ты видишь, что без твоей смерти кредиторы никак не согласятся покончить твои счета за три тысячи.

– Это-то конечно, это верно, – соглашаюсь я, – но только, черт возьми, неужели же мне ради удовлетворения шмулек и карапеток пулю в лоб себе пустить?!

– Ну, вот уже и пулю!.. Зачем пулю?.. Тут пуля вовсе не требуется. Тебе, напротив, надо умереть, так сказать, законным порядком и на законном основании, как умирают все добропорядочные и благонамеренные люди, то есть сперва, значит, поболеть денька этак три, четыре, а там и скончаться.

Я и рукой махнул.

– Нет, – говорю, – друзья, вы окончательно с ума сошли, и если у вас нет для меня в запасе более умного совета, то прощайте!

– Да ты постой, – говорят, – ты не кипятись, а выслушай сначала. Это вовсе не так глупо и не невозможно, как тебе кажется. Слушай, мог бы ты, например, вчера или сегодня простудиться, схватить себе грипп, жабу, горячку там, что ли, воспаление или, наоборот, какую-нибудь подобную мерзость? Мог ли бы?.. Разве кто из нас застрахован от такой случайной напасти?

– Ну, положим, мог бы, – говорю, – только

что ж из этого?

– А вот что: представь себе, что ты заболел, слег в постель и умер, лежишь на столе, а я, как власть полицейская, присутствую тут же для наблюдения за производством описи твоего имущества и между тем, под рукой, извещаю всех твоих кредиторов, вступаю с ними в соглашение, скупаю векселя, и вот, таким образом, пока ты будешь лежать кверху носом, мы обделаем твои дела, и тебе после того будет так легко, так легко... жить на свете!

– Ах, голова, голова! – корят они меня. – Неужели все еще не понимаешь? Не о смерти – о жизни дело идет!.. Кто ж тебе запретит в тот же день воскреснуть? Как только последний вексель будет возвращен, ты и воскресай! Прямо так-таки и воспрянь перед всею компанией твоих кредиторов, к наивящему их ужасу.

– Н-да, – говорю, – только ведь это обман выходит...

– Зачем обман?.. Как это можно – обман?!.. Разве у тебя не могла быть летаргия? Помилуй, да это ни полковой, ни уездный врачи не откажутся засвидетельствовать. Летаргия де-

ло весьма возможное. Они даже рады будут: во-первых, такой интересный случай в науке, а потом, кто ж не рад проучить хорошенько всех этих, общих наших, кровопийц, с которыми по закону, сам знаешь, ничего ведь не поделаешь. К тому же весь свой долг ты выплачиваешь честно, даже с большими процентами, и только из само сохранения предпринимаешь стратегический маневр, чтобы выпутаться из злостной ловушки, в которую тебя систематически затягивают.

Словом сказать, все доводы приятелей были убедительны и лены, как дважды два четыре. Я так и хватил себя по лбу.

– Вот она, гениальная-то мысль! Умирать, – говорю, – умирать сию же минуту! Кладите меня на стол, надевайте саван, плачьте и рыдайте и зовите кредиторов. Кончено! Я умираю!

– погоди, – говорят, – не торопись. Побудь жив и здрав еще дня два: ведь ничего ж они с тобой в такой короткий срок не сделают! Поезжай-ка лучше на охоту. На охоте тебе разрешается схватить горячку, а по возвращении – прямо в постель, и тогда умирай себе с Богом

на законном основании.

И действительно, так мы все и устроили. Поболтался я день в штабе, на другой день уехал с товарищем на охоту, на третий возвратился утром домой – и прямо в постель. Доктор ко мне ходит, наш полковой врач, добрейший Готлиб Христофорович – if так усердно навещает больного по два раза в день, и утром и вечером; ставят перед ним каждый раз самовар и бутылку рому ямайского, которую он и усиживает в один визит «ганц аккуратиш». Ну, при этом, конечно, и приятели навещают, играют в карты, хотя и не без некоторого стеснения, так как всякий шум и громкие разговоры Готлиб Христофорович воспретил строжайшим образом. В Царских Колодцах меж тем слух пошел, что бедный Башибузук болен, лежит не вставая с постели, страдает... Кредиторы, разумеется, тоже прослышали, являются один за другим узнать о здоровье, справиться, что и как – денщики, конечно, не допускают их: плох, мол, не тревожьте. Шмульки и карапетки только в затылках почесывают от раздумья: ну, как померет, не ровен час? С чем тогда останемся?..

Призадумались-таки сильно. На следующий день толкуют в местечке, что больному еще хуже стало – вон и шторы в окнах спущены, и соломки даже подсыпали перед домом на улице – шум-де чтобы не так беспокоил. Встречает Готлиба Христофоровича наш полковник, осведомляется обо мне; правда ли, что болезнь так серьезна? Хочу, мол, сам навестить больного. А Готлиб Христофорович ему на это: «Нет, полковник, не беспокойтесь; болезнь сама по себе вовсе не опасная – *Morbus creditoris* называется. Такою болезнью дай Бог и каждому захворать, с тем чтобы радикально вылечиться от затяжных и хронических *debitiois centesimalium* и прочего».

На третий день утром я наконец умираю. Подпудрили меня, чтобы побледнев казался, под глазами жженою пробкой темные круги вывели, положили на стол, покрыли всего простынею и на лицо набросили особую кисейку, а то неравно муха на нос сядет, усами пошевелишь – и весь эффект к черту! Притащили даже из лазаретной покойницкой три канделябра с восковыми свечами и поставили вокруг меня по порядку, как следует; зер-

кало белую салфеткой завесили, в комнате ладаном покурили; сожители по очереди псалтырь надо мною читают. Вот и друг – окружной приехал, а что до кредиторов, то их и извещать не требовалось: сами нагрянули, чуть лишь прослышали, что скончался... Стоят с кислыми рожамии в прихожей да заглядывают в полураскрытую дверь: вишь, мол, аспид, окошел и не расплатился... Пропали блестящие, лакомые надежды на десять тысяч!.. А я лежу, не шелохнусь и только думаю себе: «Господи, что же это будет, если мне теперь вдруг чихнуть захочется!..» Между тем слышу, окружной зовет кредиторов в комнату...

– Вы, говорит, братцы, зачем это сюда пожаловали? Покойнику поклониться? Что ж, поклонитесь, дело хорошее. Жаль бедного, так неожиданно умер, и ничего, говорят, не осталось, кроме платья носильного да седельного прибора... Немного же вам в разверстку-то придется!

У тех рожи еще больше вытянулись.

– Как, – возражают, – а три-то тысячи?

– Какие такие?

– А те, что с интенданта выиграл? Мы ведь

слышали!

– Мало ли какие слухи бывают! Выиграл-то, может быть, не он, а я, или его сожители, и мы же хотели за него расплатиться, но... сами вы тогда не пожелали. Теперь на себя пеняйте!

Взмолились к нему все шмульки и карапетки: нельзя ли де как-нибудь на трех тысячах покончить? Мы-де согласны и никаких более претензий иметь не будем; вот и векселья – нельзя ли кончать поскорее, хоть сию минуту, не доводя дела до описи и полицейско-судейской процедуры?

– Я уж тут, братцы, сам ничего не могу! – возражает им окружной. – Разве что вот оба сожителя покойного пожелают как-нибудь кончить с вами... Вы уж теперь их просите, а я ни при чем!

Те чуть не в ноги моим сожителям, благодетелями называют, плачут, вздыхают. А я лежу себе неподвижно, бровью не поведу и только думаю: как бы не расхохотаться!..

Покончили наконец на трех тысячах; деньги – с рук на руки; векселья все до единого получили, торжественно разорвали, уничтожи-

ли, затем выпроводили из дому всех шмулек и каспарок с карапетками – и я воскрес!

На другой день был какой-то праздник; вечером на бульваре музыка играет, гулянье, народу пропасть, и я тоже присутствую, к несказанному общему изумлению! Поздравляют меня все с воскресением из мертвых – «вот, и раньше второго пришествия сподобились», – спрашивают, хорошо ли на том свете, а кредиторы – Боже мой, если бы только можно было изобразить их отчаяние и злобу!..

– Ну, – говорят, – больше мы вам ни одной копейки не поверим!

– И отлично, голубчики, сделаете! – отвечаю им. – Лучше поблагодарим друг друга за науку. А что до меня, то я уж, конечно, ни за чем к вам не обращуся!

И таким-то образом с тех самых пор я твердо решил не делать больше никаких долгов, иначе как у приятелей на честное слово, ради маленькой перехватки; но векселей, расписок – никаких и никогда! Маленькая перехватка у приятеля – это ничего, это говеем другое дело: несколько рублей никогда не

разорят. Будут у меня деньги – отдам, не будут – с меня не взыщут, простят, забудут по приятельству. Не так ли? И вот, потому-то, собственно, при выходе в отставку я и распродал все, что было у меня излишнего, дабы не обременять себя впредь ни долгами, ни имуществом! Одним словом, omnia mea mecum porto – и счастлив.

* * *

Имел Башибузук слабость не только говорить стишками, но и сочинять стишки, окончательно неудобные для печати. Из всех его собственных произведений цензура благопристойности может пропустить только одно четверостишие – надгробную эпитафию, сочиненную им самому себе:

Под камнем сим лежит Башибузук.

Не много знал он в жизни сей наук.

Зато умел в бою с врагом рубиться

И в каждый час с приятелем напиться.

Раз как-то заговорил он о смерти и упомя-

нул о своем духовном завещании. При этом мы все невольным образом рассмеялись: «Какое же у тебя может быть духовное завещание?!»

– Как «какое»?! Самое настоящее! И я всегда имею его, на случай смерти, при себе; ношу вместе с указом об отставке в боковом кармане. Не верите? Показать могу сию мину-ту.

И, вынув из потертого конверта по форме сложенный лист бумаги, он прочел нам следующее:

«Во Имя Отца и Сына и Святого Духа. Находясь в здравом разуме и совершенно полной памяти, завещаю последнюю мою волю и прошу всех моих друзей не поминать меня лихом. Друзей же моих того полка, в котором постигнет меня смерть, усерднейше прошу оказать мне последнюю услугу – похоронить меня на общий их счет по христианскому, восточно-православному обряду. Драгоценное боевое оружие мое: базалаевский кинжал и шашку завещаю тому из хоронивших меня друзей, кому вещи сии достанутся по жребию, кинутому в общем друзей моих присутствии.»

Носильное же мое платье раздать на помин грешной души моей нищим, одним из коих и сам я весь век мой странствовал в мире». Завещание это было за надлежащими подписями одного из полковых священников и двух друзей-свидетелей. Приведено ли оно в исполнение или Башибузук и доднесь еще странствует по полкам – не знаю. Я давно уже потерял его из виду.

4. Гасшпидин Элькес

Этот был самый шельмоватый из всех наших приживалок. Но несмотря на шельмоватость, вообще присущую еврейской расе, он был достолюбезен нам многими своими личными качествами, да и самая шельмоватость его вовсе не носила в себе отталкивающего характера; иногда он даже «утешал» нас ею, ибо с этим его качеством нередко сочеталась некоторая доля своеобразного еврейского остроумия.

Пока полк стоял в Тверской губернии, в нем и понятия не имели о том, что такое еврей Западного края; зато со всею прелестью еврея, во всей ее неприкосновенности, при-

шлось познакомиться с первого же часа, даже с первого шага, при вступлении нашем на гродненскую почву. Здесь одним из первых явился и тотчас же прикомандировал себя к офицерам «гасшпидин Элькес», который сразу заявил, что он «первилегированный» портной и может шить «из увсшякаво корту увсшякаво кистюм», а также кроить, пороть и штопать и «знов по-новому зе сштараво перевертать из полным растарациум, надзвычайне же вуляньски колеты, штыблеты, зжакэты и зжалеты»; может притом доставлять всякие офицерские вещи: «алалеты, атышкеты, шапки в папке, пегхоны, претаней и прочаго причандалу», равно как «вина, ликворы, розмайте напои и щигарке контрабандовы», – словом, оказался человеком вполне необходимым, в особенности на первое время.

Много являлось к нам подобных же предлагателей всевозможных услуг, но Элькес какими-то судьбами ухитрился всем им перебить дорогу и в ряду их занять при полку первое место. Он как бы наложил на наш полк своего рода эмбарго, или запрещение, как бы объявил его своею собственностью, исключи-

тельным предметом своей экзюлуатации и обработки. Конкуренция ему явилась только со стороны мадам Хайки, и конкуренция настолько сильная, что с нею, как ни бился Элькес, а ничего не мог поделатъ и в конце концов вынужден был силою обстоятельств признать за Хайкой все права относительно поставок некоторых вещей, необходимых в офицерском обиходе. Таким образом, от Элькеса отошли все операции по части снабжения нас винами, чаем, сахаром, стеариновыми свечами, готовым бельем и папиросами; зато всецело удержалось за ним все, касавшееся портняжного искусства и снабжения офицерскими форменными вещами, И он не остался внакладе. После похода у каждого нашлось кое-что для починки и переделки из носильного платья, и всею этою работою завладел Элькес настолько, что даже обижался искренно и горько, если кто-нибудь из нас случайно отдавал какую-либо починку в посторонние руки. Сверх ожиданий он оказался порядочным мастером своего дела, так что многие стали заказывать ему и новые вещи. Это, конечно, еще более упрочило его положение в

качестве полкового портного, и он стал добиваться – нельзя ли какими ни на есть судьбами объявить о его привилегированном положении в полковом приказе – «бо натогхда увше взже будут зжнать, какво я есть персону», – но, не добившись такого официального признания своих преимуществ, ограничился тем, что устроил себе новую вывеску с надписью: «Первилегированный полковой портной» и с изображением уланского колета вместо прежней, где значилось просто «военный и пратыкулярный».

Мало-помалу он усвоил себе положение в некотором роде непременно члена полка и настойчиво стал появляться при всех официальных и общественных отправлениях его жизни: на смотрах и парадах, на молебствиях при торжественных случаях, на полковых и эскадронных праздниках, на офицерских пирушках и пикниках, на полковых ученьях и больших маневрах, при приезде и отъезде разного начальства и т.п., и присутствовал при всем этом, конечно, добровольно, в качестве «первилегированного портного» со всеми своими атрибутами в сумке: иглами, нит-

ками, ножницами, воском и наперстками – «за таво сшто, ежели ув когхо з гасшпод афицерув одервиется пуговка альбо сштрамесшка, го жебы зараз можна било починка изделать».

Поэтому все уже и привыкли видеть Элькеса вечно торчащим и трущимся то на плацу, то в чьей-либо прихожей, в канцелярии, на конюшнях, около кухни, около денщиков и музыкантов – и никто не находил этого странным, ибо он уже раз и навсегда завоевал себе такое «первилегированное» положение. Выходя на плац в случае, если предвиделось продолжительное ученье или большой смотр, Элькес кроме необходимых «причандалов» портняжного искусства всегда приносил с собою узелок или плетеную корзину, наполненную бутылками зельтерской воды, водкой, бубликами, швейцарским сыром и апельсинами или яблоками. С этою ношею он таскался позади фронта и любезно предлагал офицерам «засвежиться» и «закрепиться» из его плетеной корзины. И не думайте, чтобы он делал это ради «гешефта», за деньги – нет, гасшпидии Элькес не продавал, а угощал из

одной лишь любезности, «за таво сшто я сшвой, полковой, первилегированный».

Главнейшею страстью Элькеса было все знать, все видеть, все слышать, везде самолично присутствовать. Он нередко заменял нам общественно-политическую газету. Каждое утро обтекал он поочередно всех наличных офицеров, сообщая им всевозможные новости дня. Чуть лишь успеешь проснуться, в особенности если это в праздничный день, когда не надо идти ни в манеж, ни на ученье, — глядь, гасшпидин Элькес уже тут как тут! Входит в комнату, поздравляет с добрым утром, «с празжникум», осведомляется, нет ли «каково починку», и затем, почтительно став у притолоки, начинает выкладывать «сшамово пасшледнюю новас-штю», вроде того как Лейба Пиковер понадул Сруля Маковер; как «мадам прекарорша» побранилась вчера на гулянье «за молодова маравая сшгодья из пачмайштером»; как у майора Джексона сегодня в ночь кобылица ожеребилась; как князь Черемисов в знак своего благоволения к Хаиму Абрамзону написал ему на себя, ни за что ни про что, вексель в сто рублей;

как играли вчера на театре и сколь была хороша актриса Эльсинорская, к которой даже сам Элькес питал бурную, но платоническую страсть. И выкладывает он все эти новости, пока не прикажешь дать ему рюмку водки и не прогонишь милостиво к черту – надоел, мол, приходи завтра! Но иногда он действительно Бог весть какими путями умел заблаговременно пронюхивать и весьма серьезные новости. Так, например, – помню я – в лето 1870 года, дня два спустя после смотра, сделанного государем императором гродненскому отряду на пути из-за границы, гасшпидин Элькес серьезно объявляет, что на днях будет война.

– Какая война? Откуда тебе война почудилась? С кем война?

– Н-ну, от пасшмотритю! Фрынцоз из пруссом ваювать будут – сшкора, очин дазже давольна сшкора!

В то время мы все смеялись над прорицаниями Элькеса, но не прошло и двух недель, как телеграф действительно принес весть о разрыве между Пруссией и Францией.

– А сшто?! А сшто, не гхаворил я?.. Га?.. Ко-

гда ж не правда вийшло? Коггда ж не по-
моему?.. Га?..

Мы только руками разводили.

– Да откуда ж ты все это мог знать заранее?

– Ага!.. Ми взже знаим!.. Мы увсше знаим,
бо ув нас есть сшваво почта пантуфлёва – ев-
рейшкая почта, так сшамо зж, як и талиграф.
З Липську [39] зжнаим, з барлинского бирзжу
зжнаим – на то ми и евреи, жебы увсше зжна-
ли зараньше!

Элькесу было уже лет под сорок, когда он
пристал к нашему полку в качестве своеоб-
разной полковой приживалки, и замечатель-
но, что в таком солидном возрасте он доволь-
но быстро выучился не только читать, но да-
же и несколько писать по-русски. При этом,
любя следить за «пальтика», он постоянно
уносил у нас старые газеты; новейшие же по-
литические известия, как уже сказано, знал
иногда и раньше газет при посредстве почты
пантуфлёвой. С течением времени этот чело-
век так сжился с полком, что, подобно дону
Сезару де Базану, составил собою нечто вроде
необходимой полковой принадлежности и
даже самую наружность свою перекроил

несколько на военный лад: ухарски стал заламывать набекрень шапку, закручивать кверху усы и подстригать рыжую бороду – дескать, знай наших! «Ми тозже в вулянагх сшлюзжим».

Следует заметить, что он был хотя и шельмоватый, но, в сущности, хороший жид и по натуре своей довольно благодушный, готовый на услугу, часто вполне бескорыстную, не говоря уже о всегдашней готовности сшить в кредит сюртук или доставить офицерские вещи. Кроме того, Элькес был человек не лишенный некоторого своеобразного остроумия.

Еще в те времена, когда носил офицерам «щигарке и розмаите напитке», доставил он однажды такую мерзкую кислятину белосток-ской фабрикации, что был за нее обруган и назван мошенником. Олькес очень обиделся и в оправдание свое повел такую рачею:

– Ви гхаворитю, мишельник. Ну, гхарасьо. А когхда двоих каралев один другий надуваит, сшто это есть називаетсе? Пальтика? Так. И когхда двоих минисштрув один дру-

гий надувает, сшто это есть называется? Ды-
плиоматия. Ну, и когхда двох энгирал один
другий надуваит, то мы гхаворим, сшто то
есть сшстратегия. Гхарашьо. Так само зж и
двох кипцов один другий надуваит, а ми ув-
сше зжнаим, сшто то есть кимерция. Так. Н-
ну, а когхда одново бьедный еврей на двох сш
палавином кипэикув будит вас надуваит,
сшто это есть называется? Га? Машенство, ма-
зурство, обманство! Ой вай-вай! То таково
правду на сшвету!

У этого человека была совсем особенная,
своеобразная и притом типично еврейская
складка ума и мышления, в чем, собственно,
и выражалась наибольшим образом его
шельмоватость. Так, например, подарил ему
кто-то басни Крылова; они ему чрезвычайно
понравились, и он нередко цитировал их в
разговоре, а некоторые, наиболее им излюб-
ленные, передавал даже наизусть, но совер-
шенно по-своему, подкладывая под них соб-
ственный жидовско-философский смысл. В
особенности любил он басню «Петух и жем-
чужное зерно», которую передавал таким об-
разом:

*Навозжну куцчу разжрывая,
Пьятугх зжнагходил раз зжам-
чужжнаво зжярно
И гхаворит: "Ф-фэ! какво виещь
пусштая!
Сшкудова оно и надо мне оно?"*

– Из таво сшледуваает нравывшенью, сшто гасшпидин пьятугх бил балшой дурак.

Мог ли кто, кроме истого еврея, усвоить и переделать смысл этой басни подобным образом!

Но бывало, когда он особенно уж расходится, почувствовав себя насчет басен в истинном и большом ударе, да если еще при этом пристанут к нему офицеры – расскажи, дескать, самую заветную, – то гасшпидин Элькес начинал обыкновенно рассказывать про то, как «сшлаиы сшланяют», и изображал это так:

"По улицу сшланы сшланяли, как бидто напеказ, а мозже, и до предазжи. Зжвестно, сшто сшланы сшланять есть диковинка у нас. И зжа тыми сшланами по улицу толпи зжевакув гхадили. Гхарасшьо. Хай будит так. И увдругх, сшкудова ни увзжялсе сшпадяко-

гось-то сш падваротню Мошка (з насших). И як забачил Мошка, сшто издесь по улицу сшланы сшланяють, – он и ну лаяцьсе, и ругацьсе из увсшыким галлас, из увсшыким рейвах. Сшкандал!.. И увдругх вигходит наувстречу ему Гершко Шавкин, почтивый человек, и тозже з насших. И як забачил Шавкин, сшто Мошка изделал такова сшкандал, он ему и гхаворит: «Ай, Мошка, Мошка! И когхда зж тебе не сштидно?» – «Ну, а сшто мне будет сштидно?!» – «Ш-ша!.. Сшто тебе будит сштидно? Сшто тебе будит сштидно?! Сшволачь!.. Тибe не сштидно, сшто ти изделал такова галлас, такова рейвах, такова сшкандал, когхда издесь по улицу стланы сшланяють!» А Мошка ему на то: "Зжвините! Ми за тово за сшамово и лаимсе, и ругаимсе, сшто увсшыкий, гхто нас ни забачит, будит напатом сшибе гхаворить: «Аи, Мошка! Зжнатный Мошка! И який он стильный, и який он гхрабрый, и без драку пападал на балсшова зжабияку, изделал таки галлас, таки рейвах, таки сшкандал, когда издесь по улицу „планы сшланяють, азж при сшамом гасшпидин палачмайстер!“ Нравывшенью: гхто з вас, гас-шпида, гхочет бит таки

сшильный и таки гхрабрый, як Мошка з наших, хай тот толке сшибе лайте и ругайте из увсшяким сшкандал на таво сшамово время, як по улицу сшланы сшлаяют, как бидто налеказ, а може, и до предазжи».

И, рассказывая подобным образом крыловские басни, Элькес был вполне убежден, что у Крылова смысл каждой басни точно таков, как в его передаче – «толке зжвините, я зж не могу сшлиово ув сшлиово, а я, конечно, передаю вас з сшваими сшлявами».

Но в особенности – помню я – эта шельмоватая складка и сметка его ума сказались однажды при следующем случае.

В утро одного из июньских дней 1872 года почти все наличное офицерство драгунской и уланской бригад 7-й кавалерийской дивизии, собранных на кампамент при Гродне, отправлялось в Вильну для празднования юбилея 50-летней службы в офицерских чинах почтенного начальника этой дивизии генерал-лейтенанта П.А. Курдюмова.

Гасшпидин Элькес, разумеется, был с нами, пристроясь всеми правдами и неправдами где-то в третьем классе, потому что без него,

как говорится в поговорке, и вода не освятит-ся.

Выехали мы рано, часу в седьмом, с пассажирским поездом и около десяти часов утра были на станции Ландварово – последней перед Вильною. На полпути между этими двумя пунктами есть туннель, где поезд проходит около полуторы минуты в полнейшей темноте, так как ввиду кратковременности подземного движения огонь в вагонах не зажигают. В Ландварове поезд стоит минут пять, не более, и так как на станции существует буфет, то, конечно, туда и направилось большинство офицерства – кто ради кружки пива, кто за бутылкой содовой воды, потому что яркое солнце уже пекло самым исправным образом и в вагонах было душно.

Вышел в буфет в числе прочих и поручик Тарченко. Это был добрый ветрогон, большой руки школьник, всегда веселый и очень изобретательный на разные «смешные шутки», нередко весьма остроумные. Между прочим, он в совершенстве умел подражать местному еврейскому жаргону и подделываться под чужие голоса. Бывало, если в трактире или в

полковом клубе вздумается ему неожиданно представить из другой комнаты кого-нибудь из начальства, то просто Б смущение приводит: не знаешь, Тарченко ли это дурачится или взаправду начальство пришло, – и офицерство на всякий случай начинает застегиваться и подтягиваться.

Вышел он из буфета и стал в нашей группе в тени на платформе, а как раз напротив, в цепи нашего поезда, стоит третьеклассный вагон, одно отделение которого сплошь набито евреями.

На варшавской дороге есть такие вагоны, что делятся на два больших отделения, человек на двадцать каждое.

Стоит Тарченко с папироской в зубах, ехидно улыбаясь чему-то, и бормочет себе под нос:

– Экая прелесть!

– Что такое? В чем видишь ты прелесть? – спросил его кто-то.

– Да как же! Взгляните, пожалуйста! Вот этот «маладова зжидок», что сидит у окна «ув педжак, из ружовым карвателькем» и курит «сшававо щигарке»... «Богх мой!» С каким до-

стоинством он ее курит, и вообще, в самом-то в нем сколько достоинства и какой «гонор»... Необычайно типичен и непременно должен быть «цыбулизированный кимерсант»... Прелесть!.. Люблю!.. Прохлаждается себе у окна «зе щигаркем» и внимания не хочет обращать на тех остальных лапсардыков.

Действительно, облокотясь на открытое окно и с самодовольствием пуская струйки дыма, сидел в еврейском отделении вагона чрезвычайно типичный жидок лет тридцати, в сером пиджаке, в розовом галстуке и в легкой шелковой фуражке, которая, впрочем, как и всякая головная покрывка у евреев, неизбежно сбивалась на затылок.

– Хотите, господа, устрою с ним потеху? – вдруг, словно бы по внезапному вдохновению, предложил Тарченко.

– Потеху? А например?

– Да уж это мое дело! Там увидите... Пойдем к ним в вагон. Только – чур! – влезай, братцы, все гуртом, как раз с третьим звонком, чтобы им некогда было жаловаться кондуктору на тесноту.

– Да ведь душно там, чесноком разит...

– Э, батюшка, на то и жид, чтобы разило. А душно – так и везде ведь душно. Зато потеха будет! Только вот что, – предварил Тарченко, – кто-нибудь из вас пускай сядет рядом с этим самым жидком: коли вежливо попросить, так евреи всегда уступит место, но непременно рядом, и как въедем в туннель, оставь между жидком и собою чуточку места – настолько, чтобы мне можно было лишь ногу поставить на скамейку. В этом пока и все дело.

Ударил третий звонок, и человек шесть офицеров поспешно направились к еврейскому отделению. Один за другим, гурьбою, торопливо вскочили мы в вагон; дверца захлопнулась, раздался сигнальный свисток оберкондуктора, и поезд тронулся.

Набилось нас теперь в этом отделении – как сельдей в бочонке. Впрочем, несколько евреев потеснились, так что рядом с намеченным еврейчиком кое-как нашлось местечко, где и уселся один из наших офицеров, а остальные вместе с Тарченко остались пока стоя. Из всех ближайших к нам сынов Израиля один лишь этот еврейчик-франт продол-

жал сидеть неподвижно и безучастно у своего окошка; только поморщился, изображая на лице неприятное для себя удивление, когда неожиданно привалила в вагон наша ватага, – дескать, вот еще! Только этого нового беспокойства не доставало! И зачем их черт несет сюда?

Тарченко, в накинутой на плечи легкой шинели, стоит избоченясь прямо перед ним и спокойно докуривает папироску. Докурил и вдруг – хлоп слегка по плечу еврея:

– Пусти-ка, любезный, меня сесть.

Еврей передернулся, «амбициозно» повернул к нему лицо, удивленно поднял брови и с неудовольствием процедил сквозь зубы:

– Сшто такова?

– Сесть меня пусти, говорю.

– Зжвините, это маво месшту.

– Да ты видишь, однако, что я стою!

– Н-ну и сшто мне с таво, чи ви сштаитю, чи не стштаитю, когхда я имею сшваво балет?

– И я тоже имею билет. Ты уже сидел довольно, можешь и постоять.

– Зачиво я вам буду сштаять, когхда я гхочу сшидеть?

– Затем, что я прошу тебя уступить мне твое место.

– А когда я вообще не хочу вступать!

– Не хочешь уступать, так я его займу и сам, когда мне вздумается.

– Ну, это мы ищом будим посмотреть.

– А вот и посмотришь, как придет время.

– Эть! – махнул еврейчик рукою. – Аштав-тю мне, пизжалуста! – И он отвернулся к окну и снова засосал свою сигарку.

Поезд мчится все дальше и дальше. Еврейская публика, очевидно, заинтересованная неожиданно начавшимся объяснением, насторожила глаза и уши, ждет, что будет и чем кончится. Проходит еще минут пять. Евреи, однако, видят, что дальнейшего продолжения истории нет, и потому мало-помалу начинают отвлекать свое внимание на другие предметы и возвращаться к своим прежним, на минуту прерванным было разговорам.

– Однако, любезный, пусти же меня сесть, наконец! – снова начинает Тарченко.

Еврейчик настойчиво продолжает смотреть в окошко и, куря, показывает вид, будто вовсе не замечает обращенной к нему фразы.

– Слышишь ли, тебе говорят! Я сесть хочу! – уже несколько настойчивее продолжает Тарченко.

Еврей усиленно старается показать вид, что не обращает на него внимания. Тарченко снова дотрагивается слегка до его плеча.

– Н-ну, и сшто ви до мене чапляетесь! – с досадой огрызнулся тот, наконец-то поворотив голову. – Я вже сшказал маво решенью и болш не зжелаю!

– Да ведь ты видишь, что офицер стоит, ты бы из вежливости...

– Сшто мене с таво, сшто афицер! Зжвините, я и сшам в сшибе таково ээке афицер!.. Я пассажир... Я сшам кипец на второва гильдию з Бялысшток... Ми тозже зжнаим перадок!.. И когхда ви гхочите до мене чаплятьсе, я буду претесштговать... Я претесштую... Зжвините, я претесштую... Я буду, накынец, кандыктор зжвать!

– И я позову кондуктора.

– Я буду писшать ув зжалобнаво кнышка!

– И я в незлобную книгу напишу. Так и напишу, что такой-то купец заставил меня постоять перед собою целую станцию. Вот и бу-

дем вместе писать – ты свое, а я свое. Я тебе скажу мою фамилию, а ты мне свою скажи – познакомимся кстати.

–Зжвините: сшто ви мне увше «ти» да «ти»!.. Мне ищо ув сшвету «ти» не гхаворил... Мне сшам палацмайсштер ув Бялысшток «ти» не гхаворит, сшам гибернатыр не гхаворит... Зжвините! Ми аймеим сшваво бакалейна ляфка, и нас очин дазже даволна зжнают.

И еврей с гордо-недовольным видом опять отворачивается к окошку. Остальная публика снова насторожила уши и начинает шушукаться между собою. Заметно, что она очень недовольна и осторожно, искоса посматривает на офицеров. Между тем амбициозный еврейчик, дабы показать, что он окончательно ни на кого и ни на что не обращает внимания, принимается, глядя в окошко, напевать вполголоса, и притом, кажись, нарочно по-русски, для доказательства нам своей образованности:

*– Толке сштанит ешмаркаться
немнозжка.*

Буду зждать, не дрягнет ли ув

ЗЖВАНОК...

– Господин купец, я вам буду говорить «ВЫ», только пустите меня на ваше место.

Тот продолжает, словно бы и не слышит:

*– Пригхади, маво милый акрошка,
Пригхади, пасшиди вечерок.*

– Господин купец второй гильдии! Я вам предлагаю очень выгодное условие...

*– И я сштану тусшить ва зжерка-
лу свечу,
Ув камин много дрови сшпалю.*

– Но, наконец, черт возьми, это мне надо-
едать начинает!

*– И я сштану сшлюсшить васшо-
во перятеого разжгевору,
Биз катораво я просшита зжить
не в сшасштаяню!*

Как раз в эту самую минуту поезд влетает в туннель. Тарченко, пока еще есть слабый отблеск дневного света, спешно ставит правую ногу на скамейку между поющим еврейчиком и его соседом-офицером, а затем через мгновение нас окончательно облакает тьма

крошечная, в которой, как ни напрягай зрение, ровно ничего не увидишь.

– Так ты не хочешь, черт возьми, уступить мне место?! – вдруг раздается громко и грозно в этой тьме голос Тарченки, заглушающий грохот поезда. – Не хочешь? Не хочешь?! Ну, так вот же тебе! – И вместе с этим словом резко раздается звук, поразительно похожий на пощечину, вслед за которым в тот же миг слышится совершенно еврейский крик, напоминающий голос амбициозного еврейчика:

– Уй!.. Вай-мир!.. Сшто таково?!.. За чиво?!..

– Хлясть! – раздается вторично звук пощечины, и за ним мерно следует ряд подобных же ударов.

Голоса Тарченки не слышать, но зато все громче и громче вслед за каждым ударом раздаются завывающие, неистовые вопли и восклицания еврейского голоса:

– Ой-вай! Ой-вай!.. Претесштую!.. Я не пазжволю!.. Я кипец!..

Кандыктор!.. Кандыкто-о-о-р!!!

– Тарченко! Что ты делаешь!.. Безумный! Перестань, ради Бога! – в смятении и с криком бросились к нему взволнованные това-

рищи, стараясь схватить его руки и оттащить от еврея, как вдруг, к удивлению, замечают, что Тарченко преспокойно стоит на своем месте и только звонко колотит ладонями по колену своей собственной ноги, поставленной на скамейку, причем сам же испускает все эти вопли, в совершенстве переняв не только произношение, но даже самый звук, самый характер голоса именно того еврея, что сидел у окошка. При этой мистификации, мы все разразились невольным хохотом, а между тем в крошечной тьме вагона раздаются все те же вопли:

– Кандыктор!.. Кандыктор!.. Ой, аброх цу мир!.. Гевалт! Гевалт!.. Каравул!.. Ратуйце, Панове! Ратуйце!.. Каравул!!

Но вот поезд вылетел из туннеля, и вагон моментально наполнился ярким светом солнечного утра. Стоит паш Тарченко, как и прежде, избоченясь перед еврейчиком, а еврейчик как ни в чем не бывало продолжает смотреть в окно, любуясь на окружающую природу, и преспокойнейшим образом потягивает «сшваво щигарке».

Но тут все, что было в вагоне еврейского,

все это в ужасе немого негодования поднялось с мест и, любопытно вытянув вперед свои шеи, носы и лица, устремило взоры выпученных глаз на амбициозного жидка и на нашего Тарченку. Между этими всеми гершками, ицками, шмулями, шлиомами, борухами и лайзерами пошел глухой совецательный «галлас», ропот смущения и негодования. А белостокский еврейчик, как будто не замечая всей этой сенсации в среде своих единоплеменников, преспокойно продолжает наслаждаться воздухом и «щигаркем». Наконец один из евреев, похрабрее и поавторитетнее прочих, перегибается корпусом через высокую спинку скамейки и обращается к «потерпевшему» с запросом:

– Мойше! Чи тибє зжбилє?

– Як то? – отрывается еврейчик от окошка, с недоумением похлопывая глазами, словно бы и не понимает, о чем его спрашивают.

– Я казжу, тибє зжбили? – вразумительнее и настойчивее повторяет вопрошающий – дескать, ты пойми, как важен с твоей стороны утвердительный ответ и что из него воследует.

– Мине?! – отрицательно подымает Мойша к лицу свои руки. – Мине?!.. Пфсс! Гхто мине зжбил?

– Як то – гхто? Зжвестно гхто! Афицеры тибе зжбили!

– Афицеры?.. Мине??.. Пфсс!.. Альбо зж я вем?.. То, мозже, они сшами мендзы собой билесе!.. Сгпто я зжнаю!

– Як мендзы собой?.. Як то мендзы собой?! – вдруг загалдело уже несколько еврейских голосов. – Когхда зж ми не сшлюхали зе сшваими угхами?.. Мендзы собой билесе, а по еврейшку кршичали?.. Уй, какова пасшкудства!.. Тибе зжбили, а ти сшам засштупаешесе! А ищо кипец?.. Сшволачь ти, сшволачь! Шлимезальник, шлемигиль, а не кипец!

– Гхто сшволачь? – взбеленился и вскочил, как ошпаренный, амбициозный еврейчик. – Я сшволачь?.. Бусь загст ду ден да цу?.. Бин игх сшволачь?! Бинг игх а-шлемигиль?! Ти мине сшмель при благородным людям таково сшлиова гхаворить!.. Ширлатан! Пасшкудник!.. Голем, шойте, баал-бейс! Шам ти сшволачь! Бала-гуле, хабор!

И между евреями горячо начинается вза-

имная перебранка, которая с каждой минутой разгорается все больше и больше; голоса и мнения разделились: одни вступаются за Мойшу, а другие, раздраженные таким заступничеством, еще с большим азартом нападают и на Мойшу, и на его сторонников; жестукуляция и брань становятся все горячее, все порывистее, все оскорбительнее; слова со всех сторон трещат и сыплются, как горох, – того и гляди, вот-вот сейчас дело дойдет до взаимной баталии между всполошившимися евреями... Офицеры остаются совершенно в стороне, совсем позабытые расходившимися спорщиками, и молча созерцают всю эту историю. Поезд наконец останавливается на Виленской станции – вагонная дверца растворяется, и все эти почтенные гершки, шмульки, шлиомки, а с ними и сам Мойше кубарем выкатываются на платформу, азартно вцепившись друг в друга: кто в бороду, кто в пейсы, кто за шиворот, – гвалт и галлас между ними ужасный; навалились они все друг на друга в одну общую кучу и барахтаются в ней между собою, тузя один другого чем и как попало и уже не разбирая, кто за кого и кому от кого

достаётся в этой ожесточенной трепке... Жандармы кидаются разнимать жидовскую свалку. Тут же откуда ни возьмись и наш господин Элькес: успел прибежать на шум из какого-то дальнего вагона и, пронырливо тыча свой нос туда и сюда, допытывается у офицеров:

– Сшто такова? Сшто сшлючилосе?.. Какова делу? Зачиво такова сшкандал?

– Ладно, – говорят ему, – узнаешь после. Потом расскажем. Беги лучше нанимай извозчиков, пока другие не расхватали.

Приезжаем в Европейскую гостиницу, что на Немецкой улице, где надо было всем нам поскорее переодеться в полную парадную форму, чтобы ехать на квартиру начальника дивизии с поздравлением. Элькесу при этом, конечно, немало работы: тому лядунку пригнать, этому этишкет укоротить, здесь подшить, там приметать; но, несмотря на полные руки работы, никак не может он заняться своим делом как следует: все беспокоит его любопытство узнать, что такое случилось у евреев на платформе. Из-за чего это они подняли между собой «такова балсшова драку и

гхто был найпервсший и найболсший зжаби-
яку»?

Рассказали мы ему наконец, в чем дело и что за причина.

Элькес только головою тряхнул далеко не одобрительным образом.

– Этаво и зжначит, заувешем вигходит по сшсправедливосшту, сшто он достал сшибе такова тукманке, – высказался наконец наш «первилегированный» портной, – бо так ему и надо!..

– Это почему «так надо»? – с удивлением спросили мы Элькеса.

– Бо он, зжвините мне, а толке я так сшабе думаю, сшто он ув сшамово делу не еврей, а сшволачь. Бо каб он был правдзивый еврей, он би изделал не так!.. Ниет! Он би изделал заувсшем не так!

– А как же, по-твоему, следовало ему сделать? Как бы ты сам поступил на его месте?

– Ого!.. Каб я бил на его месшту, я би... Тц!.. Я би, зжвините, изделал от так: як тыи еврей сшпытали ув мне: «Мойте, чи тебе зжбили?» – то я би адвечал: «Так, мне зжбили». Н-ну, а и сшто напатом?..Напатом зайчас палы-

чия, жиндарми, претакол – сштолке сшвидетелюв, зайчас до маравая сшюдья, зайчас цалый гисшториум, сшкандал, сшлюд, публичне разгеворы, гизжеты, карресшпанденцы – уй, вай! Хай им черт!.. Тут такова гисштория – а вам тым часом надо на юбалей, до начельных дывизиум, и тамзже увсше началсштво, сшам энгирал-гибернатыр, банкет из музикаум, а у вас издес такова сшкандал!.. Богмой!.. Зачиво сшкандал? Затаво, сшто Мойша сказал: «Так, мине зжибили». Н-ну, и скажись мине сшами, па сшовествд: сшколке ви давали би мине адсштупнова, сшто би я замирилсе из вами? Когхда зж би ви сшами не увпрасшивали мине, сшто б я бил такой добрый, такой велькодусшний?!.. Га?.. Н-ну, и я би замирилсе из вами на пятыпот рубли!.. И ви би мине зараз атдавали тых пятыдот рубли, тай ищо гхаворили би сшибе – сшлявы Богху, сшто толке пятышот, а не цалаво тисшычу!.. От то би бил гхаросший гешэфт!.. И каб тей еврей изделал из вами так, то я би гховорил, сшто то есть правдзивый еврей, а таперички я гхавору, сшто то не еврей и не кипец, а сшволачь!

– А ведь Элькес прав, шельма! – невольно согласились мы между собой. – И догадайся тот жидок поступить таким образом – хороши бы мы были ради юбилея!

– Дазже очин давольна гхаросши! – подтвердил торжествующий Элькес.

– Не радуйся, любезный! И тебе не сладко было бы, как на весь ваш кагал пошла бы слава, что ты купец с битою мордой.

– Зжвините, а гхде сшиняки? Сшиняки ниету! И як толке би я заполучил од вас тых пятьсшот рубли, я би зараз увсем адкрывал увесь закрет, как било настояцаво делу и каково гхаросшаго гешефт я сшибе изделал! Недаром зже ви сшами гховоритю, сшто маво таково тытул: «Гасшпидин Элькес – первилегированный портной-плут и кавалер з ордена Шельмы»!

5. Мадам Хайка

В ряду силуэтов разных сыновей и дочерей Израиля, мелькающих в цепи моих воспоминаний, один наиболее светлый и симпатичный образ встает передо мною – при имени Хайки Пикóвой. Это была добрая, хорошая, честная женщина. Мир ее праху!

Хайка Пикóва – старуха за пятьдесят лет, бездетная вдова прогоревшего купца-обывателя Лейзера Пик – существовала лишь тем, что успевала зарабатывать себе около наших офицеров. Она поставляла нам чай, сахар и вина, мыло, полотна, папиросы и т. п. и во всех своих поставках постоянно была настолько добросовестна, что поневоле приучила все наше офицерство обращаться исключительно к себе за всеми подобными требованиями. У нее не было своей собственной лавки; она забирала продукты своей «кимерции» у других торговцев; но ни один из торговцев не отважился бы отпустить Хайке на комиссию плохой или залежалый товар, потому что Хайку ни на том, ни на другом не надуешь: сама купчихой была! А так как обороты тор-

говцев с полком, то есть, собственно, с кружком офицеров и юнкеров, происходили почти исключительно через Хайку, то подсовывать ей плохой товар не было и расчета: брать перестанет, к другим обратится. И вот таким-то образом тот маленький процент, который уделяли ей с одной стороны торговцы за комиссию и с другой – офицеры за кредит, составлял единственный источник ее существования. Если господину Элькесу пришлось уступить ей поле этого рода деятельности, то только потому, что Хайка победила его своей безусловной честностью: продукт, как уже сказано, всегда был у нее надлежащего достоинства, цена настоящая, не дутая, и при этом никогда ни малейшей приписки в счетах несмотря на то, что иногда приходилось забирать у Хайки в кредит по нескольку месяцев кряду. Но, сверх всего, наша Хайка отличалась и еще одним, чрезвычайно редким, почти неслыханным (в особенности между еврейками) достоинством: она никогда не приставала и не надоедала с требованием уплаты по счетам. «Зачэм?.. Увсше равно, будут деньгу, будут заплатить и Хайке!» И не было в

полку примера, чтобы у кого-нибудь вышли с Хайкой недоразумения в расчетах или чтобы Хайка осталась кем-нибудь недовольна. Получит офицер жалованье или деньги из дому – первая уплата, конечно, Хайке: «На, мол, мадам! За твое терпение ты первая и получаешь!»

Подобно Элькесу, и она каждое утро обтекала офицерские квартиры, но не ради сплетен и новостей, а единственно затем лишь, чтобы справиться, есть ли еще у офицера табак или свечи и не нужно ли ему чего доставить. Впрочем, ее комиссионерские услуги ограничивались только вышперечисленными предметами офицерского обихода. Хайка вообще была женщина безукоризненно строгих нравственных правил, и предложение иных услуг, хотя бы даже вроде того, чтобы свести офицера с займодавцем-процентщиком, считала недостойным себя, своих лет и своего вдовьего достоинства.

Вскоре мы все так привыкли к нашей старой Хайке, что она тоже вошла в цикл полковых приживалок, сроднилась со всеми нашими интересами и стала в своем роде полко-

вою необходимостью. Поэтому она даже не без гордости заявляла, что тоже служит в уланах и что, хотя на каждом «кимпаменту» ей неоднократно предлагают посторонние офицеры «перегходить ув пэгхота, ув драгоны и ув артылериум», она всем родам оружия и всему офицерству на свете предпочитает «наших вулянов», «за таво сшто як я взже одразу начала сшлюзжить ув вулянагх, то гхочу азж до сшамово сшмертю у в адин полк асштаваться».

Нередко она жаловалась на свою недужность, на то, что «стала взже сшлябая на ждаровью», и, вспоминая о близкой смерти, очень желала только одного: чтобы ее похоронили наши уланы – непременно уланы и непременно «из музикум», – «сштоби як понесут мне, то сштоби музыка вуляньска грала мареш-фунебр, болш таво я ничево не сжалею!» В том, чтобы быть похороненной с музыкой, заключалась, кажись, единственная суетность, единственное честолюбие Хайки.

Иногда офицеры делали ей маленькие сюрпризы и подарки. Едет, например, кто-нибудь в отпуск.

– Ну, мадам, какого тебе гостинцу привезти из Питера?

– Ой, благодарю вам! Мне зже ничиво не надо!

– Да ты не стесняйся, говори прямо, чего желаешь.

– Н-ну, и сшто я зжнаю!.. Як ви взже такой добрый до мене, то первизить сшто зжнаитю. Я за увсшиво буду довольная.

– Ладно!.. Ожидай, значит, подарка.

И привезут ей, бывало, какой-нибудь шерстяной материи на платье, или сережки из оникса, или платок ковровый – и Хайка просто на седьмом небе от восторга, потому что любила она и пофрантить, и одеваться чисто, а скудных средств ее между тем едва лишь на крохи хлеба да на селедку с цыбулькой хватало.

Но более всего угодить ей довелось мне, когда однажды, согласно ее заветной мечте, привез я ей в подарок новый парик из Петербурга. До тех пор она, как добрая старозаконная еврейка, за неимением парика прятала свои седые волосы под старенькую накладку из порыжелого от лет, некогда черного атла-

са, с прошитою посередине бороздкой пробора, и поверх этой накладки натягивала тюлевый чепец с широкими бантами и пунцовыми розами. Но парик – настоящий «петербургский» парик, из настоящих женских волос – это такая роскошь и такой неожиданный сюрприз, что Хайка просто глазам своим не поверила, когда я открыл перед ней парикмахерскую коробку.

– Богх мой! Это толке сшин матеру, альбо зжанигх невиесшту может изделать такова дригаценнаво педарок!

На следующее утро она явилась ко мне уже в моем парике и даже в нарочно обновленном чепце, с розами и бантами еще более яркими и пышными.

– Н-ну! Типеричка я взже заувсшем настоящий, как есть, гхаросший кипеческий мадам, и мне взже не будет ув сштид пайти ув сшабаш на шпацер до Сшадовой улицу.

Этот подарок я сделал ей в знак благодарности за ее участие ко мне по следующему поводу. Однажды, возвращаясь с эскадромом с зимних квартир по весенней распутице, схватил я себе сильную горячку и в первый же

день по прибытии в штаб должен был слечь в постель. Несколько суток пролежал я в забытьи, но в те мгновения, когда ко мне возвращалось слабое сознание, замечал я, что у моей постели сидит кто-то посторонний, какая-то женщина, которой большей частью я не узнавал, и только порою казалось мне, будто это Хайка. Когда же перелом болезни совершился и я, проснувшись от продолжительного оживляющего сна, окончательно пришел в себя – первое, что бросилось мне в глаза, был чепец с пунцовыми розами. Передо мною в кресле действительно сидела наша Хайка с каким-то вязаньем в руках. Оказалось, что она доброхотно явилась сиделкой ко мне, совершенно одинокому, и, чередуясь с денщиком, ухаживала за мною по целым дням во все тяжелое время моей болезни. Черта такого бескорыстного, великодушного добросердечия поневоле заставила меня еще более полюбить эту добрую старуху. Я было предложил ей вознаграждение за ее труд и время, непроизводительное потерянное у моей постели, но Хайка, несмотря на всю свою бедность и нужду, наотрез отказалась от де-

нег и даже отчасти обиделась на меня за такое предложение:

– Сшто я вам – догхтур, чи сшто?!

Чем же после этого молено было отблагодарить ее, как не тем, чтобы исполнить давнишнее, самое заветное ее желание иметь хороший парик – вещь, по цене своей окончательно для нее недоступную?

Случай со мною был далеко не исключительным примером Хайкиного сердоболия. Сколько раз бывало, что заболевает серьезно одинокий офицер, в особенности же молодой юнкер, – Хайка без всякого зова и приглашения является к нему доброхотною и бескорыстною сиделкой: «Бо каб у него матка была, то матка бы сидела, а как нема матки, хто жж его пожалуе?!» Кроме всех своих достоинств это была женщина веселая, спокойная, всегда безропотно покорная своей доле, даже довольная своею судьбою, несмотря на то что эта судьба далеко ее не баловала. С Хайкою приятно было подчас и побеседовать, потому что она была старуха умная, рассудительная, видевшая на своем веку многое и из всех житейских передряг успевшая какими-то судь-

бами вынести и сохранить в себе светлый взгляд на жизнь и ясное душевное спокойствие. Одинокая, бездетная старуха, не нашедшая в своей среде особенного уважения и участия именно вследствие своего неплодия (что у евреев вообще почитается за большой порок), Хайка, кажись, всю любовь своей души перенесла на наш полк, гордилась его успехами на смотрах и парадах, радовалась его радостям, сочувствовала его печалям. За такую привязанность к полку на нее даже косились многие из евреев; но в особенности целая буря недовольства со стороны всего местного кагала разразилась однажды над неповинною головою бедной старухи по следующему случаю.

Осенью 1871 года проявилась в городе холера, которая вырывала свои жертвы преимущественно из еврейской среды, живущей в тех краях, за редкими исключениями, крайне бедно, грязно и скученно. Евреи вообще суеверны и не любят называть какую бы то ни было эпидемическую болезнь ее настоящим именем; а при необходимости в разговоре всегда стараются упомянуть о ней как-нибудь

иносказательно, опасаясь, что в противном случае – чуть лишь произнесешь точное название болезни – она тут как тут, непременно к тебе и пристанет. Зная этот суеверный пред-
рассудок, молодые офицеры подчас, бывало, нарочно спрашивают у знакомых евреев:

– Отчего у вас умер такой-то?

Еврей на это всегда ответит:

– Так... От гхудова хворобы.

– От какой же именно? Что это за худая хвороба? – пристают офицеры.

– Ну, и вы сшзми жзнаитю. Сшто я вам буду гхаворить!

– Да нет, однако как она называется, эта ваша хвороба, от которой умер такой-то?

– Ну, жизвестно, досталь сшибе и отсюда, и оттуда – понимаетю? – неохотно ответит наконец еврей, указывая надлежащим пояснительным жестом себе на рот и на заднюю прореху фалд своего сюртука, и поспешит переменить тему разговора.

Когда же холера усилилась до довольно значительной степени, так что евреи стали умирать ежедневно десятками, то какой-то святой цадик-талмудист, к которому обрати-

лись они за советом, уверил их, что для прекращения смертности в собственно еврейской среде надо сделать «отвод» болезни на какую-либо иную среду, на «гойев», и для этого необходимо-де исполнить особый обряд такого рода: нанять какого-нибудь человека из нееврейской среды (это *conditio sine qua non*) [40] и поставить его на некоторое, хотя бы самое короткое, время сторожем у ворот еврейского кладбища, с тем чтобы он встретил на своем посту первого еврейского покойника, какого принесут к ограде. При этом похоронная процессия, остановясь в нескольких шагах перед воротами, должна спросить у сторожа, есть ли еще место на кладбище, на что сторож должен ответить, что мест уже более нет – все, мол, заняты, все кладбище сплошь захоронено, ни одной пяди земли свободной не имеется, – стало быть, не трудитесь умирать, потому что и хоронить вас больше негде. Евреи, однако, несмотря на уверения сторожа, должны упрашивать его пропустить их лишь на этот раз, в виде исключения, захоронить только одного – всего лишь одного покойника, что это у них уже последний, а боль-

ше ни одного из евреев, умершего от худой хворобы, не будет, в чем они дают все торжественную клятву. Сторож все-таки обязан отказывать, и вот тогда-то участвующие в похоронной процессии, отстранив сторожа, якобы силою растворяют ворота и врываются с покойником на кладбище. После этого обряда, удачно совершенного, холера непременно должна-де прекратиться между евреями и перейти на ту среду, к которой принадлежит сторож.

Между тем умерла одна богатая купчиха, приходившаяся как-то сродни нашей Хайке. Видят евреи, что дело совсем уже плохо, что худая хвороба из лачуг начинает забираться в хоромы, и решили, что надо наконец безотлагательно сделать отвод болезни. Вследствие этого кагальные старшины вздумали возложить на Хайку, как на родственницу покойной, особую миссию: ты, дескать, всех улан доподлинно знаешь, у тебя есть знакомые и между солдатами, принайми-ка одного из них сыграть роль сторожа к похоронам твоей родственницы. Хайка сообразила, что в таком случае худая хвороба перейдет на улан, и по-

тому отказалась от предлагаемой миссии. Взъелись на нее за это старшины: ты, мол, не хочешь оттого, что сама в уланах служишь, около них всякий трэф и сама стала трэфная [41]. Хайка не на шутку оскорбилась этим последним эпитетом и посчиталась со старшинами. Те решили между собою оставить ее в покое – «Цур ей и пек ей! Хай ей черт!» – и обратиться помимо нее к солдатам.

В это время в карауле при штабе находился 2-й эскадрон, расположенный в пяти верстах от города в деревне Грандичи, куда дорога лежит как раз мимо еврейского кладбища.

Пошли старшины на базар подыскивать подходящего для их цели человека и попали там на улана Вахрушова, отпущенного в город за покупками. Обратились к нему: тебе, милый человек, все равно-де надо в эскадрон, в Грандичи, возвращаться, так заодно уже постой-ка сторожем у нашего кладбища, пока мы похороним нашу покойницу; это нужно-де нам для большого почета; мы тебя научим заранее, что говорить и как отвечать на наши вопросы, а ты за свою услугу хорошо заработаешь себе на водку. Таким-то образом

сторговались они с Вахрушовым за пять злотых [42], дали ему в задаток два злотых да еще крючок водки ради наибольшего поощрения к усердию в исполнении роли сторожа и затем, внушив ему все, что следует, отправили его к кладбищу, а сами поспешили к покойнице – поторопить ее вынос.

Вахрушов был малый не промах, солдатик себе на уме, и притом отчасти плутоватый. Идучи к кладбищу, завернул он по пути в шинок, выпил еще водки на полученные два злотых и пришел в веселое расположение духа. Стал он у кладбищенских ворот и думает про себя: «Зачем это вдруг жидам сторож здесь понадобился? Никогда такого случая еще не бывало... Что-нибудь неспроста!.. И отдадут ли они остальные три злотых или понададут?.. Вернее, что понададут... А может, и нет?»

И домой-то хочется солдату да и трех злотых упустить не желает – все же надежда мелькает ему такая, что авось и не надают. Только вот притча: зачем это вдруг им сторож понадобился? «Понададут ли там, нет ли, а лучше пока что понадаю-ка я сам жигов!..

Так-то дело, кажись, вернее будет – авось либо и больше заплатят!..» Ходит он себе у ворот, а самого даже смех разбирает – в жидовские, мол, сторожа нанялся и должен уверять, что ни одного места нет на кладбище!

Только вот, пока он так себе размышляет, из города быстрым шагом валит уже еврейская гурьба, среди которой высятся носилки с покойницей. Подходит процессия к кладбищу и останавливается в десяти шагах перед воротами.

– А што? Чи есть ищо миесту на кейвер?

Вахрушова словно лукавый подтолкнул – еще веселей ему стало, и махнул он рукой на свою обязанность.

– Есть! Есть! – говорит. – Много есть еще! Ступайте все! Не токма что про всех вас хватит, а еще и детям, и внукам, и правнукам вашим вдосталь останется.

Можете себе представить, какой панический переполох произошел между евреями, какой «гевалт», какие «ваймиры» завопили они всем кагалом, в каком ужасе заметались во все стороны!..

А Вахрушов при этом сам еще предупреди-

тельно растворяет настежь ворота и приглашает:

– Пожалуйте! Милости просим!

В ярость пришли евреи, подскочили к нему с воплями, с ругательствами, с кулаками, а плут солдат и глазом не моргнет, только предостерегает внушительным образом наиболее завзятых:

– Вы, братцы, того... полегче, не балуй!.. А то ведь у меня при себе – сами видите: и пистолет в кобуре, и сабля вострая... Вам же нехорошо будет, как выну.

Вмешались в дело габаи и галеры – старшины и члены погребального братства Хевро: одни отстранили разъярившуюся кучку, другие взмолились к солдату – скажи, мол, Бога ради, что нет уже ни одного места!

А тот им на это:

– Как можно, чтобы местов не было, коли есть еще звона сколько!

– Ну, гхарасшо! Нехай там есть, а ти сказжи, сшто ниету! Закрой сшибе глязи, сштоби тебе не видно било, и сказжи: ниету!

– Зачем же, милый человек, мне врать?.. Я, брат, солдат, я присягу принимал служить ве-

рою и правдою, так как могу я опосле того говорить неправду – сам посуди ты!

Приступают к нему хором уже все сопровождавшие покойницу, евреи и еврейки: скажи, да скажи!

– Ну, и что тебе стоит? Ты же ведь подрядился!

– Мало ли что подрядился! Да коли подряд-то невыгоден! Этое дело не пяти золотых стоит.

– Ну, гхарасшо! Бери болш, бери, сшто гхочишь, толке сказжи нам как сшледуваит!

– Давайте сто рублей, так скажу, а меньше – ни копейки! Не моги и думать!

Стали евреи совещаться между собой – как быть при таком прискорбном и скандальном случае. Иные, из наиболее суеверных, предлагали было – уж куда ни шло! – собрать в складчину сто рублей, как вдруг один «шейне-морейне» – «мондра глова» из старшин-талмудистов и казуистов – «додумал», что не только ста рублей, но и обещанных трех золотых давать не следует, ибо теперь, что ни дай ему, все будет напрасно, так как условная процедура самого обряда уже нару-

шена, скандал произведен, – значит, чудодейственная сила отвода хворобы потеряна, и даже самое погребение покойницы не может состояться, пока не приищут нового сторожа, потому что если похоронить ее сразу после такого скандала, после такого зазорного приглашения всех евреев со чадами и дальнейшим потомством пожаловать на кладбище, на готовые места, то худая хвороба так пойдет косить, «сшто ми увсше, до сшами последний еврей, як мутки, издегхнем».

Решили на общем совете, что надо нести покойницу назад в город я постараться как можно скорее принанять другого, более подходящего сторожа. Сказано – сделано. Подняли опять носилки на плечи и повалили гурьбой обратно. Только вдруг – опять нежданная беда! – полиция не впускает их в город: «Нельзя – холерный покойник». О, в какой же ужас, в какое отчаяние и бешенство пришли злосчастные евреи! Хочешь не хочешь – пришлось не только повернуть к кладбищу и похоронить купчиху без спасительного обряда, но еще возвращаться домой под гнетущим суеверным убеждением, что теперь уже все

кончено, ничего не доделаешь и через проклятого гойя-солдата весь гродненский Израиль «издегхнет» до единого!

Но тут как-то сам собой явился вопрос: кто виноват в таком обороте дела? Кто подучил солдата? Ибо не может быть, чтобы солдат не был подучен, чтобы он сам, своею собственной головой «додумал» сыграть такую злостную шутку! Ему наверное был открыт тайный смысл и значение обряда! Кто, как и когда открыл его?

При решении этой задачи кому-то из габаев приди вдруг на ум имя Хайки Пиковой. Это она виновата – она, и никто больше! Она подучила солдата! Она, вероятно, успела перенять его на пути к кладбищу и: сообщила настоящую суть дела! И это так естественно; она знает с уланами, она через них и сама стала трэфная – кто ж, как не Хайка?! «Хайка, Хайка, одна лишь Хайка Пикова всему начало и первая причина!» – хором завопили все – и стар, и млад, и мужчины, и женщины. И вот обрушилась на бедную старуху злоба всего кагала.

Прибегает она к нам в великом горе, вся в

слезах и рассказывает, что кагал хочет наложить на нее херим [43], что теперь она должна погибнуть с голоду, потому что каждому доброму еврею будет запрещено с нею знаться как с оскверненной, отверженной женщиной, что теперь ни одна лавка не отпустит ей товару ни в кредит, ни даже за наличные деньги и потому ей уже нечем будет снабжать офицеров, а остается разве с моста да в воду!

Принялись мы, как смогли и сумели, утешать несчастную старуху, говорили, что, что бы там ни было, мы ее во всяком случае не оставим без крова, хлеба и покровительства, постараемся разъяснить все дело, обратимся к губернатору и через него к штатному раввину – все напрасно! Хайка была безутешна! Нет, раз кагал наложил херим, никакой в мире губернатор ничем не поможет!

К счастью, наступила холодная сухая погода, пошли легкие морозцы – и благодаря кое-каким санитарным мерам холера, достигнув, по-видимому, своего зенита, вдруг оборвалась сразу и прекратилась спустя несколько дней после злосчастного для Хайки приключения с

Вахрушовым. Благодаря этому счастливому обороту дела, а также и ходатайству у штатного раввина с неповинной старухи был снят общественный херим, и она вновь получила возможность, как и прежде, поставлять нам чай и сахар, табак и вино, мыло, белье и свечи.

Спустя несколько лет полк получил предписание выступить на новые квартиры – к австрийской границе, причем место стоянки полковому штабу указано было в невозможном городе Пинчов Келецкой губернии. Это обстоятельство захватило Хайку Пикову совершенно врасплох. Выступить одновременно с полком она не могла – помехой были разные делишки и долги по забранному товару в лавках: надо было рассчитаться, продать кое-какое имущество, выхлопотать увольнительное свидетельство, паспорт и т. п. Все это должно было задержать Хайку недели на три по крайней мере. Полк между тем ушел, а с ним отправился и «первилегированный портной» Мойша Элькес, имевший настолько средств, чтобы разом покончить все свои дела в Гродно. Итак, Хайка осталась одна. Хлопоты

ее с увольнительным свидетельством как-то затянулись не в меру долго. Рассчитавшись на полученные от офицеров деньги со всеми долгами, она продала кое-какие свои крохи, но – увы! – денег, вырученных от продажи, оказалось крайне недостаточно на путешествие в Келецкую губернию. Пришлось, что называется, засесть у моря и ждать погоды. Между тем нужда с каждым днем подступала все круче и круче: гешефты по поставке чая и свеч офицерам новой части, пришедшей на смену нашему полку, окончательно не удались, потому что у этих офицеров явились другие, более бойкие и юркие поставщики и поставщицы. Напала на Хайку тоска – и раздумья о бесполезности поездки в Пинчов, где, конечно, давно уже нашлись свои, пинчовские Хайки, все чаще и чаще приходили ей в голову. Стала бедная старуха грустить и хиреть все больше и больше... Явилась апатия, опустились руки, а с этим сильно опустилась и сама Хайка, постарела, сделалась уже взаправду «шлябая на ждаровью», и вот спустя несколько месяцев в полк дошло известие, что она скончалась.

Так и не довелось бедной Хайке быть погребенной под звуки уланской музыки, хотя она и служила весь век свой в уланах.

Будь ей земля легка! Мир ее праху!

VII. Буянов – мой сосед

Так звали в N-ском уланском полку одного офицера. Фамилия у него была лихая, лошадь лихая, и сам он был тоже лихой. Но по фамилии, несмотря на собственную ее лихость, его никто не называл: все обходились одним только, так сказать, псевдонимом. Неизвестно кто, как и когда окрестил его Буяновым, но кличка столь пришлась по шерсти и так была типично характерна, что вполне заменила ему собственную фамилию, которую, наконец, вследствие долгого неупотребления он и сам даже успел предать полному забвению и однажды на рапорте полковому командиру взял да и подмахнул с форсистым росчерком: «Корнет Буянов».

И точно, это был лихой корнет Буянов...

Он был в своем роде последним из моги-кан, остатки которых еще там и сям встречаются иногда в нашей армейской кавалерии. Тип – буйный, но достолюбезный.

В то время когда мне довелось впервые узнать корнета Буянова, ему было уже года тридцать три, а может, и побольше; и в эти

солидные годы он все еще сидел в корнетском чине; а почему оно так случилось, я расскажу немного погодя.

Представьте вы себе мужчину – несколько выше, чем среднего роста, плечистого, плотно сколоченного, с кавалерийскими ногами, постав которых сразу обличал именно въевшуюся в плоть и кровь привычку к лошади. После этого представьте себе открытый и смелый взгляд очень добрых серых глаз и длинейшие русые усы, которые два с половиной раза можно обмотать вокруг уха или связать в бант на макушке, подобно тому как завязываются тесемки ночного чепца; представьте себе все это – и вот вам будет верный портрет корнета Аполлона Буянова.

Жиды его боялись, но любили.

Я потому упомянул о жидях почти на первом плане, что трудно представить себе какую-нибудь кавалерийскую стоянку без жидов, так как кавалерия у нас разбросана преимущественно по западным и южным окраинам России, которые, как известно, преизобилуют еврейским населением, играющим весьма существенную роль в условиях домашней

жизни каждого полка и каждой воинской части.

Спросите в месте стоянки полка любого еврея – знает ли он корнета Буянова?

– Ой-вай! – ответит вам, взявшись за пейсики и потряхивая головой, сын Израиля. – А гхто зж егхо не зжнае? Егхо не мозжна не зжнаць!

– Почему же не можно?

– А так есть. Бо он дает сшибе зжнаць! И з керманом, и з голосом дает... бо он такой сштрашный – ай-ай, який сштраш-ный!.. Але зже он хоць и сштрашный, а толке он наиправдзивый барон (барин).

– Что ж он – бьет вас, что ли?

– Ой, ниет! Как зже-зж то так мозжна, ажебы биць!.. Биць не бие, а толке вид в егхо такий сштрашный!.. Отчен сштрашный!

– А вы его боитесь?

– Ну, так!.. А як зже-зж не бояцьсше? Бо не мозжна не бояцьсше; бо егхо и сшторонне началство якое боицьсше; але зж ми егхо и любим, бо он до жидкув отчен добрый, и як толке ув егхо деньги есть, то от егхо бальной гандель можно зробиць: он тогхда увсше наки-

пает – шьто и не нужно, а накипает. Как есть, настоящий барон!

Такова-то характеристика Буянова, которую вы можете услышать из уст израильских.

И солдаты любили его, потому что он был прост с солдатом: не форсил перед ним, не барничал и в то же время не панибратничал, но держал себя совсем просто, как следует хорошему офицеру. А солдаты в особенности любят и ценят именно такую простоту, потому что их трудно удивить каким-нибудь штукарством или фокусничеством: они, во-первых, всякие виды видали, а во-вторых, какой-то нюх, чутье какое-то на этот счет есть у них, с помощью которого они инстинктивно и почти всегда сразу угадывают суть человека; в искренней же простоте им видится и чувствуется человеческое отношение к их брату. «Он простой» или «Аны простые», – говорили солдаты про корнета Буянова и это была чуть ли не лучшая из его характеристик.

Есть на свете люди, пользующиеся блаженной привилегией полного одиночества: ни впереди, ни позади, ни по сторонам – ни-

кого нет у них родных или близких, по которым бы сердце болело или существование которых вызывало бы думы и заботы в голове человека. Нет у него никого и ничего; стоит он себе в жизни, как вежа в поле, один-одинешенек, беззаботно, беспечально: день да ночь – сутки прочь, и слава Создателю милостивому! Сломит вежу бурей – начальство новую поставит; сломит одинокого человека житейскою грозой-непогодой – никто, по крайней мере, по нем хныкать не станет. А одно уже это, что некому по тебе плакать, скорбеть и сетовать, ей-богу, есть великое преимущество и утешение в жизни. Уж одно только это сознание может делать человека счастливым, беззаботным, довольным своей долей или по крайней мере равнодушным к собственной судьбе, какова бы она ни была. Положение, которому от души можно позавидовать; и этим-то положением полного бобыля, этой счастливой привилегией полного сиротства вполне пользовался корнет Буянов.

Но... свойства человеческой природы таковы, что человеку все-таки невозможно прожить всю жизнь на белом свете без привязан-

ности к чему бы то ни было. Старая барышня, не нашедшая смолоду мужа, не знающая, что такое значит быть матерью, и не имеющая в жизни ни близких, ни родных, на кого она бы могла изливать запас чувств своего женского сердца, привязывается наконец к какой-нибудь собачонке, к коту, канарейке. Привязываются иногда одинокие люди к деньгам, к редким книгам, к хорошим картинам, к старым вещам, да и мало ли к чему еще! И эти страсти заменяют им более или менее потребность в привязанности к чему-то более живому, высшему – к чему-то родному и близкому, чем мог бы быть для них только живой человек и чего именно судьба-то и лишила их в жизни.

Но между людьми, обрекшими себя на житейское бобыльничество, есть натуры, которые не могут удовлетворяться привязанностями только этого рода. Это натуры более широкие и живые, более тонкие и чуткие на жизнь, для которых поэтому и привязанности нужны к чему-нибудь более живому – к чему-нибудь такому, что являло бы в себе для бобыля нечто вроде живого, одухотворенного

организма, заключало бы в себе известного рода мысль, идею, имело бы свое нравственное значение.

И вот таким-то именно нечто и являются в жизни для бобылей по преимуществу два предмета: монастырь и полк.

Быть может, иному из читателей покажется несколько странным такое сопоставление. Монастырь и полк – что же тут общего? Казалось бы, ровно ничего нет и быть не может. Но это только кажется. Стоит взглядеться немножко попристальней, поближе – и казаться перестанет.

Общее, во-первых, то, что как монастырь, так и полк, представляя собою один строго замкнутую в себе общину религиозно-духовную, другой – тоже в немалой степени замкнутую в себе же общину военную, являются, каждый сам по себе, чем-то вроде отдельного, самостоятельного живого, одухотворенного организма, представляют собой как бы отдельное собирательное лицо, имеющее свой смысл, идею, назначение, свое призвание, свою жизнь, свои типические особенности, свой характер, свою физиономию, свой-

ственную только ему и во многом непохожую даже на другие физиономии того же самого рода. Эти-то исключительные особенности и служат причиной того, что человек всей душой привязывается именно к такому-то монастырю или к такому-то полку. Но этим еще не ограничивается общее между тем и другим. И там, и здесь известная горсть людей случаев или обстоятельствами стягивается в один тесный кружок, который держится кроме дисциплины еще и общностью симпатий и интересов не исключительно материально-го свойства. И там, и здесь течение жизни обусловлено известного рода правилами и законами, за которые перешагнуть невозможно, оставаясь вполне верным своему назначению. Под влиянием особенностей такой жизни складывается иногда свой особый круг понятий и убеждений. Тут есть свои уставы, строгие и сурово-неуклонные, свои обычаи и нравы, свое общественное мнение, свой *point d'honneur*, свой суд, своя круговая порука...

Надевая монашескую рясу или военный полковой мундир, человек как-то невольно начинает чувствовать себя иным, несколько

отрешенным от остального мира. Между ним и этим остальным миром словно бы ложится какая-то очень тонкая разграничительная черта: тут вот, мол, я и та небольшая община, с ее уставами и жизнью, к которой я принадлежу прежде всего и больше всего; а там, за этой чертой, там остальной уже мир и вся жизнь остальная. Я могу сочувствовать той жизни и ее интересам, ее движению, ее стремлениям, но все-таки для меня на первом плане будут стоять интересы избранной мною общины, которые, пока я честно принадлежу этой общине, будут для меня наиболее родными, наиболее близкими моему сердцу.

И монастырь, и полк представляют для бобыля более или менее прочное убежище, пристанище мирное и тихое, в которое человек может уйти и спрятаться, как улитка в свою скорлупку. А эта возможность спрятаться в свою скорлупку, не переставая в то же время жить своеобразной и полной жизнью, и притом такой жизнью, какая тебе наиболее по сердцу, – эта возможность, говорю я, – особенно для человека, нравственно измученного

той жизнью, которая кипит там, за тонкою разграничивающей чертой, – есть уже великое и драгоценное преимущество. И вот поэтому-то бобыль тихого и мирного характера, с склонностью к жизни спокойной, созерцательной, зачастую в конце концов шагает через разграничивающую черту и надевает на себя монашескую рясу, а человек более живого, более деятельного и энергичного нрава едва ли не удобнее всего распорядится собой, если изберет для себя жизнь полковую, буде только у него есть к этому делу некоторое призвание. В этой последней жизни бобыль всецело сохранит все преимущества, все золотые выгоды своего беззаботного и бесскорбного одиночества и в то же время нимало не будет чувствовать грустных сторон бобыльничества, которые непременно, так или иначе, дадут ему себя знать в жизни той, заграничной. А не будет он их чувствовать потому, что для такого бобыля полк заменяет собой все; полк для него – свой дом, свой очаг, своя семья, свой друг и товарищ, и даже – я позволю себе так выразиться – в некотором роде своя любимая женщина.

Корнет Аполлон Буянов, как сказано уже, был круглый бобыль на свете и потому всей душой, всем сердцем и помышлением своим отдался N-скому уланскому полку. Он был просто влюблен в свой полк, и надо прибавить, что это был любовник нежный и ревнивый. В нем особенно замечалась щекотливость ко всему, что так или иначе касалось полковой части. Эта щекотливость переходила у него даже в излишнюю щепетильность, и от нее-то по преимуществу проистекали все маленькие беды в жизни корнета Буянова, которые для иного могли бы показаться и вовсе не маленькими, но для беззаботного и лихого бобыля Буянова всякая беда была только маленькой, да и то еще, если он достаивал ее названием «беды».

И не дай Бог было заспорить с Буяновым о чем бы то ни было, что с какой-либо стороны касалось его полка. Хвалить и восхищаться его полком вы могли сколько угодно – и по внешности Буянов принимал эти похвалы весьма сдержанно, как достодолжную дань справедливости – «потому что иначе это и быть не может!» – но в глубине души они бы-

ли ему весьма приятны и ложились на сердце мягким елеем. Кто похвалит Буянову его полк, тот уже был для него хорошим человеком. В N-ском уланском полку для Буянова все что ни есть было «лучше всех» и «лучше всего», все казалось образцовым и безусловно прекрасным: общество офицеров уж, конечно, лучше всех, и не найти нигде другого подобного, а о товариществе нечего и говорить! И лошади лучше всех, и трубачи первые по дивизии, и полковой марш лучше всех маршей на свете, и учения, и грамотность, и гимнастика, и верховая езда ни в одном полку не идут так хорошо, как в N-ском уланском. Даже в отрицательных качествах Буянов ни в ком другом не допускал превосходства.

Какой-нибудь приезжий станет, бывало, при случае рассказывать, что в таком-то драгунском полку жестокие попойки идут, что подобных пьяниц, кажись, и на свете нет.

– Гм!.. Вы полагаете? – скажет, бывало, на это корнет Буянов, ревниво крутя свой ус и кидая взгляд исподлобья. – Вы полагаете, что нет?.. Гм!.. А позвольте узнать, что пьют драгуны?

– Да все пьют!

– Гм!.. Значит, универсально. Н-да, это, с одной стороны, пожалуй, недурно... Нда-с. Но все... это значит – месиво, мешанина, и показывает отсутствие системы и изящного вкуса. Н-нет-с, милостивый государь, – с видом компетентного человека возражал Буянов, – это что за питва! Вот ежели бы вы поглядели, например, в N-ском уланском полку, мундир которого я имею честь носить... (Это пояснительное добавление следовало всегда неукоснительно и притом с достодолжного внушительностью.) Нда-с!.. Так вот, в нашем полку, говорю я, вот пьют так пьют!.. Мы, знаете, тоже не враги универсальности – нет, Более сохрани! Мы отнюдь не враги!.. Энциклопедия, знаете, не мешает; но у нас при этом строгая система есть: если мы сегодня начали, положим, с водки, то водкой продолжаем и ей же и оканчиваем; на завтра, положим, портер – портером начинаем, портером и кончаем; на послезавтра хотя бы мадера – и с ней та же выдержка, и так далее – перебирайте хоть всю карту любого погреба – у нас до всего своя очередь дойдет! Но вы видите, что при самой

широкой универсальности у нас введена строгая система: мы последовательнее, и таким образом мы, во-первых, избегаем вредной мешанины, во-вторых, имеем достаточно времени оценить по достоинству вкус и качество каждого напитка, чего при мешанине вы никак не достигнете. Итак, милостивый государь, надеюсь, вы теперь понимаете, что в N-ском уланском полку пьют никак не хуже хваленых драгун, но только пьют систематичнее, рациональнее. Поэт сказал: «Мудрый пьет с самосознанием», а я к этому всегда добавляю: «И с винознанием». Ну-с, а пить таким образом, на мой взгляд, не оставляет желать ничего лучшего. Вы с этим согласны или нет?

Приезжий, убежденный такими неотразимыми аргументами, конечно, спешил вполне согласиться с корнетом Буяновым.

Или, бывало, скажут при Буянове, что у таких-то гусар страшнейший картёж идет.

– Гм!.. У гусаров картёж? – опять начинает Буянов покручивать свой ус. – Может быть, и так, но позвольте вам сообщить, что, например, в N-ском уланском полку, мундир кото-

рого я имею честь носить, игра бывает такая... такая, что...

– Помилуйте, да там у гусар шулера! – перебивает вдруг кто-нибудь корнета Буянова.

– А-а!.. Гм!.. Шулера?.. Гм!.. Да!.. Ну, у нас шулеров нет! – говорит озадаченный внезапно Буянов. – Чего нет, того нет, – тем и хвалиться не стану.

А если, бывало, на смотре начальство отдаст преимущество драгунам или гусарам, корнет Буянов иначе и не принимает эту похвалу, как явное пристрастие и несправедливость.

Похулить N-ский уланский полк, а тем паче отнестись к нему с умышленной небрежностью или с насмешкой – это значило ни более ни менее как нанести личное и притом тяжкое оскорбление корнету Буянову в самое чувствительное место его самолюбия.

А наносить ему оскорбления было не совсем-таки удобно, потому что могло пахнуть порохом. Впрочем, он далеко не был бретером и даже в принципе не одобрял бретерства; он никогда не наиски-вался на случай к вывозу, справедливо находя это неприличным фанфа-

ронством, но... судьбе угодно было трижды ставить корнета Буянова в такие положения, где он чувствовал неизбежную необходимость вытягивать противника к барьеру. И все три дуэли Буянова происходили у него только по поводу щекотливости к чести полка. А впрочем, надо и то сказать, что честь полка Буянов понимал в смысле широком до фантастичности.

Буянов был не совсем счастлив по службе. Лестница повышений, чинов и отличий была создана не для него. Начал он службу свою в N-ском же уланском полку с юнкерского звания, в котором протянул ляжку года четыре, если не более.

– Чего вы все в юнкерах-то сидите? – спрашивают Буянова.

– Да все к экзамену некогда приготовить... А впрочем, мне и так хорошо.

Он был вполне равнодушен к чинам, повышениям и вообще к служебной карьере. Никогда ни тени зависти или неудовольствия не промелькнуло у Буянова, если кто из младших товарищей какими-нибудь судьбами опережал его по линии производства. «Из-за

чего, брат, интриговать-то тут? – говорил он, бывало. – К армии интрига не пристала; тут, как ты не бейся, как не интригуй, а все-таки дальше майорского чина едва ли вынырнешь. Вечный майор – это, брат, наш предел, его же не перейдешь, – так и к черту, значит, всякую интригу, а знай служи себе, пока служится!» Между тем службу знал Буянов отлично: это даже в некотором роде конек его был. Он и царским ординарцем назначался, и начальство достодожную справедливость ему отдавало, а лестница чинов и отличий все-таки ускользала из-под ног Буянова. И причиной такого ускользания была все та же щепетильная щекотливость к чести полка.

Первая беда постигла Буянова, едва лишь успел он надеть корнетские эполеты. Надевши их, Буянову захотелось немножко пожуировать жизнью, а потому взял он двадцативосьмидневный отпуск и поехал в Москву.

Можете ли вы представить себе корнета Буянова иначе как не страстным любителем цыган? Иначе представить себе его невозможно, а потому первый выезд его в Москве из комендантского управления был в табор,

на Патриаршие пруды, где обитал тогда хор знаменитого Ивана Васильевича с его некогда знаменитой солисткой Маней.

Буянов сразу влюбился и в могучий контралт этой Мани, и в ее могучие египетские глаза.

Он и дневал, и ночевал в этом таборе, заслушиваясь цыганских песен и чуть не до слез наслаждаясь ухарски хватающими за душу и щемящими сердце звуками «Садаромы», «Венгерки», «Размо-лодчиков» и «Серо-пегих». В этом таборе встретился, познакомился и даже сдружился он с одним приезжим гвардейским гусаром.

Между тем срок отпуска уже кончился. Буянов записал в управлении на выезде свой билет, но... сердце не камень: остался он один лишний денек, чтобы съездить в табор проститься с глазами Мани.

И вот сидит Буянов в таборе верхом на стуле, облокотясь на его спинку и подперев рукой голову, грустно-раздумчиво слушает, как Маня, стреляя большими глазами и небрежно подыгрывая на гитаре, выразительно поет ему: «Не уезжай, голубчик мой!..» И Буянов

чувствует, что поет она это для него – исключительно для него одного, и думает себе: «Не уезжай, голубчик мой...» А что, и вправду, не остаться ли еще на денечек?.. На один только маленький, совсем маленький денечек!.. Уж куда ни шло!

– Не уезжай!.. Не уезжай, голубчик мой! – звучит меж тем густой и страстный контральт Мани.

– Не уеду! – стукнув по спинке стула, громко порешил корнет Вуянов и остался в таборе.

– Послушай, переходи-ка к нам в гвардию! – предложил между прочим Буянову его новый приятель-гусар. – Там ты по крайней мере на виду будешь.

– Ничего, мне и в армии хорошо, – уклонился Буянов.

– Да что тебе за охота? – с недоумением пожал плечами приятель.

– Люблю... Полк свой люблю.

– Да что там любить-то?

– Как, Боже мой, что? *Все* люблю!.. Ну, наконец, привычка.

– Вот охота!.. И добро бы еще в гусарах, а то прозябает человек черт знает где, в этих эпо-

летниках, в каком-то там уланском полку... Фи!.. И что за полк-то выбрал!

Буянов вспыхнул. Он живо и как-то болезненно почувствовал, что честь его полка задета, а потому внимательно и холодно посмотрел на гусара.

– Ты пьян или нет? – спросил он его.

– К сожалению, пока еще трезв. А что?

– А то, что, если бы ты был пьян, я на твои слова посмотрел бы, только как на лепет пьяного человека, а теперь я попрошу тебя взять их немедленно же назад.

Гвардеец расхохотался.

– Да тут и брать-то нечего, любезный друг! – возразил он.

– Это уж мое дело! А я повторяю приглашение взять назад.

– Ну, а я остаюсь при прежнем моем мнении. Выпьем!

– Нет, не выпьем. Итак, при прежнем?

– Самым решительным образом.

– Ну, так позволь мне сообщить тебе, что Н-ский уланский полк, мундир которого я имею честь носить, – спокойно, не подымаясь со стула, начал Буянов, – вовсе не «черт знает

что такое» и вовсе не «какой-то», а чтобы убедить тебя в этом более существенным образом – я, корнет N-ского уланского полка, пришлю к тебе завтра утром моих секундантов.

Гусар никак не ждал столь крутого оборота. Он хотел было вступить с приятелем в дальнейшие объяснения, но Буянов коротко и решительно остановил его:

– Любезный друг, обо всем другом мы будем говорить сколько угодно, но на этот счет – мы уже кончили.

И затем, как ни в чем не бывало, он продолжал умиляться цыганским пением.

На следующий день действительно приехали к гусару секунданты – и на другое утро после их посещения в Сокольниках состоялась дуэль. Буянов ранил гвардейца в плечо, впрочем, неопасно. В двенадцать часов того же дня в квартиру его явился плац-адъютант и арестовал корнета Буянова.

Военно-судное дело длилось не очень долго – и Буянов был разжалован в солдаты, на Кавказ, в один из линейных батальонов.

Солдат он был исправный и педантически нес свою службу наравне с рядовыми, ни разу

не позволив себе, чтобы за него делали что-либо другие. Таким образом, прошло более двух с половиной лет. Буянову дали унтер-офицерские нашивки и наконец после одной успешной экспедиции произвели за отличие в прапорщики.

Буянова давно уже брала тоска по своему уланскому полку, но пока он был солдатом, тут ничего не поделаешь; а теперь, с производством в офицеры, он еще сильнее ощутил эту тоску. Недолго думая, списался он частным образом со своим прежним полком и подал перевод, к которому, на его счастье, препятствий не оказалось. И вот Буянов снова очутился в N-ском уланском полку таким же самым корнетом Буяновым, каким был прежде, почти три года назад. Многих из старых товарищей уже не было в рядах, но многие еще остались, и при встрече с ними-то Буянов впервые почувствовал, что есть нечто высшее, кроме одной прихоти, нечто более глубокое и серьезное, что потянуло его в этот полк, так сказать, на старое пепелище. Тут для него было что-то свое, родное, теплое, привычное и близкое его сердцу. Встретили

его в полку добрым пиром – и снова зажил корнет Буянов посреди старых товарищей.

Но не прошло и года, как новая беда посетила его.

Полк в это время квартировал внутри России в одной из черноземных губерний. Помещиков было много, зима стояла хорошая и очень веселая. Офицеры, как водится, ездили по помещикам, охотились и плясали, плясали и охотились, наполняя промежутки между тем и другим: обильными обедами и ужинами с не менее обильными возлияниями. Кое-кто ухаживал за молодыми помещицами, кое-кто за барышнями. Было несколько влюбленных и далее один жених. Жених этот был недавно переведен в N-ский полк, и Буянов не успел даже сойтись с ним настолько коротко, чтобы считать себя сердечным его приятелем. Невесту этого жениха тоже знал он весьма мало, встретив ее раза два или три на кое-каких вечерах, и едва ли даже был ей представлен.

Приехал однажды он из эскадрона в полковой штаб, а штаб расположен был в одном из уездных, хотя и грязных по внешности, но сы-

тых, городков. Вся штабная компания, по обыкновению, сходилась в «Московской гостинице», почитавшейся лучшей, где гудела "машина* и щелкали шары на бильярде.

Буянов приехал в самом веселом и благодушественном расположении своего вечно корнетского духа. После тридцативерстного пути он порядком перезяб с дороги и приказал лихому ямщику – с колокольцами и бубенцами подкатить «на огонек», прямо к «Московской гостинице».

– А!.. Те-те-те!.. Буянов!.. Буянов, мой сосед! – приветствовали его несколько офицеров в бильярдной.

– Он сам! – подхватил Буянов, протягивая руки.

*– Буянов, мой сосед,
Прожив меньше в десять лет,
С цыганками, в трактирах с ям-
щиками,
Вошел сюда с небритыми усами,
Вошел – и понесло отовсюду каба-
ком...*

Человек! Уразумей это и подай: пуншу, водки-листовки и московскую селянку на ско-

вородке. Ну! Живо у меня! В карьер с места! Марш!

В трактире было на ту пору несколько приезжих помещиков и горожан. Пока Буянов согревал себя пуншем и около бильярда узнавал штабные новости, ему в другой комнате приготовили ужин.

Как сказано уже, Буянов был в самом благодушественном и даже весьма мирном настроении духа. Оставля товарищей доигрывать бильярдную партию, он ушел в залу с «машиной» – упитывать себя московской селянкой.

К его столу подсел один из знакомых помещиков, барин весьма фатоватого свойства.

Как-то в разговоре этому помещику пришлось упомянуть имя невесты буяновского однополчанина, причем он стал подтрунивать над их платоническим чувством.

Буянов поморщился, однако же промолчал.

Фатовый помещик, не замечая этого морщенья или не желая замечать его, продолжал свои заглазные издевки и под конец выразился насчет этой барышни в несколько двусмысленном тоне.

– У вас есть фактические доказательства тому, что вы говорите? – серьезно и сдержанно спросил его Буянов.

– Mais mon Dieu! Каких вам там еще доказательств!.. Это все знают! – развязно возразил помещик.

– От всех я этого не слыхал, а слышу от первого от вас, – настойчиво и спокойно продолжал Буянов, – и спрашиваю вас: имеете вы доказательства ваших слов?

– Mais... Mon cher!

– Во-первых, я для вас не «моншер», а во-вторых, угодно вам прямо отвечать на мой вопрос?

– А, полноте! Allons done! Какой вы право, blagueur!.. Ну, и скажите мне, вам-то что за забота?.. Ведь это лично до вас нисколько не касается!

– Это касается до чести N-ского уланского полка. Понимаете-с?

Помещик недоуменно выпучил глаза.

– До чести полка... Как это – до чести полка? – пробормотал он, глядя на Буянова.

– А так-с! – выразительно, но тихо пояснил тот. – Вы позволили себе издеваться передо

мною над моим однополчанином. И он, и я – мы равно имеем честь носить мундир этого полка-с. Это одно. Второе: вы позволили себе легкомысленно произнести имя порядочной девушки, хотя есть такие деликатные вещи, о которых порядочные люди в кабаках не говорят. Но это зависит от взгляда, и потому это уже – ваше дело. А вот теперь пойдет мое дело. Эта особа – невеста моего однополчанина; не сегодня завтра она будет принадлежать к числу дам нашего полка; она и теперь уже не чужая полку в качестве невесты нашего товарища; а потому в отсутствии ее жениха я, как его товарищ, имею полное право зажать вам рот, милостивый государь. И я попрошу вас отказаться от ваших слов и нигде, никогда не повторять того, что вы позволили себе сказать мне. Понимаете-с?

– Вы слишком строги и слишком требовательны, – возразил помещик, пренебрежительно и полунасмешливо выдвигая нижнюю губу и явно показывая тем задетую «амбицию», – и притом... притом же я нахожу, что с вашей стороны все это не более как семейное донкихотство.

Но едва сказал он это, как сковородка с селянкой полетела его физиономию. Раздался крик испуга и боли.

Мирные обитатели, заседавшие в этой комнате, повскакивали с мест и засуетились. Уланы, с киями в руках, повысыпали в дверь из смежной комнаты – узнать и взглянуть, что тут случилось. И предстало им зрелище фатоватого помещика, в конец растерянного и обильно облитого соком московской селянки, с кусками капусты и мяса на платье, на лице и в прическе.

Буянов, как ни в чем не бывало, спокойно сидел на своем месте, подперев подбородок руками, и только к половому обратился:

– Подайте мне новую порцию селянки!

Последствием такого неожиданного казуса была новая дуэль – и адъютант отвел корнета Буянова на полковую гауптвахту. Предупредить пистолетную расправу не было никакой возможности: все происшествие случилось слишком явно и получило большую огласку.

Через три месяца Буянов снова надел солдатскую сермягу. Его упрятали в один из драгунских полков.

И снова пошло у него то же педантическое отправление своих обязанностей: чистка и уборка коня и сбруи, спанье на конюшне, вставание раньше петухов, дежурство по целым суткам на линейке, несмотря ни на жестокую стужу, ни на осеннюю слякоть и сырость, ни на июльский удушающий зной. Целые три года Буянов примерно нес солдатскую службу с одною мыслью, что, как только произведут его в прапорщики, так тотчас он подаст перевод в N-ский уланский полк. «Я не от мира сего, драгунского, – писал он к старым товарищам, – я здесь только временный гость. В драгунах остается одно мое брренное тело, но дух мой с вами».

Наконец-то, на четвертом году службы, его опять произвели в офицеры – и опять подал он перевод в N-ский уланский полк.

Тут бы, казалось, теперь-то и служить Буянову, наученному двукратным опытом, во что обходится щекотливость к чести полка, но к числу наиболее выдающихся буяновских качеств относится полная неисправимость как в недостатках, так и в достоинствах. Буянов, например, был великодушен – и потому

его надувал всякий, кто только хотел. Он не умел отказывать просящему.

– Буянов, у тебя есть деньги? – бывало, спросит его кто-нибудь из товарищей.

– Есть. А что?

– Да так... Сколько у тебя денег?

– Да не особенно тово... десятка два рублишек найдется.

– И тебе они нужны?

– Немножко нужны.

– Да зачем тебе деньги? Это вовсе нейдет к тебе! Ей-богу! Деньги тебе не к лицу.

– Нельзя, брат, и без оных: чаю-сахару закупить да билетов взять на месяц у кухмистера – вот и все.

– А я у тебя хотел было денег взять.

– Что ж, бери, с удовольствием! Сколько тебе?

– Да надо шестьдесят.

– Ну, шестьдесят нету. Возьми двадцать.

– А сам-то с чем останешься? Ведь это последние?

– Ничего, как-нибудь выкрутимся!.. Бог не выдаст, свинья не съест. А тебе непременно шестьдесят нужно? Не менее?

– Никак не менее.

– Гм!.. Ну, постой, сейчас поправим дело. Эй, Огнев! Позови сюда закладчика Шмура. Живее!

И денщик Огнев бежит за Шмуром.

– Что ты хочешь делать, Буянов?

– Часы заложить... да вот пальто лишнее, пожалуй.

– Это для чего же?

– Да ведь тебе деньги нужны?

– Ха, ха, ха!.. Я пошутил только... хотел удостовериться, всегда ли твой карман играет роль всеобщей кассы; а мне, в сущности, не нужно.

Буянов хмурится.

– Так что же, черт возьми! Что я тебе, кукла или шут гороховый дался, чтобы ты надомной шутки шутить вздумал! – с неудовольствием ворчит он.

– Да я по-товарищески...

– Гм... по-товарищески!.. Ты по-товарищески что-нибудь умнее выдумал бы, чем шутить-то надо мною.

– Ну, не сердись, Буянов! Я только так! Нехорошо сердиться.

– Да я не сержусь... Я ничего... Ну, что ж, выпьем, что ли?

– Можно.

– Ну и прекрасно! Вот умные-то речи и слышать приятно. Невмени, Господи, во грех младенцу твоему Аполлонию!

И опрокидывалась «рюмка примирения».

А сколько раз надували его жидки и всевозможные проходимцы и проходимки, прикидывавшиеся убогими, погорелыми, голодными, безместными, – этому он даже и счет потерял. Даст, бывало, какому-нибудь просящему пройдохе, переделится, что называется, последним рублишкой, а потом вдруг и скажет:

– А ведь, пожалуй, надул, подлец!

– И наверное, надул¹ – подтвердит ему кто-нибудь из присутствующих: – У него и рожа-то такая.

– Ну, по роже не суди. Рожи всякие бывают: и косая, и прямая – обе есть хотят.

– А все-таки надул! – поддразнивают Буянова.

– Гм... Надул... А черт его знает, может, и не надул... Может, и в самом деле нужда челове-

ку. Просит, стало быть, нужно. Ну, и конец тому делу!

А уж о том, чтобы выручить товарища, и зачастую в ущерб самому себе, нечего и говорить. С ним по поводу разных выручек разные курьезы случались, в числе которых, между прочим, происшествия с лядункой и с пожарной кишкой.

Происшествие с лядункой состояло в том, что у одного из товарищей Буянова, с которым он сожительствовал на квартире, перед самым смотром пропала вдруг лядунка. Искали, искали, всю квартиру перешарили – нет как нет лядунки, словно в воду канула. Буянов, недолго думая, великодушно отдает ему свою собственную, а сам выезжает в строй без лядунки.

– Господин корнет, где ваша лядунка? – грозно вопрошает его производящее смотр начальство.

– Тут недалеко, по соседству, ваше превосходительство, в экстренном отпуску находится, – отвечает Буянов, ловко отдавая салют своей саблей.

– Извольте отправляться на месяц на

гауптвахту!

– Слушаю, ваше превосходительство.

И Буянов высиживает свой термин на полковой гауптвахте.

Но едва успели его выпустить из-под ареста, как случилось происшествие с пожарной кишкой.

В городе N, где расположен был полковой штаб и где население более чем на две трети состоит из евреев, случился вдруг пожар. Живо пошел трещать и свистать огонь по жиденьким, скученным, закоулочным еврейским постройкам. Буянов одним из первых прилетел на место пожара. Он то и дело кидался в лачуги, спасал пожитки погорельцев, тушил, заливал, работал и багром, и топором и вообще выказывал деятельность необычайную, изумительную. Пожарная работа была одной из любимейших сфер его деятельности, и он сам называл себя «большим любителем пожаров». Приехала наконец пожарная команда, – Буянов и с нею действовал: направлял кишку, до седьмого пота работал около насоса, накачивая воду, и ушел с места тогда только, как заливались последние дымящие-

ся головни, – ушел, перепачканный сажей, залитый водой, оборванный, усталый и голодный, но как нельзя более довольный своей деятельностью.

Вдруг на другой день получается в штабе бумага, в которой значится, что «полицейское управление города N, отдавая вполне заслуженную дань признательности N-ского уланского полка корнету Буянову за оказанное им энергическое содействие пожарной команде, вместе с сим имеет честь объяснить, что вследствие чрезмерно энергического усердия к делу корнета Буянова пожарная кишка в нескольких местах оказалась порванной, насос же – испорченным; а посему полицейское управление покорнейше просит, дабы было сделано достодожное распоряжение, ввиду соблюдения казенного интереса, о взыскании с корнета Буянова 83 рублей и 3/4 копейки серебром на покрытие ущерба, коему подверглись означенный пожарный насос совокупно с кишкою».

И Буянов – хочешь не хочешь – поплатился за кишку, или, пожалуй, за собственное великодушие и усердие, почти всем своим трет-

ным жалованьем. И подобные-то казусы случались с ним чуть не на каждом шагу.

Я уже сказал, что к числу самых достопримечательных качеств Буянова относится полнейшая неисправимость как в достоинствах, так и в недостатках. Поэтому Буянов опять-таки недолго наслужил в N-ском уланском полку.

Перевели его в полк в начале мая, а в начале августа уланская бригада выступила в осенний кампамент. Сбор назначен был в окрестностях одного сквернейшего местечка, населенного опять-таки по преимуществу жидами. В самом местечке стали штабы обоих полков и расположилось от каждого полка по одному эскадрону, а остальные эскадроны разбросались в окружности по соседним деревням. Буянов занял себе квартиру в самом местечке. Все, что только можно занять под жилье, было уже здесь занято, а потому квартира Буянова могла назваться квартирой в одном лишь метафорическом смысле. Он поместился на сорном еврейском дворе в узеньком и тесном срубике без крыши, роль которой играли еловые и ольховые ветви, наки-

данные на потолочные поперечины. Эти срубки служат для зажиточных евреев местом времяпровождения в дни осенних праздников, известных под именем «кучек» и установленных в воспоминание сорокалетних странствии по пустыне Синайской.

И вот в одной из таких «кучек» и помещился корнет Буянов. Кое-как приладили ему дверь и оконце, кое-как набросали на потолок доски, какие случились в хозяйстве под рукой, да накидали на доски несколько ветвей. В дождик хоть и капало сверху, но все же это была квартира. Поставил Буянов себе тут походную кровать, завесил одну стену ковром, на котором красовались у него две сабли, кобура с револьвером, мундштук с уздечкой, и тут же на гвозде торчала черная вице-шапка. В углу стоял уютный походный погребец с самоваром, стаканами, тарелками, кастрюлей, водочными флягами и прочей чайной и столовой принадлежностью; там же, заодно, вмещались: пара низеньких медных подсвечников, чернильница с песочницей, поднос и сапожные щетки. Сверх поименованных предметов Буянов приладил к окну треногий

стол, на столе – складное зеркало с брильным прибором, перед столом поставил с одной стороны деревянную скамейку, с другой – опрокинутый ребром чемодан, который таким образом обратился у него в инструмент для сидения, – и вот вся меблировка буяновской квартиры была готова. Помещение, нельзя сказать, чтобы особенно комфортабельное, но на кампаменте лучшего, пожалуй, и не требуется. По крайней мере, Буянов был им вполне доволен.

Однажды он находился в нехорошем расположении духа. В тот день, утром, происходили маневры – эскадрон против эскадрона, и случилось так, что N-ские уланы вместе с Буяновым были внезапно атакованы и взяты врасплох противником. Это обстоятельство подало повод офицерам другого полка, бывшим на сей раз счастливыми маневрными победителями, подтрунить над N-скими уланами; а подтрунивания, между прочим, были пущены в ход в присутствии Буянова, в корчме, выполнявшей роль трактира и бригадного клуба. Буянов покусывал ус, однако же отмалчивался или отшучивался, сознавая, что

истина и право на сей раз не с ним. Но, придя к себе в «кучку», он уже не маскировал своего скверного расположения духа и, лаконически приказав денщику поскорей поставить самовар, улегся на кровать и углубился в чтение "Русского Инвалида ", что делал всегда, когда хотел поскорей заснуть.

Вдруг слышит он почти под самым окном у себя какой-то шум, свист, лай, уськанье, хохот...

– Огнев! Узнай, кой черт там?.. Что случилось?

– Рябка обижают, ваше бла-родие.

– Как? Нашего эскадронного Рябка?

– Так точно, ваше бла-родие, его самого.

– Кто обижает?

– Ас другого полка трубачский козел.

– Как козел обижает?

– Рогами, ваше бла-родие. Денщики уськают.

– Чьи денщики? Наши?

– Никак нет, ваше бла-родие, с другого полка... Ахвитантский денщик.

Буянов выглянул в оконце.

На улице стояли человек семь денщиков, а

В середине их группы белый выхолонный козел, уставясь лбом в землю, галопировал очень забавным образом и с наскоку норовил боднуть лохматую серую собаку. Пес лаял, огрызался, кидался на козла, но денщики тщательно оберегали последнего, как только ему начинала грозить серьезная опасность со стороны собачьих зубов и, наоборот, всячески помогали своему козлу боднуть чужую собаку.

– Поди, отыми Рябка, – распорядился Буянов.

Огнев пошел и вернулся.

– Не дают, ваше бла-родие, не отпускают.

Буянов вскочил с кровати с намерением самолично защитить эскадронную собаку. Глядь – уже кроме денщиков остановились немного в стороне трое только что подошедших офицеров из числа давешних победителей и смотрят на действительно забавную сцену козлино-собачьего поединка.

– Что, батюшка, видно, ваших повсюду бьют! – пошутил один из офицеров, обращаясь к Буянову. – Не только люди, а и звери ваших побивают.

Все засмеялись.

Эта сама по себе невинная выходка и этот смех задела за живое щекотливого Буянова.

– В случае надобности и наши сумеют побить кого следует, – тоном шутки же отвечал Буянов, – только не на маневрах и не козлахи, а в настоящую.

Намек был понят. Слово за словом, слово за словом, с шуток на серьезное, с серьезного на горячее – сказано было несколько взаимных колкостей и... объяснение, начатое из пустяка, кончилось тем, что Буянову сделали вызов. Ну, и... конечно, Буянов дрался.

На сей раз упрятали его далеко – на границы Бухары, в среднеазиатские степи.

Где он? Что с ним? Как он там живет и где скитается? Здоров ли или убит, или стал жертвою лютых степных горячек? Бог весть! Доселе еще ничего не известно. Но можно без малейшего сомнения и с полной уверенностью сказать, что если жив и здоров, то солдатскую службу свою несет по-прежнему исправнейшим образом, и если приведет Бог быть в деле, то и опять лицом в грязь не ударит.

Быть может, иной читатель найдет, что Буянов как личность звучит каким-то диссонансом среди тех новых типов, которые выработал ход прогрессивного развития современной нам жизни. "Может быть! – отвечу я такому читателю. – Может быть, и так!* Он чужак; он безалаберный, взбалмошный человек; он может иному показаться странным, отчасти смешным, отчасти донкихотом. Но... он свято чтит свое военное дело; он всею душой предан своему скромному призванию солдата; он до фанатизма, до чего-то идеального влюблен в свой полк; он бескорыстно добрый и честный человек; он честный и хороший офицер и добрый боевой товарищ. Скажут: зачем он не подумал, не постарался сделать более современно-полезное, практическое применение к чему-нибудь из своей жизни? Но, господа, не всем же быть мировыми судьями, присяжными поверенными, журналистами, фельетонистами и не всем же служить по разным акцизным и контрольным учреждениям; надобно же кому-нибудь быть и уланским корнетом. Вы спросите, быть может: зачем же и для чего это надобно? Вам существование

уланского корнета с его скромным назначением может казаться вещью совершенно бесполезной. Но не сегодня завтра в жизни государства может прийти и такая критическая минута, когда и мировые судьи, и присяжные поверенные, и фельетонисты, и чиновники, служащие по новым учреждениям, да наконец, быть может, и ты сам, мой читатель, – все вы восчувствуете настоятельную необходимость и в уланском корнете Буянове... А в чистом поле, перед рядами врагов, Буянов будет на своем месте – и сколь ни мала его роль как взводного командира, но в общем механизме военного, боевого дела и эта маленькая роль важна и необходима. И корнет Буянов, будучи тогда на своем месте, сумеет честно и доблестно сделать свое дело: за ним куда хочешь полезут солдаты. *Suim suique*, господа!

И где бы он ни был ныне – везде и всегда мой теплый привет ему! А может быть... может быть, и опять увидит его N-ский уланский полк в своей тесной полковой семье в том же мундире, с теми же длиннейшими усами и в том же вечном, неизменном буяновском чине корнета.

VIII. Кто лучше?

Посвящается другу моему Ицке Янке-
левичу Штралецкому

В одно прескверное утро поручик Болиголова очутился в пренеприятных обстоятельствах. Обстоятельства эти – Бог их знает почему – в общежитии известны преимущественно под именем критических. Именно в это самое скверное утро в карманах поручика Болиголова при самом тщательном расследовании не оказалось ни копейки наличных денег.

«И дернула ас нелегкая засесть с этим капитаном-прохвостом», – мысленно укоряет себя поручик, вспоминая вчерашний штосе у какого-то проезжего авантюриста, пана Ивановского, который, встретясь в ресторане гостиницы кое с кем из офицеров, отрекомендовался им отставным капитаном, познакомился, зазвал к себе в номер, велел подать шампанского, затем предложил играть, а затем... поручик Болиголова очутился «в критиче-

СКИХ».

«...И дернула ж... Нет, да ведь как! По первому абцугу... Ведь более тысячи в выигрыше был... и забастовать бы – так нет же!.. А тут вдруг – трах! – и пошло, и пошло... Как будто заколодило, проклятое!»

– Ваше благородие, Штралецкий пришел.

– Кто?

– Штралецкий, Ицка.

– А, черт!.. Этого еще не доставало!.. Ведь сказано же тебе, болван, чтобы никого!.. Ну, что же я буду с ним делать? Пошел, скажи, что сплю... еще не просыпались, мол.

– Да я, ваше благородие, я им изволил уже так докладывать, а аны: «Ничего, говорят, мы подождем, посидим».

– А, черт его!.. Ну, нечего делать, зови!..

* * *

– Зждрастуйте вам, гасшпидин сперучник. Здравствуй, Ицка. Садись.

– Не, можна и пасштаять... Ви пазжволиятю?

– Как знаешь. Что скажешь хорошего?

– А ви сшто скажете?

– Да что, брат, у меня все скверно... Вот

проигрался вчера.

– Огх, сшлихал, сшлихал, сшлихал... сшлихал, – грустно качает головой Идка.

– Да, брат, увы!.. Проигрался... и потому ты пришел совершенно напрасно.

– Напрасшний!.. А почом ви зжнаете, что я напрасшний?

– Да потому что из моего долга я не могу теперь отдать тебе ни копейки.

– А на сшто мне ваше кипэйке?.. Пфэ!.. Зжвините, когда ж я вам говорил, сшто на ваш долгх? Я толке зайшол взнать чи ви зждаровий?

– Здоров, как видишь.

– Н-но, зжвините, а я сабе думаю, сшто ви не зждаровий.

– Почему ж ты это думаешь?

– Так. Бо я сшлихал, сшто ви достал себе карманне чагхотке, и я ж пришол спытать у васше благородю, чи не хочете ви медидинске средство?

– Денег, что ли? – недоверчиво покосился на Ицку поручик.

– Так.

– Да ты разве дашь?

– Н-ну, як не я сам, то можна сдобить. У мене єсть одного щаловек, мой гхаросший зжзнакомый, и он дает на гхаросший пурцент... Алеж ви понимаете, на гхаросший пурцент, под вэксюл, то можна з ним поговорить.

– О, благодетель рода человеческого! Прииди в объятия мои! – вскричал, простирая руки, обрадованный Болиголова.

– Алеж на гхаросший пурцент! – знаменательно поднял Ицка указательный палец.

– Сшлихал, сшлихал, сшлихал! – благодушно передразнил поручик, у которого в голове сейчас же замелькали свои соображения: «Четыреста рублей остального долга дослать капитану, тридцать рублей в бакалейную лавку, двенадцать сапожнику – итого четыреста сорок два рубля... Стало быть, пятьсот рублей». – Мне нужно пятьсот рублей, Ицка.

– Пьятсо-от?! Пфс...

– Никак не менее.

– Алеж замного пурценты выйдет, – с участием предостерег Ицка, как бы самым родственным образом входя в денежные интересы и расчеты поручика: – Уй, как замного!.. Бо тот одного щаловек, мой зжзнакомый, он бе-

рот ни меньш як десѣнт пурценты на мисѣнц.

– Десять в месяц! – в ужасе всплеснул руками поручик. – Десять в месяц!.. Пощади, Бога ради!

– Н-ну, каб то бил я, то как я вас люблю, то яб из вас аж ни одного пурцент; а ни вэксюл, а ни расписке, а так, на одного честю. Алеж то не я – то мой зжнамий.

– Да ведь это ж безбожно!

– Н-ну и сшто ви схочите – жид як есть жид! То не еврей, не эзраэлит, а жид пархатый, и пурценты его жидовски... такой сшволач! Н-но... а когда вам надо, то сшто ви будете изделать? Ви будете давать и не десѣнт, а дванасты, и тринасты, и пьятнасты... Та-а-к?

Поручик Болиголова сидит, не отвечая ни слова, но все более и более погружаясь в мрачное раздумье.

– Н-ну, то как же будет? – переминаясь с ноги на ногу, тихим вопросом прерывает Ицка минутное молчание.

– Да уж и сам не знаю как! – со вздохом пожал поручик плечами. – Только десять в месяц – этого я решительно не могу.

– Зачиво так?

– Да видишь ли, если б я намерен был никогда не платить моих долгов, то я бы охотно согласился не то что на десять, а хоть на сто в месяц; но так как я имею обыкновение долги мои платить, то...

– Понимаю, понимаю! – сообразительно подмигнул Ицка. – То десёнтъ будет вам за много... Я и сам сабе так мисшлял... Н-но, пазжволте, я зараз побегу, повидаю того сшволоча, поговору – може, он будет загласный и на меншь.

И благодетельный Ицка, не дожидаясь ответа, стремительно пустился обдελывать «айн вигодни гешефт для гасшпидин сперучник».

* * *

Через полчаса Штраледкий входит снова. На лице его какое-то странное выражение: не то он торжествует, не то чем-то смущен отчасти.

– Ну, что, Ицка?

– Есть! – многозначительным и таинственным шепотом докладывает он томящемуся поручику и затем сразу же вынимает из кармана вексельную бумагу и пачку засаленных

«жидовских» ассигнаций, кладя перед ним на стол и то и другое.

– На сколько? – лаконически вопрошает Болиголова.

– Эт!.. Сшволач!.. – презрительно и грустно махнул рукой Ицка.

– Десять, что ли?

– Н-ну и сшто ви хочете! – раздражается он потоком досады. – Когда ж я вам говорю, сшто жид как есть жид! Зжвините!

– Да ты без прелюдий, говори прямо: десять?

– Так! – с грустным вздохом, смущенно потупляя глаза, высказался наконец Ицка.

– Не нужно! – решительным движением, но с внутреннею досадой отодвинул от себя Болиголова и деньги, и вексельную бумагу.

Штралецкий с грустно-покорным видом неторопливо стал припрятывать и то и другое в свой старенький сафьянный и очень вместительный бумажник, доставшийся ему по наследству от отца, если даже и не от деда еще.

В это время вошел денщик и подал Болиголове письмо, что принес-де фактор из гости-

ницы.

Болиголова, как бы инстинктивно догадываясь, что содержание письма не должно быть ему особенно приятным, досадливо сорвал конверт и принялся разбирать безграмотное писание.

"Милостивой Государь!

Потому что я есть намеренный ехать сегодня далее, то и остаюся у надежде, что вы не задержите мене с присылкой достального вашего долгу четырех стов рубли. С отличным уважением имею честь быть капитан Ивановский".

Судорожным движением скомкав в руке письмо, Болиголова досадливо швырнул его в угол и молча стал ходить по комнате.

Ицко Янкелевич, скромно сложив на желудке пальцы, как сторожкий зверек, внимательно следил своими пытливыми глазками за каждым движением поручика, который долго еще, словно маятник, болтался из угла в угол по комнате, тщетно соображая, как ему быть, и все-таки ни до чего не додумался.

Таким образом проходит минут десять, с одной стороны, во внутренней борьбе, с дру-

гой – во внимательном наблюдении этого состояния: один все ходит, другой следит глазами, но оба не подают о себе друг другу ни малейшего знака, ни звука, ни взгляда, словно бы тут вовсе и нет другого человека, а ходит один Болиголова или сидит один Ицка. Но наконец последний медленно подымается с места и с глубоким, соболезнующим вздохом произносит:

– До сшвиданью вам, гасшпидин сперучник.

– Постой ты, черт! Куда ты? – словно бы очнувшись, остановил его Болиголова.

– Н-но? – вопросительно подымает к его лицу свои взоры Штралецкий.

– Погоди... Остаься, пожалуйста.

– Алеж жжвините, не маю часу.

– Да ну тебя! Не ломайся!.. Давай, что ли, вексель!

– Н-но... А и сшто с того будет? – расставил Ицка свои растопыренные ладони.

– Как «что будет»?! Ты мне дашь деньги, я тебе подпишу вексель – и только.

– Алеж таки жидовски пурценты, хай им чо-орт! И мне ж так жалко з вас... И за сшто

ви тому сшволачу будете платить так замного?!.. Пфу!..

– Да ну тебя, в самом деле! Не мучь, пожалуйста, давай скорее!

– Н-ну, как ви вже так хочете, той хай будет так! Хай будет по-вашему!

И Штралецкий с покорным видом снова выложил на стол вексель и деньги.

Через пять минут сделка была окончена. Болиголова принялся пересчитывать пачку.

– Ицка! – с неприятным недоумением воскликнул он, дойдя до последней бумажки. – Да ведь тут не пятьсот, а только четыреста пятьдесят!

– То так есть, – утвердительно согласился Штралецкий.

– А где ж остальные?

– А то ж, зжвините, то ж пойдут за пурценты... То вже такой перадок, жебы пурценты наусегда за мясёнц упярод.

– Да ведь я таким образом опять останусь без копейки?!

– А на што вам кипэйке? Ви ж аймеете крадит! Гхаросши гасшпида живут без кипэйке, и нигхто с того не жалуеее, абы был кра-

дит!

Делать нечего – и огорченному поручику волей-неволей пришлось согласиться с этим убедительным аргументом.

* * *

Проходит месяц – и как раз день в день, час в час к Болиголове является Ицка Янкелевич Штралецкий.

– Зжвините, я прийшол напомним...

– Знаю, знаю! И сам не хуже тебя помню, да делать-то, брат, нечего: денег нет, не получил еще.

– Пфс... Когда ви хотите зжнать, то я и сам в сабе так мисшлял, сшто ниет... Н-ну, а сшто ж теперь будет?

– Не знаю. Что захочешь, то и будет.

– То надо вэксюл до претэсту...

– Протестуй, пожалуй.

– Алеж с того будет сшкандал?!

– Как знаешь.

– Н-ну, я не хочу, каб вам был шкандал, бо я вас так люблю и вважаю... И на послую того зачем вам будет сшкандал? Ну, скажите пизжалуста!

– Однако как же ты думаешь сделать?

– Н-ну, и сшто я буду думать?! Я ж завеем маленькаво щаловек, сшто я могу сабе думать?.. То вже ви за мене додумайтэ.

– И рад бы, Ицка милейший, да придумать ничего не могу. Думай уж ты за меня, я тебя уполномочиваю.

– Я?! Пфс... Н-ну, як так, то за позволеньем паньским, як пан позволи, то я б сабе думал, сшто налейш за всего знов переписать вэксюл.

– Ицка! – воскликнул повеселевший Болиголова. – Майн аллерлибстер Ицка! У тебя, черт возьми, гениальная голова! Умри, Ицка, – лучше этого ничего не сочинишь ты!

«Гасшпидин» Штралецкий тотчас же вытащил из бокового кармана дедовский бумажник, аккуратно порылся в нем и достал вексель Болиголовы вместе с новою вексельной бумагой.

– Писайте, васще благхородю, «од сего щисла повинен есть на сшюмма пьятсот пьятдесент пьять рубли на одного мясёнц». Болиголова просто в ужасе некоем положил перо.

– Ицка! – прервал он еврея. – Ицка! Умилосердись! Ведь десять процентов, я понимаю,

можно еще, пожалуй, дать за месяц, но на два – это, согласись сам, будет уже слишком «замного». Это невозможно!..

– Писайте, ваше благородю, – настойчиво, но деликатно повторяет Ицка. – Писайте «од сего щисла повинен есть на сшюмма пьятсот пьятдесент пьят рубли...»

– Ицка! Проклятый! Ведь это уме проценты на проценты! Ведь ты без ножа режешь!

– Зжвините, як то молена без ножа зарезать?! Сшто это ви таково гаворитю! – оправдываясь, с чувством собственного достоинства, отмахивается йцка. – И еще в додатека, каб то был я; а ви ж знаете сшами, сшто то не я, то мой зжзнакомий, одного щаловек, то увсе он, а не я... И сшто я з ним буду изделать, як он такой сшволач, такой жид! Он же мене тягнет за горло – ну, а я вже по своем неволю з вас тягну.

– Да ведь вексель на твое имя!

– Ну, а у того сшволача есть друтий вэксюл, и тот вэксюл вже ест написанный на маво имению, и он, гавору вам, з мене тягнет! Я ж сшам плачу ему десент пурценты.

В конце концов вексель переписывается

еще на месяц совершенно сообразно желанию Ицки.

Проходит новый месяц – и от слова до слова повторяется та же самая история: вексель переписывается снова, но уже не на 555, а на 606 р. 50 к. Болиголова видит наконец, что таким образом незаметно зарвешься гораздо чувствительнее, чем в какой бы то ни было капитанский штосе, а потому твердо решается прекратить дальнейшее, и притом столь систематическое, обирание своего кармана. Но как в этом случае поступить злосчастному поручику?

* * *

Приходит следующий срок, приходит и Ицка с предложением обменять старый вексель на новый, в 665 р. 50 к. Но поручик решительно объявляет: делай что хочешь, поступи как знаешь, а переписывать больше ни за что не стану!

– Ну, додумайтю ж, яким бы способом развязатьсе мне из тым сшволачом! Развяжить мне, бо он з мне тягнет!

– Да что, брат, как ни думаю, а выходит все на одно! – вздыхает Болиголова, пощелкивая

пальцем об палец, – Из имени раньше четырех месяцев и думать нечего ни о какой получке... А вот, разве что... Если бы в Петербург поехать – там бы, пожалуй, сейчас же у родных достал себе денег и расплатился бы...

– Ну, то пишите им, нехай присылают! – с живостью подхватил Ицка.

– Писал! – с безнадежным вздохом махнул рукой поручик. – Да не помогает... Без личного свидания ничего не поделаешь. Пишут в ответ: приезжай-де сам, потолкуем, посмотрим и устроим как-нибудь все дело. Вот и письмо – читай хоть сам, пожалуй.

И Болиголова для пущей убедительности дал Ицке письмо петербургского родственника. Тот повертел его и так и сяк в руках, постарался прочесть, кое-что разобрал и убедился.

– Ну, то надо ехать до Петербургу, – присоветовал он.

– Эге!.. Вишь ты, какой приткий! Сейчас и «до Петербургу»! А на какие шиши я поеду?

– Як то на сшисши? – в недоумении заморгал Ицка.

– Да так, что на дорогу нужны же деньги, а у меня ни гроша.

Ицка раздумался.

– И то вже будет виерно, сшто ви у Петербургу сдобудете деньгув? – поборов в себе последние колебания, осторожно спросил он после минуты раздумья.

– Наверное, добыл бы, – удостоверил поручик. – Вот тебе и письмо в доказательство.

– Н-ну, то настягайте ваша сшаблюка, ходите до гасшпидин пулковник и берить отпуск! – самым положительнейшим образом порешил вдруг Ицка.

– Да говорят же тебе толком, что нет у меня денег на дорогу.

– То вже не ваша забота. Берить отпуск.

– Да ведь надо же мне, наконец, и жить чем в Петербурге, хоть на первые-то дни, ну сам подумай!..

– То вже кажу, не ваша забота. Берить отпуск, – настоятельно и уверенно подтверждает Ицка, очевидно, весьма довольный в душе той новой комбинацией, которая пришла ему в голову.

Болиголова последовал благому совету, подстегнул саблю, отправился к полковому командиру – и через два часа адъютант при-

вез к нему уже подписанный и припечатанный билет в 28-дневный отпуск.

Ицка Янкелевич, необыкновенно довольный собой и своей изобретательностью, собственноручно помогал денщику возиться над чемоданом Болиголовы и укладывать необходимые вещи.

– Ицка! – пожимая плечами, время от времени вопрошает его поручик. – Да разъясни же ты мне наконец, как же это будет? Взаймы, что ли, достанешь ты мне на дорогу или как?

– Эт!.. Сшто таково!.. То вже не ваша забота! Зжвините! Вы толке ехайте! – каждый раз отвечает Ицка таким тоном, как бы желая сказать: «Не приставай, мол! Знаю, что делаю! Уж будешь доволен!»

И вот он выказывает необычайную деятельность: считает, сколько носков, сколько платков носовых уложено в чемодан, все это записывает себе на особую бумажку для памяти, упаковывает сюртук, мундир, эполеты, этишкеты и прочие офицерские вещи, заботливо осведомляется – «чи не забито еще чего?», – приводит двух извозчиков, на одного

сажает поручика, на другого валит чемодан, на чемодан же взбирается сам с каким-то своим, собственным узелком под мышкой и торжественно препровождает все это на железную дорогу.

– Балет од первый класс и балет од багаж, – любезно преподнес он Болиголове два билета, предварительно потискавшись, понюхав и похлопотав у обеих касс – пассажирской и багажной. – Ви вже будьте сшпакойний, вже увше гитово, и я з вами.

– Как! И ты тоже едешь?! – непритворно изумился поручик.

– А так! До Петерзбургу! Уже и балет достал сабе! В кимпания з вами!

– И тоже в первом классе? – подтрунил тот.

– Ну-у!.. Пфай!.. Сшто ви гаворитю! Я даже сшпигалсе! – выпучив глаза словно бы действительно в испуге, стал отмахиваться Ицка. – Уф первый класс!.. От-то!.. Чи я сдурел, чи сшто!.. Для сабе уф первый!.. Я сабе взял у третий, а каб еще бил читвортый, то я бы взял у читвортый... Жал, очин жал, сшто нет читвортый класс! – с легким вздохом сожаления покачал он головой, – То такой глупий пера-

док на тым зжалезном колею!.. Очин доволна глупий!

Затем, таинственно поманив к себе поручика и отведя его несколько в сторону, Штралецкий как бы под величайшим секретом и с опаской, чтобы кто не подслушал, заговорил ему шепотом:

– Зжвините, як вам сшто схочется, чи то покутить, чи то выпить сшто, то ви увсше сабе епрашуйте, сшто ви схочете; а на потом ви толке моргнуть до мине, то я вже буду издес, при вашем особу, и я вже сшам буду заплащать у буфэт... Пизжалуста!

– Стало быть, я еду на полном твоём иждивении? – со смехом спросил поручик.

– Так. За маво кошту, як би то мой багаж, – подтвердил Йцка, – бо я зжнаю, ви такой блягхородный щаловек, ви мине не схочете абидеть, и ви мине будете отдавать увсше, и никакой сшпор, и никакой маровая сшюдья у нас не будет. Так?

– Быть по-твоему! – согласился Болиголова и, ничтоже сумняшеся, оба отправились в путешествие – один в первом, другой в третьем классе.

Приехали в Вильну, где вечерний пассажирский поезд стоит более часу. Путешествующая публика рассаживается за сервированными столами, причем немедленно же поднимается и обыкновенная стукотня ножей и вилок и беготня нумерованных фрачных лакеев с блюдами и тарелками. Здесь Болиголова, на беду Ицке, встретился со старыми знакомыми, гусарскими офицерами, которые стоят частью в городе, частью в ближайших окрестностях и вечно ко времени прихода поездов наезжают в вокзал ради собственного развлечения. Сели за ужин, потом явилось шампанское, а Ицка из отдаленного угла с застенчивой тоской в сердце своем наблюдает и загадывает себе: потребует ли шампанского «пан сперучник» или не потребует? И когда потребует, то много ли потребует? И сколько ему, Ицке, за то заплатить придется?.. Потребовал!

– Огх!.. Айн бутелькес! – со вздохом мутящего сокрушения считает про себя Штралецкий. – Уй! Нох айн бутелькес! Цвай бутелькес! – хлопнув руками об полы и качая голо-

вой, шепчет он минут через десять.

– Эй, Ицка! Заплати там по счету! – кивнул ему поручик, окончив ужин, – и «гасшпидии» Штралецкий, несказанно обрадованный тем, что все его страхи и опасения ограничились только двумя бутылками, предупредительно спешит исполнить волю своего «багажа».

– Зжвините! Сшлюхайтю! – поспешая за ним после первого звонка, убедительно шепчет он на ухо с умоляющим видом. – Не кушайте вже больш шимпаньскаго, бо оно для голова сшамаво паскудства! И мне не так дожало, как ви будете незждаровий... Кушайте лепш водка, чи то киньяк с цукеркем, – сшами блягхородни напитке!

И всю дорогу, на каждой станции, где только есть буфет, Ицка непременно выскакивает из своего вагона и начинает расхаживать по платформе мимо купе, занятого его живым «багажом». Иногда «багаж» выходил, и тогда Ицка уже знал свою роль и вытаскивал бумажник; иногда же не выходил – и «гасшпидин» Штралецкий с облегчением и временно успокоенным сердцем возвращался в свой вагон в ожидании дальнейшего томления перед

следующим буфетом.

И таким-то образом приехали они наконец в Петербург. Предупредительный и расторопный Йцка тотчас же сам и карету нанял, сам и багаж получил, и от всех мелочных хлопот избавил своего клиента, и только когда все уже было у него готово и все исправлено, спросил его, приподнимая шапку:

– А до каково гасштинуцу прикажетю?

– В Бель-вью пошел, на Невский.

– В Бель-вью, сшлюхай! – не без гордого сознания собственного достоинства повелительно крикнул он извозчику, взгромоздясь с чемоданами к нему на козла, йцка был теперь горд и весел сознанием, что и он «тоже уф сшталицу», и притом «ежит уф каретах» и, стало быть, может впоследствии у себя дома рассказывать «увсшяким сшволочам», как это он «бил на сшталицу» и как в каретах ежал.

* * *

Был у Болиголовы в Петербурге довольно близкий родственник и в то же время добрый друг, который занимался изданием одного весьма скромного распространенного журнала. На этом-то родственнике главнейшим об-

разом и зиждидились все надежды, планы и расчеты поручика; к нему-то он и поехал тотчас же, едва успел переодеться с дороги. После первых родственных приветствий и объятий причины приезда в Петербург были объяснены немедленно, тем более что родственник-редактор был уже заранее ознакомлен с этими причинами из писем поручика.

– Мм... Вот видишь ли, – заговорил он, несколько морщась и дружась, – в данную минуту дела мои несколько плоховаты: журнал идет мм... тово... то есть так себе, ни шатко ни валко, а коли говорить откровенно, то более, пожалуй, что и валко... Подписка слаба, сотрудники, бумага, типография, то да се ... Одним словом, не в авантаже обретаемся.

Болиголова при этом сюрпризе подсвистнул и, что называется, повесил нос на квинту.

– Но... это, в сущности, ничего не значит! – ободрительно продолжал редактор. – И я надеюсь, что могу помочь тебе во всяком случае.

– То есть как же это? – воспрянул духом поручик.

– А вот, видишь ли, есть тут у меня один...

По части искусства пишет...

– Искусства деньги занимать, что ли? – улыбнулся Болиголова.

– Мм... н-нет, по части искусства вообще: о живописи, о скульптуре и музыке... больше всего все это с эстетической стороны... с высоты вечных идеалов...

– Ну, так что же? – спросил поручик. – При чем тут идеал и эстетика?

– А при том, что он в то же время очень полезный человек...

И я сам иногда в крутые минуты у него пользуюсь.

– Идеалами?

– Нет, деньгами.

– В займы дает, что ли?

– Да, на солидные проценты и под верное обеспечение или под верное поручительство.

– И идеалы сему не препятствуют?

– Нимало! Напротив, очень помогают. Я за это доставляю ему авторское удовольствие видеть свои статьи и свое имя в печати.

– И стало быть, твое поручительство имеет требуемую силу?

– Мм... В известной степени да.

– Так поручись за меня, голубчик! Ты сам ведь знаешь, что из деревни через четыре месяца...

– За этим дело не станет, – перебил редактор, – но... надо, чтобы ты сам ему понравился.

– Кому?

– Да все ж ему, сотруднику.

– Это зачем же?

– А затем, что он требует известного уважения к своей особе да еще солидарности со своими убеждениями, а главное, почтения к его познаниям и таланту.

– Тфу ты, черт! Какие штуки еще!

– Да, не иначе! А ты, конечно, и не читал его произведений? – спросил редактор.

– Я?! – удивился поручик. – Я, мой друг, кроме «Уставов», решительно ничего не читаю. А разве это нужно?

– Необходимо. Я дам тебе две-три книжки моего журнала и укажу... Ты ознакомься предварительно, и если хочешь иметь успех, то, пожалуйста, как можно более ловких комплиментов!

Понимаешь?

– Ну, черт возьми, задача! – закусив ус, про-
бормотал поручик. – Однако нечего делать! –
вздыхнул он. – Только как нее и когда ты мне
это устроишь?

– А постараюсь завтра же, – успокоил род-
ственник. – У меня завтра редакционное
утро, – продолжал он. – Сотрудники собирают-
ся, будет и он, вероятно, а для пущей верно-
сти я даже пошлю ему записку, чтобы прихо-
дил непременно, и постараюсь предупредить
его, а ты приезжай около часу и познако-
мишься... Только не забудь прочитать ста-
тьи предварительно.

– Нечего делать, коли нужно, так хоть всю
ночь и все утро убью на это. Только, черт
возьми, – добавил Болиголова, как бы раз-
мышляя с самим собой. – Эстетика, идеалы и
деньги в рост...

– Знамение времени, мой милый, – улыб-
нулся редактор.

– Хм... знамение. Н-нет, у нас эти дела с Иц-
кой Янкелевичем, как видно, гораздо проще
выходят.

И поручик пока до времени успокоился ду-
хом в ожидании завтрашних успехов.

Уже поздно вечером вернулся он в свой номер. Сонный Штралецкий, поместясь на стуле, давно уж поджидал там его возвращения.

– Ну и сшто? – спросил он с любопытством, которое, очевидно, томило его душу тоской ожидания.

– Завтра! Завтра, майн аллерлибстер Ицка! – уверенным тоном успокоил его поручик.

– Зжавтра!.. И то вже будет за вирно?

– По крайней мере, так обещано.

– Ну, хвала Богху!.. То я буду зждать до зжавтра, – успокоился Ицка.

– Как же ты поместился и где устроился? – спросил его Болиголова, раздеваясь. – Тоже в этой гостинице?

– Сшто-о?.. Ув этом гасштиницу?.. А хай ему черт! – отмахнулся Штралецкий. – Тутай менш як на пултора рубли и нумеру нема, и увсшë так задорого, так задорого – ай-вай!.. Я улëковал сабе на Сшадовем улице, в Куканов дом, у Малкинс перевулек, – там увсшë на-ши... У одногхо еврей улëковалсе за два злоты на сутку... И я вже покушил, покипил сабе булке та щилетке – хвала Богху, на сшами одлични манир!.. До сшвиданью вам, гасшпи-

дин сперучник... Сшпите!

И Ицка осторожно, на цыпочках, вышел из комнаты.

* * *

На следующий день, приехав к редактору в назначенное время, Болиголова застал уже там несколько гостей-сотрудников, из которых иные покосились на его кавалерийский мундир со свойственной некоторым литераторам угрюмостью, которая по большей части бывает у них совершенно беспричинной. Впрочем, в данную минуту Болиголове было не до разбирательств, кто каким взглядом на него взирает. Протянув руку редактору, он мельком взглянул ему в глаза пытливо выспрашивающим выражением, которое, казалось, говорило: «Ну что, успешно ли?» "Благополучной – ответили ему исподтишка глаза редактора. Поручик успокоился, уселся в кресло и закурил папироску. Сотрудники между тем продолжали вести разговоры, то есть ругали чью-то статью, поносили заочно какого-то литератора, сообщали несколько сплетен про общих врагов и отсутствующих приятелей, злословили каких-то посторонних

редакторов, презрительно относились о каких-то посторонних газетах и журналах, – словом сказать, редакционное утро было таково, как и все, ему подобные. Но все это для озабоченного по-своему Болиголовы не представляло ни малейшего интереса. Рассматривая этих господ, он думал про себя: «Который из вас, любезные друзья, есть благодетель рода человеческого?» – и никак не мог с точностью уяснить себе этого вопроса: все они как-то более походили на ищущих и берущих деньги, чем на дающих оные. «Который же из вас дает, в самом деле? Этот ли совершенно приличный джентльмен, или тот писклявый замарашка, или, наконец, сей кашлатый субъект, что похож более на Воскресенского дьякона, чем на „цивильного“ человека?»

Редактор между тем поднялся с места и кивком предложил поручику следовать за собой в другую комнату.

– Ну что, прочел статью-то? – быстро и с озабоченным видом спросил он.

– Прочешь-то прочел, только, признаюсь, для меня это отчасти темна вода во облацех.

– Ну, ничего... Хвали!.. Ты только хвали

знай да поддакивай.

– Тфу ты, какое подлое положение! – пожал плечами поручик.

– Ата, брат, умеешь кататься, умей и тово... понимаешь?

И, подойдя к двери, редактор высунул из нее голову к сотрудникам .

– Анатолий Борисович, пожалуйста сюда на минуточку, – с особенною мягкостью в голосе позвал он кого-то.

В ту же минуту в дверях появился совершенно приличный джентльмен, с золотым пенсне, которое придавало какой-то особенный и как бы зловещий блеск его совершенно круглым, хищно-совиным глазам. Джентльмен был неприятно красив собою и очень старательно заботился, чтобы всем манерам своим придавать изящную и плавную округленность. Он как бы постоянно помнил про себя об этом.

– Позвольте, господа, познакомиться вас, – начал редактор, обращаясь к обоим, – господин Шмец, поручик Болиголова, о котором я вам говорил давеча.

Господин Шмец оскалил улыбкой свои щу-

чьи зубы и протянул руку. То и другое было сделано им с очень изящной любезностью.

– Ваше имя давно уже известно мне по литературе, – пробормотал между тем поручик, памятуя дружеский завет насчет возможно большого количества комплиментов.

– А!.. А вы разве читаете? – спросил размякшим от удовольствия голосом польщенный автор, даже не сообразив, что вопрос был и глуп, и неловок.

«Кроме „Уставов“, ничего», – чуть было не сорвалось с языка поручика, но хорошо, что спохватился вовремя.

– О, как же! – поспешил он поддакнуть. – Ваши статьи об искусстве, это... это в своем роде... перлы... Я просто в восторге... и в особенности от последней статьи... Превосходно! Превосходно! Я, как и вы же, поклонник чистого искусства, а потому и ваш поклонник.

В улыбающихся глазах господина Шмеца показалось даже некое масло умиления. Он с чувством поспешил еще раз пожать руку поручика, который в это самое время думал про себя: «О, Болиголова, сколь ты врешь и сколь кривишь душою!»

– Мне очень приятно за наше время, – заговорил меж тем господин Шмец уже с некоторым нахальством признанного авторитета. – Да, именно, знаете ли, за наше время, когда, наконец, и под военным мундиром встречаешь иногда понимание и любовь к интересам высшего порядка.

«Ах ты, сшволач ты, сшволач!» – подумал при этом комплименте Болиголова, невольно как-то вспомнив любимое выражение и еврейский акцент Ицки Штралецкого. Но увы! Крутые обстоятельства решительно не допускали поручика ответить этому Шмecu за его комплимент так, как бы следовало по совести и как, наверное, ответил бы он, не будь у него этих проклятых крутых обстоятельств. А теперь вместо того пришлось только пробормотать нечто вроде, что давно уже, мол, желал иметь честь познакомиться с вами.

– Н-да, да... и мне самому тоже очень приятно, – растягивая слова, цедил сквозь зубы господин Шмец уже тоном некоторого покровительства. – А вы, вероятно, и сами кое-что пописываете?

«Кроме векселей и расписок, ничего», – хо-

телось бы ответить поручику, но... благоразумие пересилило, и он ограничился одним скромным «нет», произнесенным даже как будто со вздохом сожаления.

– Но это все равно! – как бы в утешение ему заметил литератор. – И мне, во всяком случае, будет очень приятно видеть вас у себя... Заходите как-нибудь...

– Когда позволите? – поспешил осведомиться поручик.

– Когда хотите, все равно... По вечерам только я обыкновенно в опере или во французском театре, ну, а потом, конечно, заедешь в какой-нибудь кабачок, вроде Бореля или Татар, поужинать... Я, знаете, люблю, – говорил Шмец несколько небрежным тоном и как-то все поеживаясь да поводя плечами, – эдак легкий ужин со стаканом доброго винца. А самое лучшее – приходите ко мне завтракать, – предложил он, – я завтракаю обыкновенно дома, в двенадцать часов... Мы закусим и потолкуем за доброю сигарой... Да вот что: приходите завтра – мой адрес известен редакции, а впрочем – вот моя карточка. Ровно в двенадцать вас будет ожидать уже сочный кусок

ростбифа. Мой повар готовит недурно – по крайней мере, я им пока доволен.

Последние слова свои господин Шмец произносил уже в дверях, возвращаясь в кабинет редактора, где все еще жарко спорила и кричала о чем-то компания сотрудников. Он считал, что достаточно уже обласкал представленного ему офицера и что аудиенция его с ним продолжалась тоже достаточно.

– Ну что, каково я подличал? – спросил Болиголова у редактора, когда наконец все литераторы разошлись.

– Отменно хорошо! – похвалил тот. – Я даже и не ожидал от тебя такого искусства. Теперь, брат, почти уже можно сказать, что дело в шляпе.

– Да, но, однако, он ведь и не заикнулся про дело-то.

– Мм... Видишь ли, он вообще об этой материи больше помалкивает, но это, в сущности, ничего не значит, и ты можешь быть совершенно покоен. Отправляйся к нему завтракать, но только ровно к двенадцати – не пропусти и не прошалберничай! Он человек аккуратный и по этому же качеству судит о степе-

ни благонадежности своих клиентов.

– Да ты, голубчик, говорил ли с ним, предупредил ли его как следует? – озабоченно спросил поручик. – Меня все сомнение берет, что о деле-то он ни полслова.

– Эх, любезный друг! – махнул рукой редактор. – Уж раз завтракать пригласил и сам время назначил, так, стало быть, и говорил, и предупредил – не беспокойся! Приглашение к завтраку прямо означает, что дело твое на хорошей дороге. Без того, поверь, не пригласил бы!

И обнадеженный поручик успокоился до завтра. А вечером опять-таки застал он в своем номере терпеливо ожидавшего Ицку.

– Н-ну, и сшто? – спросил Ицка по-вчерашнему.

– Завтра! Завтра, майн аллерлибстер Ицка!

– Алеж зжвините, и вчора било зжавтра, и зжавтра стало вже сшиводною, а ви изнов мне говоритю «зжавтра»...

– Ну да: мне говорят «завтра», и я тебе говорю «завтра».

– Так. То зжавтра?.. И то вже будет за виерно?

– Надеюсь, наверное.

– Н-ну, то хай будет так. До свиданью вам, гаспшдин сперучник. Сшпите!

Примечания

Каранковая бочка вмещает 112 казенных гарнцев, а корцовая 156. Оброк – овес, збож – жито, рожь, вообще хлебное зерно

[^^^]

Пошел, поезжай!

[^^^]

Цветной ситцевый платок или кусок белого холста, служащий головным Убором, и стеклярусные бусы – «пацюрки» – составляют обыкновенный праздничный наряд чернорусянки

[^^^]

Кошуля – сорочка

[^^^]

5

Сукмян – верхняя одежда вроде полушубка из грубого серого или темно-коричневого сукна домодельной пряжи

[^^^]

6

Благодарение Богу – живем, кормимся

[^^^]

Обычная острота: «сампантре» – название, звучащее будто бы французским происхождением, есть, в сущности, сочетание трех слов: сам пан тре, т. е. сам, дескать, тру

[^^^]

8

Киермаш – приходский праздник, всегда почти сопряженный с ярмаркой

[^^^]

9

Доброй ночи, о, Иисусе! о, моя любовь! Пусть в твоей руке усну я, создание твое! Пускай мне снится всегда о тебе! Пусть теперь разговариваю я с тобою! О, Иисусе, моя любовь!

[^^^]

Цифры эти заимствованы нами из статистического описания Гродненской губернии П. Бобровского {т. II, с. 385}, который в своем обширном и в высшей степени добросовестном и почтенном труде, относясь к делу критически и весьма осторожно, дает нам всегда наиболее точные и достоверные цифры и факты

[^^^]

В настоящее время, когда конфискованное Езерское имение, принадлежащее наследнику Валицкого, замешанному в последнем восстании, куплено гр. Левашевым, портрет этот перешел во владение семейства г-ж Костялковских в Гродне

[^^^]

Большую часть рассказов и подробностей про Валицкого мы слышали от русского старожила гродненского края, отставного артиллерийского полковника А.Я. Каховского, который после 1863 г. взял от правительства в аренду Езерское имение и пользовался им до 1875 г. Впрочем, подобные предания о фантастическом графе довольно распространены в местном шляхетстве и между духовенством. Ф. Булгарин, который в своих «Воспоминаниях» посвятил Валицкому несколько интересных страниц, делает предположение, что, вероятнее всего, состояние его нажито было тайной продажей и перепродажей бриллиантов, картин, редкостей и т. п. Но едва ли предположение это можно назвать основательным. Общее мнение в крае склоняется к тому, что состояние Валицкого было сделано игрою и преимущественно благодаря бриллиантам Марии-Антуанетты

Веселка плетется из соломы, в виде кольца или диска, и к ней подвешиваются соломенные кисточки. Число кисточек обозначает число лошадей, стоящих на конюшне

[^^^]

Яичница – шуточное название Владимирского полка, данное ему ямбуржцами еще в 30-х годах по причине желтого цвета, присвоенного этому полку, и в отместку за прозвище «угольщики», которым владимирцы окрестили своих однобригадирцев, ябургских улан, поражавших некогда глаз мрачным видом своего темного фронта

[^^^]

Местечко в Гродненском уезде

[^^^]

не беда!

[^^^]

ПО ВКУСУ

[^^^]

всегда

[^^^]

землянику и грибы из лесу

[^^^]

Дать «козла» – специальное выражение. Лошадь дает «козла» посредством лягающего прыжка задними ногами, вследствие чего при отсутствии седла и стремян всадник легко может полететь через голову лошади

[^^^]

МОЛОДИЦЫ

[^^^]

подарков и разных припасов на свадьбу

[^^^]

утки

[^^^]

OXOTA

[^^^]

пугаю и прицеливаюсь

[^^^]

Чыр!

[^^^]

Уговор

[^^^]

Когда кавалерийский полк не находится в сборе, то между полковым штабом и эскадронами, разбитыми по деревням, обыкновенно учреждается сообщение посредством конных вестовых, которые доставляют из штаба в части полка все нужные бумаги, письма, газеты и посылки. Иногда, в случае отдаленного расположения какого-либо эскадрона, для этих сообщений выставляются даже в известных промежуточных пунктах отдельные посты в два или три человека при унтер-офицере. Это и называется у нас «летучею почтой», или «летучкой»

[^^^]

по дороге

[^^^]

за ужин

[^^^]

ярмарка

[^^^]

Названия местечек Гродненской губернии

[^^^]

пять копеек

[^^^]

пять рублей

[^^^]

загородных весенних пикников; маювка – от слова май

[^^^]

ДИКИХ КОЗ И КАБАНОВ

[^^^]

Но ты знаешь ли, любезный, что я живу теперь вместе с князем Черемисовым? О! Это большой московский магнат! Верно! И богат, как Ротшильд!

[^^^]

Все мое ношу с собой [лат.]

[^^^]

из Лейпцига

[^^^]

непрерывное условие [лат.]

[^^^]

нечистая

[^^^]

42

75 копеек

[^^^]

Нечто вроде запрещения, проклятия и отвержения. Херим, будучи наложен катальными старшинами, становится безусловно обязательным для всего еврейского общества.

[^^^]